

HISTORIA ROSSICA

ARCHIVALIA ROSSICA

ИОГАНН-АМВРОСИЙ
РОЗЕНШТРАУХ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МОСКВЕ

1 8 1 2

Г О Д А

ВО ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ
В СЕМ ГОРОДЕ НЕПРИЯТЕЛЯ

ARCHIVALIA ROSSICA

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ГЕРМАНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА В МОСКВЕ
И ИЗДАТЕЛЬСТВА
“НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ”



Иоганн-Амвросий Розенштраух

Исторические
происшествия в Москве
1812
года

ВО ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ
В СЕМ ГОРОДЕ НЕПРИЯТЕЛЯ

Johannes Ambrosius Rosenstrauch

GESCHICHTLICHE EREIGNISSE IN
MOSKAU IM JAHRE 1812. ZUR ZEIT
DER ANWESENHEIT DES FEINDES
IN DIESER STADT



Новое
Литературное
Обозрение

УДК 94(47-25)" 1812"

ББК 63.3(2)521.1-686

P64

Редактор проекта ARCHIVALIA ROSSICA

Д.А. Сдвижков

(Германский исторический институт в Москве)

Издание, вступ. статья и комментарии Александра Мартина

(Университет Нотр-Дам, США)

Розенштраух, И.-А.

P64 Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе неприятеля. / Иоганн-Амвросий Розенштраух; вступ. статья и комментарии А. Мартина; пер. с нем. Ю. Корякова; пер. с англ. Е. Леменевой. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 296 с.: ил. (Серия ARCHIVALIA ROSSICA)

ISBN 978-5-4448-0270-0

Иоганн-Амвросий Розенштраух (1768–1835) — немецкий иммигрант, владевший модным магазином на Кузнецком мосту, — стал свидетелем оккупации Москвы Наполеоном. Его памятная записка об этих событиях, до сих пор неизвестная историкам, публикуется впервые. Она рассказывает драматическую историю об ужасах войны, жестокостях наполеоновской армии, социальных конфликтах среди русского населения и московском пожаре. Биографический обзор во введении описывает жизненный путь автора в Германии и в России, на протяжении которого он успел побывать актером, купцом, масоном, лютеранским пастором и познакомиться с важными фигурами при российском императорском дворе. И.-А. Розенштраух интересен и как мемуарист эпохи 1812 года, и как колоритная личность, чья жизнь отразила разные грани истории общества и культуры этой эпохи.

Публикация открывает собой серию Archivalia Rossica — новый совместный проект Германского исторического института в Москве и издательского дома «Новое литературное обозрение». Профиль серии — издание неопубликованных источников по истории России XVIII — начала XX века из российских и зарубежных архивов, с параллельным текстом на языке оригинала и переводом, а также подробным научным комментарием специалистов. Издания сопровождаются редким визуальным материалом.

УДК 94(47-25)"1812"

ББК 63.3(2)521.1-686

© Alexander Martin, вступ. статья, комментарии, 2015

© Ю. Коряков, пер. с немецкого, 2015

© Е. Леменева, пер. с английского, 2015

© ООО «Новое литературное обозрение». Оформление, 2015

АЛЕКСАНДР МАРТИН

ЖИЗНЬ И СТРАНСТВИЯ
И.-А. РОЗЕНШТРАУХА

Слова признательности

Исследования, связанные с этим проектом, щедро спонсировались Американским советом по международному обучению (ACTR/ACCELS), Национальным советом по евразийским и восточноевропейским исследованиям (NCEEER) и Институтом европейских исследований имени Нановика при Нотр-Дамском университете. Значительную пользу моей работе принесли обсуждения с коллегами на конференциях в Германском историческом институте в Москве, Джорджтаунском, Мичиганском, Торонтском и Индианском университетах, университетах Северной Каролины, Пенсильвании и Нотр-Дам. Я признателен архивистам, оказавшим мне помошь в Москве, особенно Андрею Дмитриевичу Яновскому и Федору Александровичу Петрову из ОПИ ГИМ, а также их коллегам из Санкт-Петербурга, Вроцлава, Парижа и разных городов Германии и Нидерландов. Мартин Байсвенгер, Джонатан Ноулс, Стивен Морган и мой отец, Дональд Уоррен Мартин, помогали мне искать и транскрибировать документы, а моя супруга Лори Мартин тщательно вычитывала рукопись этой книги. Настоящая публикация осуществлена при поддержке и поощрении Дениса Сдвижкова в рамках серии, издаваемой совместно Германским историческим институтом и Издательским домом НЛО. Последней по счету, но, конечно, не по важности я хотел бы упомянуть искусную и кропотливую переводческую работу Елены Леменёвой и Юрия Корякова. Благодарю всех здесь упомянутых.

Введение

Весной 2002 года в Отделе письменных источников Государственного исторического музея я наткнулся на воспоминания немецкого купца об оккупации Москвы Наполеоном¹. То с грустью, то с юмором мемуарист описывал озлобленные толпы русских, мародерство наполеоновских солдат и ужасы пожара. Автор не выказывал предпочтения ни той ни другой стороне конфликта: в отличие от множества русских и французских мемуаров о 1812 году это повествование не о патриотизме или воинском героизме, а о выживании вопреки безумию войны. Анонимная рукопись датируется 1835 годом и, за исключением одной статьи 1896 года², по всей видимости, пока не привлекала внимания исследователей. Благодаря удачному стечению обстоятельств в 2004 году мне удалось установить личность автора. После пожара 1812 года москвичи подали более 18 000 прошений о вспомоществовании, по сей день сохранившихся в Центральном историческом архиве Москвы. Среди них мне и посчастливилось обнаружить документ, написанный тем же почерком, что и анонимный мемуар. Основные детали повествования тоже совпали. Под прошением стояла фамилия: Розенштраух³.

¹ Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф. 402. Д. 239 (“Geschichtliche Ereignisse in Moskau im Jahre 1812 zur Zeit, der Anwesenheit des Feindes in dieser Stadt”).

² Корелин М. Новые данные о состоянии Москвы в 1812 году // Русская мысль. 1896. Кн. 10. С. 57–73.

³ Центральный исторический архив Москвы (ЦИАМ). Ф. 20 (Комиссия для рассмотрения прошений обывателей Московской столицы и губернии, потерпевших разорение от нашествия неприятеля в 1812 году). Оп. 2. Д. 2219. Л. 171–171 об.

Историкам частенько доводится обнаружить дотоле неведомого, но любопытного исторического персонажа, о котором, однако же, потом совершенно невозможно найти хоть какую-нибудь дополнительную информацию. Иоганн-Амвросий Розенштраух (1768–1835) решительно выбивается из этой категории. Дошедшие до нас источники информации о нем рисуют удивительно пеструю и красочную биографию. Родом Розенштраух был из Пруссии. В юности он был фельдшером и актером и немало побродил по Германии. В 1804 году он поступил на службу в санкт-петербургский Немецкий театр. В 1809 году, оставив театр, он переключился на торговлю и в 1811 году переехал в Москву, где стал свидетелем наполеоновского нашествия, а позже разбогател. Розенштраух был видным франкмасоном и водил знакомство с Александром I. Бывший католик, с годами он стал склоняться к протестантской религиозности в ее более эмоциональной, пietистской форме. В 1820 году Розенштраух покинул Москву и отправился служить лютеранским пастором у немецких колонистов в Новороссии. Там он и провел последние годы жизни — до 1835 года. Магазин Иоганна-Амвросия на Кузнецком мосту достался его сыну Вильгельму (1792–1870) — выдающемуся купцу, общественному деятелю и консулу Пруссии в Москве. Магазин этот был так хорошо известен широкой публике, что не раз упоминался в русской литературе, например в романе Тургенева «Накануне»⁴.

Как выясняется, источников, проливающих свет на подробности биографии Розенштрауха, более чем достаточно. Помимо мемуаров о 1812 году, он оставил воспоминания о своей пастырской работе с умирающими, а также духовные наставления в форме писем. Некоторые из этих посланий были опубликованы, а остальные, вместе со множеством его масонских документов и корреспонденций его сына и внуков, сохранились в фондах Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Люди, сталкивавшиеся с Розенштраухом, тоже записывали свои впечатления о нем; такие поступали и читатели его произведений. Наконец, время от времени имя Розенштрауха фигурировало на страницах газет и журналов, а также в бюрократических, церковных и масонских документах, ныне хранящихся в архивах Москвы, Санкт-Петербурга и различных городов Германии и Западной Европы.

Таким образом, установить ход жизни Розенштрауха можно. Вопрос заключается в том, зачем. Ради чего нам предпринимать усилия

⁴ Тургенев И.С. Записки охотника. Накануне. Отцы и дети. М. 1971. С. 435.

по уточнению подробностей его биографии? В первую очередь это нужно, чтобы воссоздать контекст его воспоминаний о 1812 году. Вырванный из контекста мемуар похож на историю, услышанную с середины. Само по себе повествование вполне осмысленно, и следить за его ходом не составляет особого труда. Однако, поскольку мы не знаем, кто рассказывает эту историю, кому и зачем, мы не понимаем, как чувства и опыт автора влияют на его видение исторических событий.

Судьба Розенштрауха поучительна и сама по себе. Она придает человеческое измерение нашим представлениям о роли немцев в русской истории. Розенштраух и его потомки сталкивались с целым рядом немецких сообществ в России, в том числе со столичными интеллигентией, купечеством и мелкой буржуазией, с актерской, масонской и пасторской субкультурами, а также с крестьянами и сектантами, переселившимися в Новороссию. Положение немцев в России менялось по мере того, как ассимилировались их семьи и развивалось отношение к ним исконного населения, и, хотя у немецких иммигрантов были все возможности продвинуться по социальной лестнице, им тем не менее приходилось сталкиваться и с националистической враждой, и с социальной незащищенностью. История Розенштрауха и его семьи — наглядный пример этих тенденций.

В более широком плане история Розенштрауха показательна тем, что она демонстрирует мобильность и изменчивость общества имперской России. Мы часто представляем себе XVIII и XIX столетия как время, когда подавляющее большинство населения занимало раз и навсегда отведенное им место в обществе. Мобильность тем не менее была столь же характерным признаком этой эпохи. Люди этого времени постоянно пересекали границы: пространственные, национальные, религиозные, сословные и профессиональные. В особенности Российская империя была основана на мобильности, которая не столько уменьшала разнообразие социальных, национальных и прочих типов идентификации индивидуума в обществе, сколько меняла характер этих типов, заставляя их постоянно перестраиваться. Колонисты заселяли степи, крестьянские отходники устремлялись в города, а иммигранты поступали на государственную службу. Мобильность проявлялась и в социальной и культурной сферах: мелкие чиновники выслуживали дворянство, сыновья священников приобретали светские профессии, иностранцы привыкали жить по-русски, а школы обучали юных россиян жить и думать по-европейски.

Розенштраух — конкретный пример того, как мобильность помогала человеку изменяться самому и менять свое положение. Этот иностранец родился и вырос за границей, а потом иммигрировал в Россию. В России он жил в столицах, затем переселился на Украину. Он был фельдшером и актером, после чего переквалифицировался в купца, а затем в пастора. Из католичества он обратился в протестантизм. Под воздействием буржуазной культуры изменилось даже его представление о собственной маскулинности, некогда основанное на придворных нормах. Он был неассимилированным представителем иностранной диаспоры, однако потомки его совершенно обрусили. История жизни Розенштрауха, таким образом, наглядно демонстрирует возможности — и ограничения — мобильности в имперской России.

Эта биография также показывает, как сын своего времени *осмыслил* пережитое. Когда человек пересекает ту или иную границу, его спрашивают: «Кто ты?» — да и сам он задается вопросом: «Как я сюда попал?» В ответ люди обычно рассказывают некую историю, и такие истории способны очень многое поведать нам о воображении как рассказчика, так и породившей его культуры. Розенштраух заслуживает внимания именно потому, что частый переход границ непрерывно вынуждал его пересматривать собственное самоопределение.

Как многие другие, Розенштраух придилично отбирал, о чем ему рассказывать. В разное время и в зависимости от того, кому предназначался его рассказ, он вспоминал об одних событиях, но ни слова не говорил или даже перевирал другие. Поэтому для воссоздания его биографии недостаточно просто собрать его воспоминания: следует еще внимательно прислушаться к тому, о чем он умолчал и что исказил. Кроме того, из одних только баек Розенштрауха невозможно выстроить связное повествование о его жизненном пути. И впрямь, один из его друзей жаловался, что «он всегда рассказывал только отдельные случаи из своей жизни, но мне неизвестно, как эти разрозненные эпизоды были связаны между собой»⁵. Возможно, изучив, как излагал историю своей жизни Розенштраух, мы поймем, какими возможностями для описания и осмысления своего опыта располагали другие люди той же эпохи.

Для организации событий собственного прошлого в связное повествование люди обычно прибегают к литературным формам,

⁵ Blumenthal, Heinrich. Johannes Ambrosius Rosenstrauch // Evangelische Blätter. 19 Juli 1836. Kol. 253–260. Цитата на стр. 253.

бытующим в их культурной среде. Как франкмасон и пастор Розенштраух привык пользоваться личным опытом как отправной точкой для рассуждений о вопросах морали, чаще всего в краткой литературной форме письма, речи или проповеди. Также, поскольку и пиетисты, и франкмасоны придают большое значение саморефлексии, Розенштраух вел дневник (ныне, по всей видимости, утраченный), куда наверняка заносил каждодневный опыт и размышления о морали. Влияние этих литературных жанров и актерского прошлого автора весьма очевидно в его мемуарах: юмор, интрига и точность визуальных образов вполне театральны, а четкие моральные выводы сформулированы в манере, напоминающей «примеры» (*exempla*) — моральные притчи, очень популярные среди пиетистов. Таким образом, краткие, яркие, вырванные из контекста историйки, из каждой из которых можно было вывести моральный урок, были литературным жанром, знакомым Розенштрауху и как актеру, и как пиетисту, и как франкмасону.

Впрочем, Розенштраух порвал с этими традициями, отказавшись излагать свою биографию как поступательно развивающийся сюжет. Автобиографии немецких актеров иногда принимали форму «романа воспитания» (*Bildungsroman*), описывавшего, как автор, юность которого была преисполнена приключений и трудностей, в конце концов обретал свое место в обществе⁶. Многие пиетисты переживали «пробуждение», переменившее всю их жизнь и преобразившее их взаимоотношения с Богом, а масоны мыслили свою жизнь как постепенное восхождение к высшим уровням мистического знания. Розенштраух тоже мог бы рассказывать о своей жизни как о процессе взросления артиста, или как о пиетистском обращении к Богу, или как о масонском восхождении к высотам мудрости и добродетели. Его решение не следовать расхожим образцам, возможно, объясняется страхом: признание в неудачном браке, актерской карьере, переходах из одной конфессии в другую и прочих сомнительных событиях и поступках вполне могло подорвать столь тяжким трудом заработанное уважение общества.

Цель всего последующего состоит прежде всего в том, чтобы снабдить читателя контекстом и таким образом помочь ему понять воспоминания Розенштрауха о 1812 году. Кроме того, я надеюсь показать,

⁶ Brandes, Johann Christian. *Meine Lebensgeschichte*. 2. Ausg., 3 Bde. Berlin, 1802; [Huray, Daniel.] *Fragmente aus dem Leben eines Schauspielers, erster Theil*. Königsberg, 1801.

что Розенштраух и его наследники представляют исторический интерес и сами по себе. Помимо всего прочего, превращение разрозненных свидетельств о Розенштраухе в логически последовательную хронику событий было еще и увлекательным интеллектуальным приключением: возможно, читателю будут любопытны перипетии детективной работы историка.

ГЛАВА 1

Страдая в бывестности: Германия и Голландия, 1768–1804

Годы между 1768 и 1804, то есть примерно первая половина жизни Розенштрауха, были периодом бывестности — в обоих смыслах этого слова. Для самого Розенштрауха это было время трудностей и унижения, которые он позже пытался предать забвению. По той же причине это очень плохо задокументированный период: восстанавливая его биографию, мы воистину вынуждены пробираться ощупью в потемках. Человек, с которым мы имеем дело в мемуаре о 1812 году, сформировался именно в эти годы, но проследить его развитие не так-то просто.

Бреслау

Воспоминания Розенштрауха о событиях 1812 года не затрагивают юных лет автора. Точно так же обходят это время молчанием и другие известные нам работы мемуариста. По всей видимости, ему мучительно было вспоминать о бедности, общественном отторжении и несчастливой семейной жизни. Все, что мы знаем о его жизни до 1790-х годов, приходится либо восстанавливать по разрозненным и неполным сообщениям, либо домысливать на основании пробелов и умолчаний в источниках.

Отвечая на вопрос о своем происхождении, он обычно ограничивался указанием места рождения и, в некоторых случаях, туманно намекал на былое стремление стать актером. Мне удалось найти

только один документ, где он сам говорит о своем происхождении: это послужной список, который ему как пастору пришлось составить в 1826-м. В ответ на вопрос о своем состоянии и «нации» он написал: «Бюргерского происхождения, уроженец прусской Силезии»; в разделе об образовании его коллеги по призванию представляли о себе обширную автобиографическую информацию, он ни слова не сказал о своей жизни до сорока трех лет, когда он стал купцом в Москве⁷. Точно так же поступал он и в частных разговорах. Христиан Неттельбладт, знавший его как масона в Мекленбурге в период между 1801 и 1804 годами, позже вспоминал, что «он никогда не распространялся о своем происхождении, не называл он и свое настоящее имя. Непреодолимая тяга к сцене, возможно, наряду с несчастливыми семейными обстоятельствами, привели его в театр»⁸. Феликс Рейнгардт, познакомившийся с Розенштраухом в Харькове в конце 1820-х годов, передавал слухи о том, что, «родясь в Германии и получив достаточное общее образование, он почувствовал страстное влечение к театру, вступил на подмостки»⁹. Иоганн Филипп Симон, впервые встретившийся с Розенштраухом в начале 1830-х годов, сообщал примерно то же: «Он был уроженцем Бреслау, некоторое время посещал высшую школу, а потом стал актером и оперным певцом»¹⁰.

Если эти сведения верны, то семья Розенштрауха принадлежала к бюргерскому сословию довольно значительного города. Бреслау (ныне Вроцлав в Польше), до 1742 года принадлежавший Габсбургской империи, был третьим по величине городом в Пруссии. Это был преуспевающий торговый и промышленный центр, население которого в 1774 году составляло 57 997 гражданских лиц и 7280 военных и членов их семей¹¹. Бюргером мог считаться практически любой, кто

⁷ Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 828. Оп. 1 доп. Д. 37 («Послужные списки евангелических проповедников за 1826 г.»). Л. 30 об. 31.

⁸ [Nettelbladt, Christian.] Johann Ambrosius Rosenstrauch // Die Bauhütte: Organ des Verein's deutscher Freimaurer. 21 Juni 1862. S. 198 (репринт статьи от 1837 года).

⁹ Рейнгардт, Ф.О. Розенштраух, Иоанн-Амброзий, пастор г. Харькова // Харьковский сборник: литературно-научное приложение к Харьковскому календарю за 1887 год. 1887. № 1. С. 153. О Рейнгардте (род. 1812) см. «Г. Харьков двадцатых и тридцатых годов (по воспоминаниям Ф.О. Рейнгардта)», там же, 1.

¹⁰ Simon, Johann Philipp. Russisches Leben in geschichtlicher, kirchlicher, gesellschaftlicher und staatlicher Beziehung. Düsseldorf, 1855. S. 306.

¹¹ Leonhardi, F.G. Erdbeschreibung der Preußischen Monarchie. Bd. 2. Halle. 1792. S. 141-44; Pfennig, Johann Christoph. Anleitung zur gründlichen und nützlichen Kenntniß der neuesten Erdbeschreibung, nach den brauchbarsten Landkarten,

не был ни дворянином, ни крестьянином¹², но в Бреслау и во многих других городах это звание имело также и другое, более узкое значение: бургераами были законные горожане, или граждане города¹³. Под эту категорию обычно подпадала благополучная, экономически стабильная часть населения, в частности купцы и ремесленники.

Воспоминания Розенштрауха наводят на мысль, что большую часть своей жизни он провел в поисках наилучшей формы религиозной веры. Подобное устремление вполне могло быть наследием юности, проведенной в Бреслау, где ему довелось столкнуться с самыми разными конфессиями. По оценке одной книги 1794 г., гражданское население города включало 37 600 лютеран, 13 600 католиков, 1000 реформатов и 2270 евреев¹⁴.

Данные о семье и исходном вероисповедании Розенштрауха покрыты тайной. Мне не удалось найти ни одного доказательства тому, что сам он хоть раз говорил или писал об этом. Он упрямо отказывался называть своих родителей. При регистрации брака в приходскую метрическую книгу обычно заносили имена родителей жениха и отмечали, законного ли он происхождения, однако запись о браке Розенштрауха умалчивает об этих деталях¹⁵. Возможно, он родился вне брака? Непонятно также, в какой конфессии он был воспитан, хотя это, несомненно, важно, учитывая значимость религии как в его воспоминаниях о 1812 году, так и во всей его биографии. Родился он, очевидно, 1 апреля 1768 года¹⁶, так что крестили его, навер-

vornehmlich zum Unterricht der Jugend verfertigt, 4. Ausgabe. Berlin und Stettin, 1787. S. 446.

¹² [Adelung, Johann Christoph.] Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen, Erster Theil, von A–E. Leipzig, 1774. Kol. 1138.

¹³ Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten, Dritter Theil, Zweite Auflage. Berlin, 1794. S. 394, “Vom Bürgerstande,” § 1–2; Statutarische Rechte der Stadt Breslau, so durch Observanz oder Analogie vom Magistrat eingeführet worden, mit einigen Erläuterungen und Abweichungen von der ersten Auflage und dem Königlichen neuen Gesetzbuche. Brieg, 1793. S. 74–75.

¹⁴ Zimmermann, Friedrich-Albert. Beschreibung der Stadt Breslau im Herzogthum Schlesien. Brieg, 1794. S. 316.

¹⁵ Liber Copulatorum 1779–1807 (Brilon, Propstei St. Petrus u. Andreas, 9. Bd., Trauungen 1779–1807) (FamilySearch.org, film no. 1055337), S. 59–60. Все ссылки на Брилонскую приходскую метрическую книгу, в которой был зарегистрирован брак Розенштрауха, относятся к этому документу.

¹⁶ Среди источников, указывающих на 1 апреля как дату рождения Розенштрауха, находятся такие, как: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA) FM 5.2 R35 Nr. 32 (протокол заседания ложи Tempel der Wahrheit,

ное, 4 апреля или около того: именно в этот день святого Амвросия, в честь которого Розенштраух был назван, поминают по протестантскому церковному календарю, тогда как по католическим святым память этого святого совершается 7 декабря¹⁷. Однако при регистрации бракосочетания священник записал Розенштрауха как католика, указав, впрочем, что тот не предоставил никаких тому доказательств. К сожалению, большая часть приходских метрических книг и другой документации, которая могла бы пролить свет на эти вопросы, скорее всего погибла во время тяжелых боев под Бреслау в последние недели Второй мировой войны¹⁸.

Любые поиски архивных документов осложняются тем, что фамилия Розенштраух вполне могла быть псевдонимом. Неттельбладт, собрат Розентшрауха по масонству, именно на это и намекал словами о том, что «он не называл своего настоящего имени»¹⁹. Актёрство было постыдной профессией, и, дабы не навлечь этим занятием позор на свои семьи, актеры брали себе сценические имена. Сегодня избранная нашим героем фамилия — *Rosenstrauch* («розовый куст») — может показаться еврейской, но это анахронизм: Гольдберг, Розенфельд и другие подобные фамилии получили распространение среди евреев только после 1787 года, когда австрийский император Иосиф II приказал своим подданным иудейского вероисповедания обзавестись фамилиями²⁰.

31 августа 1801 года); Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 147. № 341.6 («*Ignatius Linde* И.А. Розенштрауху»). Л. 47; и НИОР РГБ. Ф. 147. Картон 349. Ед. хр. 33 («Розенштраух. Свидетельство об избрании в мастера ложи св. Андрея (*Sti. Andreae a munificentia*) 1815 СПб»). Впрочем, некоторые источники утверждают, что Розенштраух родился 24 июня 1768 года: *Schnurr, Joseph. Die Kirchen und das religiöse Leben der Rußlanddeutschen.* Stuttgart, 1972. S. 321.

¹⁷ Badenscher gemeinnütziger [sic] Hof- und Staatskalender für das Jahr 1786. Carlsruhe und Kehl. Б.д. S. 4, 35.

¹⁸ В конце XVIII века в Бреслау было 35 церквей: см.: *Zimmermann. Beschreibung der Stadt Breslau.* S. 52. В крестильных регистрах семи из них, доступных через портал FamilySearch.org, не упоминается ребенок, родившийся в 1768 году и нареченный именем Иоганн-Амвросий (*Johannes Ambrosius*); нет такого и в хранящихся в Государственном воцлавском архиве (*Archiwum Państwowe we Wrocławiu*) метрических книгах двух других церквей (за эту информацию я благодарю Януша Голящевского (*Janusz Gołaszewski*) и Алицию Кусяк-Браунштайн (*Alicja Kusiak-Brownstein*)). Похоже, никаких других крестильных записей не сохранилось.

¹⁹ [Nettelbladt.] *Johann Ambrosius Rosenstrauch.* S. 198.

²⁰ Beider, Alexander. Names and Naming // The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe. <http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Names_and_Naming>, последнее посещение 04.08.2012.

Как мы уже видели, Розенштраух говорил Иоганну Филиппу Симону, что «посещал высшую школу», прежде чем стать «актером и оперным певцом». Последнее — явное преувеличение: возможно, ему и доводилось исполнять отдельные роли, требовавшие пения, но относительно престижного статуса оперного певца у него точно не было. Да и полученное им образование тоже представляется весьма ограниченным. Возможно, он готовился к секретарской работе: его воспоминания о 1812 году написаны приличным почерком и грамотным немецким языком, однако, в отличие от широко образованных людей, Розенштраух не выказывал особого интереса к истории или науке и не владел иностранными языками, в частности весьма бы ему пригодившимся французским — языком не только двора и аристократии, но и наполеоновской армии.

Женитьба (1788)

Другой пробел в биографии нашего героя касается его супружества. На страницах мемуаров о 1812 году фигурируют его дети, но мать этих детей не упоминается ни разу. Молчание Розенштрауха заставляет предполагать, что вдовцом он не был: скорее, его брак распался, что, по меркам современного ему общества, совершенно не приличествовало добропорядочному гражданину и могло опозорить его на всю оставшуюся жизнь. Сама глубина унижения, связанного с разводом, вполне возможно, объясняет, почему мы не можем найти ни одного упоминания о супруге ни в его текстах, ни в сообщениях его знакомых.

Распутать тайну этого брака нам поможет архивный документ, датированный вторником, 25 ноября 1788 года. В этот день, по свидетельству метрической книги одного католического прихода на западе Германии, некто Розенштраух, двадцати лет от роду, взял в жены некую Сузанну Барбару Антонетту Хампе. Похоже, это самый ранний документ, в котором встречается имя Розенштрауха. Какую же информацию мы можем из него почерпнуть?

Первое, что мы узнаем, — это что уже в ранней юности наш герой оставил дом и отправился на поиски неведомого будущего на периферии образованного общества. Бракосочетание состоялось в Брилоне — городке в 600 км к западу от Бреслау, в герцогстве Вестфалия, находившемся тогда под управлением архиепископа Кельнского. Приходская книга описывает жениха как «фельдшера родом из Бреслау,

что в Силезии». В Германии, как и по всей Европе до XIX века, лечением внутренних органов занимались медики с университетским образованием, тогда как все процедуры, связанные с врачеванием внешних органов и оперативным вмешательством, такие как перевязка ран, исцеление грыж, вправление сломанных костей, вырывание зубов, кровопускание и тому подобное, — были уделом фельдшеров. Обучение будущие фельдшеры проходили, работая подмастерьями у цирюльников, и даже имели свой собственный цех, хотя к концу XVIII века правительства немецких княжеств и пытались потребовать, чтобы звание фельдшера было доступно только тем, кто получил формальное медицинское образование²¹. Розенштраух был слишком молод, чтобы быть более чем подмастерьем в своей области. Возможно, он уехал из Бреслау с целью наняться на службу к мастеру из другого города, но, учитывая, что ко времени заключения брака у него не было постоянного места жительства²², так же вероятно и то, что он был бродячим цирюльником и фельдшером и зарабатывал себе на жизнь, брея бороды и выдирая зубы посетителям рынков и ярмарок. В столь же малоприятном социальном положении ему доведется побывать и позже, сначала как актеру в 1790–1809 годах, а потом как пастору без университетского образования в 1821–1835 годах: в каждом из этих случаев он оказывался на нейтральной полосе между двумя уважаемыми социальными группами — ремесленным цехом и буржуазией с университетским образованием, — ни одна из которых не спешила распахнуть объятия навстречу таким перебежчикам, как он.

Брилонская приходская книга свидетельствует о том, что Розенштраух сочетался браком с представительницей уважаемой и достаточно благополучной семьи из Касселя, столицы западногерманского княжества Гессен-Кассель. Брилон был католическим городом, в то время как Кассель, всего в 60 км к востоку от него (если брать расстояние по прямой), был оплотом протестантизма: реформаты составляли большинство населения, лютеране — меньшинство. Мать невесты Розенштрауха, Иоганна Елизавета Хампе (1742–1823), вдова незадолго до того скончавшегося Филиппа Отто Хампе (1746–1786), владела типографией, на протяжении полутора столетий бывшей значимым для

²¹ Sander, Sabine. Handwerkschirurgen // Enzyklopädie Medizingeschichte. Hrsg. Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, und Wolfgang Wegner. Berlin, 2005. S. 531.

²² Archiv des Erzbistums Köln. GVP (1788). Blatt 94r, запись от 17 ноября 1788 г. Все ссылки на кельнского генерального викария относятся к этому документу.

Касселя учреждением. Этот печатный двор, основанный в 1710 году дедом Филипа Отто, оставался во владении семьи Хампе, пока сын Иоганны Елизаветы не продал его в 1852 году. На протяжении большей части своего существования типография Хампе имела правительственную лицензию на печать местной газеты и официальных законодательных текстов. Члены семьи Хампе обычно женились и выходили замуж за себе подобных выходцев из среднего класса: в числе их невесток и зятьев были сыновья и дочери перчаточника, типографа, кровельщика, смотрителя странноприимного дома, а также смотрителя реформатской церкви при герцогском дворе²³. Как фельдшер и молодой человек с образованием Розенштраух вполне вписывалась в этот круг.

Реконструкция истории брака Розенштрауха подобна попыткам восстановить сюжет сильно поврежденной древней мозаики. Зачем ему было жениться в Брилоне, маленьком городишке, к которому не имели отношения ни он сам, ни его невеста?²⁴

Молодые явно торопились. Чтобы подтвердить право местной пары на брак, священнослужители обычно сверялись с данными метрических книг своего прихода и на протяжении трех праздничных или воскресных дней подряд зачитывали в церкви бanni — публичное объявление о предстоящей свадьбе. Однако Розенштраух и Сузанна были пришлецами, так что подтвердить их право на брак было сложнее, и тем не менее они желали обвенчаться срочно и безо всяких формальностей. Возможно, Сузанна была беременна и бежала из Касселя вместе с Розенштраухом? Это могло бы служить объяснением, почему, согласно документам о бракосочетании, оба молодых не имели постоянного места жительства. А также почему им было разрешено венчаться сразу без предварительного оглашения в церкви известия о браке, поскольку в случае беременности невесты это требование обычно отменялось²⁵. Чтобы обвенчаться незамедлительно, требовалось особое разрешение генерального викария из далекого Кельна. Еще за несколько месяцев до даты бракосочетания официальным

²³ Könnecke, Gustav. Hessisches Buchdruckerbuch, enthaltend Nachweis aller bisher bekannt gewordenen Buchdruckereien des jetzigen Regierungsbezirks Cassel und des Kreises Biedenkopf. Marburg in Hessen, 1894. S. 24–44.

²⁴ В 1818 году в Брилоне насчитывалось 2603 жителя и 394 жилища: см.: Stein, Christian Gottfried Daniel. Geographisch-Statistisches Zeitungs-, Post- und Comtoir-Lexicon, Ersten Bandes erste Abtheilung, A und B. Leipzig, 1818. S. 549.

²⁵ Schott, August Ludwig. Einleitung in das Ehrechth zu akademischem und gemeinnützlichem Gebrauch. Nürnberg, 1786. S. 339.

представителем генерального викария во всей Вестфалии был пастор города Брилона²⁶, не слишком удаленного от Мелриха, где Розенштраух проживал за несколько недель до венчания²⁷. Кто знает, быть может, молодые решили пожениться в Брилоне как раз потому, что местный священник воспользовался своим влиянием и помог им добыть особое разрешение? Мы ничего не знаем об их подготовке к свадьбе, но на финишной прямой они действовали быстро: согласно Брилонскому приходскому регистру, кассельский пастор Сузанны подписал свидетельство о ее крещении 7 ноября 1788 года, мать невесты представила письменное согласие на брак дочери 8 ноября, 17 ноября генеральный викарий выдал специальное разрешение, и уже 25 ноября венчание состоялось. Промедли они еще несколько дней, наступил бы Адвент, и свадьбу пришлось бы отложить до после Нового года.

Приходская метрическая книга проливает, пусть и тусклый, свет на запутанный вопрос о конфессиональной принадлежности Розенштрауха. С точки зрения религии его брак был смешанным, но конкретное вероисповедание супругов из документов не очевидно. И канцелярия генерального викария, и брилонский священник поверили на слово, что Розенштраух был католиком, холостяком и имел право жениться. Как это требовалось по закону²⁸, Брилонский приходской регистр обычно указывал родителей каждого жениха, но рядом с именем Розенштрауха эта информация не проставлена. Не предоставил он и *dimissoriale* — также требуемое законом отпускное письмо из домашнего прихода, разрешающее прихожанину жениться в другой церкви²⁹; брилонский священник отметил, что жених приехал «из прусских земель, где не принято выдавать отпускных писем». Это странное объяснение, поскольку по Прусскому праву брачующиеся не в своем приходе были в самом деле обязаны предоставить письменное свидетельство об оглашении извещения о браке в их собственном приходе³⁰. За неимением каких-либо документальных доказательств Розенштраух был вынужден присягнуть, что холост. Что

²⁶ Kindl, Harald. Briloner Kirchengeschichte // 750 Jahre Stadt Brilon: 1220 bis 1970. Hrsg. Magnus Müller und Theodor Tochtrop. Brilon, 1970. S. 91–130, здесь: 111–113

²⁷ Archiv des Erzbistums Köln. GVP (1788). Blatt 94r. Запись от 17 ноября 1788 года.

²⁸ Постановление от 27 февраля 1779 года // Liber Copulatorum 1779–1807.

²⁹ Deutsche Encyclopädie, oder Real-Wörterbuch aller Künste und Wissenschaften. Frankfurt am Main. 1783. Bd. 7. S. 332–333.

³⁰ Project des Corporis Juris Fridericiani das ist Sr. Königl. Majestät in Preussen in der Vernunft und Landes-Verfassungen gegründete Land-Recht. Bd. 1. Halle.

до Сузанны, канцелярия генерального викария определила ее вероисповедание как лютеранское, но при бракосочетании она предъявила свидетельство о крещении из реформатской церкви в Касселе. Более точно установить религиозную принадлежность Розенштрауха и его невесты сложно ввиду того, что кассельские архивы погибли во время воздушного налета в 1943 году.

Бракосочетание Розенштрауха в 1788 году краткосрочной вспышкой освещает тот период жизни нашего героя, о котором у нас нет никаких иных источников информации. Можно предполагать, что со своей невестой он познакомился в Касселе, но как они встретились или куда они направились после свадьбы, неизвестно. На деле мы вообще ничего о них не знаем вплоть до 1790–1791 годов, когда журнальная заметка сообщила, что Розенштраух был актером, членом театральной труппы³¹. Как многие актерские пары, муж и жена нанимались играть в одной компании, поэтому списки трупп, в которых служил Розенштраух, иногда включают и актрису по имени «мадам Розенштраух».³² С этого момента остаток биографии Розенштрауха можно восстановить довольно точно: пробелы в информации минимальны.

Начало театральной деятельности

Войдя в состав театральных трупп, известных настолько, чтобы оставить следы в исторической документации, Розенштраух и его супруга начинают появляться на радаре историка довольно часто. Театральные журналы и архивы отдельных театральных компаний составляют основной — а впрочем, и единственный — источник информации об этом периоде жизни Розенштрауха. Подобно масонам и пietистам, двум другим кругам, впоследствии сыгравшим центральную роль в жизни Розенштрауха, театральные труппы в

³¹ 1749. S. 53; Arnoldt, *Dan. Heinr. Kirchenrecht des Königreichs Preussen*. Königsberg; Leipzig, 1771. S. 75.

³² Müllersche Gesellschaft // *Theater-Kalender, auf das Jahr 1792*. S. 295–297, здесь: 296.

³³ Verzeichniß der jetzt in Hessen-Cassel spielenden Haßlochischen Schauspielergesellschaft // *Rheinische Musen*. 1794–1795. Bd. 2. Stück 8. S. 185; Berichtigungen und Aenderungen bei der Haßlochischen Gesellschaft in Cassel // *Rheinische Musen*. 1794–1795. Bd. 3. Stück 1–4. 83; б.н. // *Rheinische Musen*. 1795. Bd. 1. Stück 2. S. 200; Hessisches Staatsarchiv Marburg (HStA). Bestand 5. Nr. 12280 («Acta die Haßlochsche hiesige Schauspieler-Gesellschaft betr. 1793–1800»). Blatt 142r (договор с театральной труппой, 1798).

совокупности участвовали в создании географически протяженного сообщества, объединяемого письменными текстами. Театральные журналы создавали некоторую видимость единства за счет публикации новостей, предоставляемых разными компаниями, в частности о поставленных ими пьесах, составе трупп и амплуа каждого актера. Печатая сведения о местонахождении компаний и информацию об отдельных актерах, журналы способствовали частой ротации персонала, типичной для театральных трупп. Подобные публикации также помогали компаниям предупреждать друг друга об актерах, которым нельзя было доверять; списки служащих временами упоминали актеров, «сбежавших» от своих трупп, предположительно из-за конфликтов по поводу договоров или неоплаченных долгов³³.

В Германии XVIII века театр существовал в основном благодаря странствующим театральным компаниям, ставившим как легкие развлекательные спектакли, так и пьесы великих немецких драматургов того времени. Такие компании были известны по имени своего антре-пренера, одновременно бывшего ведущим актером труппы. Именно он нанимал и увольнял актеров и добывал разрешение на гастроли в том или ином городе. Например, во времена юности Розенштрауха основным поставщиком театра в Бреслау была труппа Везера. Антре-пренер Иоганн Христиан Везер получил королевскую привилегию на всю Силезию в 1771 году, а после его смерти она перешла к его вдове, сохранившей ее до конца своей жизни в 1797 году. Труппа Везера постоянно квартировала в Бреслау, но летом выезжала и в другие прусские города; редким исключением были продолжительные — шестнадцатимесячные — гастроли труппы в 1786–1787 годах, когда бреславским любителям сценического искусства пришлось, по сообщениям современников, довольствоваться «труппами канатоходцев и эквилибристов»³⁴.

Вполне вероятно, что любовь Розенштрауха к театру возникла под воздействием постановок труппы Везера, но нет никаких

³³ См., например: Herzoglich Strelitzisches Hoftheater // Theater-Kalender, auf das Jahr 1788. S. 208–209, здесь: 209; Toskanische Gesellschaft // Theater-Kalender, auf das Jahr 1788. S. 211–212, здесь: 212; Wilhelmische Gesellschaft // Theater-Kalender, auf das Jahr 1790. S. 116–118, здесь: 117; Meddoxsche Gesellschaft // Theater-Kalender, auf das Jahr 1790. S. 135–136; Müllersche Gesellschaft // Theater-Kalender, auf das Jahr 1792. S. 295–297, здесь: 296.

³⁴ Pies, Eike. Prinzipale: Zur Genealogie des deutschsprachigen Berufstheaters vom 17. bis 19. Jahrhundert. Ratingen, Kastellaun, Düsseldorf. 1973. S. 377–378; Kurze Geschichte des gegenwärtigen Theaters zu Breslau // Neues Theater-Journal für Deutschland. 1788. Heft 1. S. 33–59.

доказательств тому, что он когда-либо входил в ее состав. На деле до 1790 года он, похоже, не фигурировал вообще ни в одном печатном списке членов какой бы то ни было труппы. Возможно, он выступал в компаниях не столь значительных, чтобы о них писали театральные журналы; вполне вероятно, что он чередовал работу фельдшером с периодическими выступлениями на сцене.

С артистической и экономической точек зрения подобные мелкие труппы были довольно примитивны. Актер Даниэль Гурай, выступавший с Везером в Бреслау, вспоминал, что видел такие труппы в Богемии в начале 1780-х годов:

Поблизости от нас находились группы по пять, самое большее шесть человек, которые занимались своим ремеслом в каждом рыночном mestечке. Я был однажды свидетелем таких импровизированных представлений, где основная роль была у Касперля. Они поставили в трактире бумажные кулисы, — вот вам и театр. Главный реквизит, который они всегда имели с собой, был барабан. Касперль ходил с ним при всех своих регалиях по mestечку и приглашал его жителей, которые потом за трубкой табаку да кружкой пива смотрели на проказника³⁵.

Гурай презирал подобные труппы, но как раз в это время и сам так обнищал, что пытался продать последний оставшийся у него носовой платок, чтобы на вырученные деньги купить еды³⁶.

Некоторое представление о том, как могла начаться театральная карьера Розенштрауха, можно получить из автобиографии другого актера из труппы Везера, Иоганна Христиана Брандеса (1735–1799). Родился Брандес в обедневшей бурггерской семье в Штеттине (нынешнем польском Щецине), городе на реке Одер ниже по течению от Бреслау. Еще мальчиком он поступил в подмастерья к купцу, но в шестнадцать или семнадцать лет сбежал из-за конфликта с мастером. Полтора года после этого он провел, блуждая по Восточной Пруссии и Польше, выполняя мелкие работы и попрошайничая на улицах; частенько бездомный, босой, голодный и больной, он целиком и полностью зависел от милости незнакомцев и подумывал о самоубийстве. Ненадолго вернувшись в Штеттин, он направился в Берлин и СевероЗападную Германию. Не найдя работы помощником продавца за неимением рекомендательных

³⁵ Huray. *Fragmente*. S. 112–113.

³⁶ Ibid. S. 117.

писем, Брандес помышлял об эмиграции в заморские страны, работал домашней прислугой, что казалось ему унизительным, и в отчаянии подумывал о поступлении в солдаты или матросы. Примерно в двадцатилетнем возрасте он присоединился к театральной труппе в Любеке. В последующие годы он неоднократно переходил из одной труппы в другую; пытаясь удержаться на плаву в промежутках между ангажементами, он работал секретарем и слугой и даже вступил в шайку карточных шулеров. Только в двадцать пять лет или около того он начал находить постоянную работу и обрел надежный доход в качестве странствующего актера. Судя по его автобиографии, Брандес через всю жизнь пронес горькие воспоминания о нищете и незащищенности. Он ненавидел бездушие богатеев и порочность бедняков, но при этом испытывал глубокую благодарность ко множеству добрых незнакомцев и не переставал удивляться пестроте и разнообразию прожитой им жизни³⁷.

Первое печатное известие о Розенштраухе извещало, что он и его супруга выступали в 1790–1791 годах в недалеко отстоявших от Бриллона вестфальских городах Оsnабрюк, Мюнстер и Бад-Неннидорф с труппой антрепренера по фамилии Мюллер (очевидно, Карл Фридрих Мюллер). Розенштраух играл роли «стариков, крестьян, трактирщиков и солдат», а его жена — «играет и поет за трактирщиц, карикатурных персонажей, старых кокеток»³⁸.

Розенштраух пришел на сцену в переходный для немецкого театра момент истории. Просвещение прославляло театр как место морального и эстетического воспитания граждан. Так, Фридрих Шиллер провозглашал в 1784 году, что

...сцена — это общий канал, в который стекается свет мудрости думающей лучшей части нации, и который распространяется отсюда отраженными лучами по всему государству. Правильные понятия, ясные принципы, чистые чувства текут отсюда по всем артериям нации; исчезает туман варварства, мрачных суеверий, ночь уступает победе света³⁹.

³⁷ Brandes. *Meine Lebensgeschichte*. Bd. 1; Pies. *Prinzipale*. S. 65–66.

³⁸ Müllersche Gesellschaft. S. 295–297; Krollage, Reinhard. *Theater in Osnabrück* – «Ein tollkühnes Wagnis»: Osnabrücker Bühnengeschichte 1771 bis 1909 vor der Eröffnung des Hauses am Domhof. Osnabrück. Б.д. [2004]. S. 166; Mentzel, E. *Theater in Marburg 1789* // Hessenland: Zeitschrift für hessische Geschichte und Literatur. 16 September 1905. 19. Jahrgang, Nr. 18. S. 255–258, здесь: 256.

³⁹ Schiller, Friedrich. Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich bewirken? // Thalia. 1785. Bd. 1. Heft 1. S. 1–27, здесь: 21.

Общество тем не менее продолжало смотреть на актеров как на бродячих шутов, поставщиков сомнительных с моральной точки зрения развлечений. Брандес вспоминал, что в 1760-х годах он считал работу домашней прислугой ниже своего достоинства; однако его тетушка, набожная женщина, нежно его любившая, «считала комедиантов отпрысками сатаны» и настаивала, чтобы он вернулся в услужение. Когда же он отказался последовать ее совету, она порвала с ним отношения⁴⁰.

Широко бытовало мнение, что типичный актер был портным или цирюльником, слишком ленивым для того, чтобы зарабатывать деньги честным трудом, а все актрисы — распутницами. Эти стереотипы являлись не более чем выдумками, плодом дворянского и буржуазного сnobизма, но общественное отторжение актеров было вполне реально. Большинство из них были либо потомственными актерами, либо деклассированными представителями образованного слоя населения. Изучение биографических данных 2000 человек, ставших служителями сцены в Германии в период между 1775 и 1850 годами, дает представление о том, каково было их происхождение. Мужчины обычно начинали выступать в возрасте между восемнадцатью и двадцатью двумя годами, женщины — лет в пятнадцать или шестнадцать. Формального актерского образования не существовало: дети актеров учились у родителей, а новички — у более опытных коллег. Около 90% актерских браков заключались с коллегами по профессии, и их отпрыски обычно шли по родительской стезе. Из числа тех, кто родился до 1800 года, 56,91 % были детьми актеров же; вполне возможно, эта оценка занижена, поскольку выборка из 2000 человек не включает мелкие труппы, часто бывшие семейным предприятием. Еще 25,41% были отпрысками гражданских служащих или выпускников университетов — двух социальных групп, проникнувшихся идеологией Просвещения и социально амбициозных, но частенько безработных. Гораздо меньшее число артистов вышло из семей носителей консервативных представлений о респектабельности: только у 16,57% родители были ремесленниками, купцами или дворянами, и многие актеры из этой категории сбежали из дома и взяли себе сценический псевдоним. Наконец, лишь 1,1% актеров были родом из крестьян, что отражает крестьянскую неграмотность и оторванность от элитной культуры⁴¹.

⁴⁰ Brandes. *Meine Lebensgeschichte*. Bd. 1. S. 230–231.

⁴¹ Schmitt, Peter. *Schauspieler und Theaterbetrieb: Studien zur Sozialgeschichte des Schauspielerstandes im deutschsprachigen Raum 1700–1900*. Tübingen, 1990. S. 43–48, 92–109, 112, 119.

Французские и итальянские театральные и оперные компании иногда получали постоянное место при немецких княжеских дворах, но немецким труппам в поисках ангажементов приходилось скитаться из города в город. Во главе каждой из этих трупп стоял антрепренер; труппа состояла из членов семьи антрепренера и других актеров, способных исполнять определенные типы ролей. Такие труппы выступали в основном в небольших городах, где люди без местного рода и племени почтением не пользовались и где поэтому к странствующим актерам относились с тем же презрением и недоверием, что и к бродягам. Неприкаянность делала артистов экономически уязвимыми и беззащитными перед деспотизмом антрепренера. По той же причине страдала артистическая репутация бродячих театров, поскольку труппы редко получали возможность наладить уважительные взаимоотношения с публикой. Зрители считали себя вправе прерывать представление: входить и выходить в середине действия, есть, пить и громко разговаривать, а в случае, если спектакль не оправдал их ожиданий, грубо и шумно издеваться над артистами. Актеры отвечали публике взаимным неважением: не слишком усердно учили свои роли или выходили на сцену пьяными⁴².

По словам театрального историка и бывшего актера Эдуарда Девриента (1801–1877), в конце XVIII века немецкое общество чуждалось актеров «как чумных» и терпело их, только когда они развлекали публику забавными историями, магическими трюками и тому подобным. Девриент считал, что артисты попросту довели до логического конца разращение нравов и пороки — пьянство, азартные игры, сластолюбие, — присущие обществу в целом. Актеры также пользовались скандальной славой за то, что не гнушались бросать жен и нарушать договорные отношения. Если верить Девриенту, «каждый актер должен был вначале считать себя необразованным тунеядцем, каждая актриса — легкой добычей, пока они не ставили себя по-другому. Для заметно растущего понемногу числа убежденных деятелей искусства, искренних и верных людей в театре их положение в обществе по-прежнему было предметом мучений»⁴³.

⁴² Weil, Rudolf. Das Berliner Theaterpublikum unter A. W. Ifflands Direktion (1796 bis 1814): Ein Beitrag zur Methodologie der Theaterwissenschaft. Berlin, 1932. S. 87–89; Devrient, Eduard. Geschichte der deutschen Schauspielkunst. Leipzig, 1848–1874. Bd. 3. S. 210.

⁴³ Devrient. Geschichte der deutschen Schauspielkunst. Bd. 2. S. 313, 321; Bd. 3. S. 209–213.

Социальное отчуждение актеров было продуктом обостренного чувства чести, регулировавшего взаимоотношения сословий в Германии раннего Нового времени. Лицам, избравшим бесчестную — в глазах общества — профессию, могли отказать в принятии в цех, в христианском погребении и в других формах включения в социум. Под эту категорию подпадали люди, не имевшие определенного места жительства (такие, как актеры передвижных театров) или связанные с физической распущенностью (проститутки, банщики) или с грязью или гниением (мусорщики, дубильщики, палачи, сборщики падали)⁴⁴. Каждая социальная группа, включая актеров, дистанцировалась от групп и лиц, считавшихся «менее честными». Так, Брандес вспоминал, как его труппа обнаружила, что человек, перевозивший их в другой город, был помощником палача. Тут же поднялся «крик женщин, которые считали такую перевозку бесчестием для себя и других», поддержаный «ругательствами и проклятиями» мужской половины труппы⁴⁵.

Когда Брандес записывал этот случай в 1790-х годах, память о нем была еще свежа, но тон рассказчика наводит на мысль, что сам он считал подобное отношение пережитком прошлого. На деле социальное расслоение Германии постепенно сглаживалось. Абсолютистские правительства пытались гомогенизировать подданное население; придворное общество служило образцом «цивилизованного» образа жизни, которому подражали другие социальные группы; и буржуазия начала строить свое самоопределение на основании универсалистских представлений о разуме, добродетели и гражданстве, а не сословного состояния⁴⁶. Благодаря этим нововведениям социальное отторжение актеров стало менее заметно. В 1753 году драматургу Адаму Готфриду Улиху было отказано в соборовании на том основании, что когда-то он был актером. Однако в 1790 году, сообщая о смерти одного кенигсбергского артиста, театральный альманах с надеждой добавил, «что предрассудки исчезают постепенно и в этих местах, что доказывает погребение этого человека, которого несли в могилу собратья и сопровождали много почтенных мужей»⁴⁷.

⁴⁴ Dülmen, Richard van. Kultur und Alltag in der Frühen Neuzeit. München, 1999, Bd. 2. S. 103.

⁴⁵ Brandes. Meine Lebensgeschichte. Bd. 1. S. 279.

⁴⁶ Van Dülmen. Kultur und Alltag. Bd. 2. S. 217–219.

⁴⁷ Gesellschaft der Schuchischen Geschwister // Theater-Kalender, auf das Jahr 1790. S. 112–116, здесь: 114.

Что, помимо юношеской наивности, могло побудить Розенштрауха избрать столь малообещающую профессию? Возможно, как предполагал его собрат по масонству Христиан Неттельбладт, покинуть дом его заставил раздор в семье⁴⁸. Другим фактором было немецкое Просвещение, презиравшее бюргерство за узость мышления и провинциальность, а о francauzившуюся аристократию за поверхностность и чрезмерную заботу о своем внешнем виде. По словам социолога Норберта Элиаса, деятели Просвещения ценили «внутреннюю жизнь, глубину чувств, погруженность в книги, формирование собственной личности», а в юношестве они поощряли «естественную и свободную любовь, мечты в тишине, преданность порывам собственного сердца, не сдерживаемым ‘холодным рассудком’»⁴⁹. Вполне возможно, что Розенштраух разделял эти чувства. В двадцать с небольшим он оставил семью и присоединился к передвижному театру; рано женился; и, как мы увидим дальше, завел дневник и стал франкмасоном. Другими словами, он противостоял условностям и стремился освоить, выразить и улучшить свое внутреннее «я». Может статься, перформативная сторона театра тоже привлекала его — позже, будучи масоном и проповедником, он любил дидактическую риторику, инсценированные обряды и одобрение публики. Наконец, судя по тому, что случилось позже, он явно не боялся рисковать и искать удачи в неведомых далях: вступление в театральную труппу вполне отвечало его жажде приключений.

Голландия (1792–1793)

Следующий фрагмент доступной нам информации датируется апрелем 1792 года, когда театральный журнал сообщил, что незадолго до того Розенштраух и еще один член компании Мицлера покинули мюнстерский театр и присоединились к труппе Рейнберга—Шёппленберга, выступавшей в Дюссельдорфе на Рейне и в мае собирающейся на гастроли в голландский Маастрихт или Венло⁵⁰. Эти планы пошли прахом, поскольку труппа распалась: в июне—июле 1792 года

⁴⁸ [Nettelbladt.] Johann Ambrosius Rosenstauch. S. 198.

⁴⁹ Элиас, Норберт. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.; СПб., 2001. <http://krotov.info/library/26_ae/li/as_00.htm>, последнее посещение 28.11.2013.

⁵⁰ Die Rein- und Schöpplenbergische Gesellschaft zu Düsseldorf besteht jetzt (im April) noch aus . . . // Allgemeines Theaterjournal. 1792. Bd. 1. Heft 3. S. 213.

актеры остались в Дюссельдорфе без антрепренера⁵¹. Розенштраух тем не менее все равно отправился в Голландскую республику. Что он там делал, неясно, но мы располагаем достаточной информацией, чтобы попытаться сделать более или менее обоснованные предположения.

Пребывание в Голландской республике было самым ранним событием, о котором Розенштраух упоминает в своих воспоминаниях о 1812 году. Довольно туманно он пишет, что «я был в Голландии, очень уважаю эту нацию и нашел там многих благородных благодетелей» (с. 269). Должно быть, этот опыт многому его научил. Возможно, именно в Голландской республике он впервые испытал покровительство аристократов и жизнь за границей, и вполне вероятно, что именно в Голландии он вступил в ряды масонов. Кроме того, как он вспоминал, размышая о наполеоновском вторжении в Москву, с армиями Французской революции он впервые столкнулся в Голландии (с. 270). Этот период в жизни Розенштрауха заслуживает более пристального рассмотрения, хотя, так же как в случае с годами его юности, мы гораздо больше знаем об общем историческом контексте того времени, чем собственно о его биографии.

В каком-то смысле пребывание Розенштрауха в Голландской республике стало прелюдией его последующей эмиграции в Россию. Между родиной Розенштрауха и Голландией, с одной стороны, и Россией — с другой, существовала некая контактная зона, в которой культуры и социальные системы соседних стран соприкасались и взаимодействовали друг с другом. На востоке остзейские губернии Российской империи образовывали — с языковой, исторической и социополитической точек зрения — переходную зону между Германией и Россией. Рейнские земли, Бельгия, Люксембург и Нидерланды служили подобной же контактной зоной на западе. В политике этот регион всегда ориентировался на Германию: за исключением Голландской республики, отделившейся от Империи в 1648 году, весь регион входил в состав Священной Римской империи германской нации иправлялся в основном либо Габсбургами, либо князьями-епископами католической церкви. С другой стороны, культурный и экономический центр тяжести приходился на Нидерланды, и большая часть региона разговаривала на языке, близком к голландскому.

Немцы мигрировали как в Россию, так и в Голландскую республику. Поскольку в Священной Римской империи было избыточное количество нетрудоустроенных дворян, немецкие офицеры поступали на

⁵¹ Pies. Prinzipale. S. 288.

службу в голландскую и русскую армии. Немцы также торговали с обеими странами, и наличие немецкой диаспоры в больших портовых городах обеих стран предоставляло немецким театральным труппам возможности для гастролей, поэтому в Амстердаме и Санкт-Петербурге существовали более или менее постоянные немецкие театры. В России не хватало квалифицированных работников и торговцев, зато был избыток целинных земель, поэтому Россия «импортировала» выпускников немецких университетов, купцов и крестьян-колонистов. Наоборот, более чем благополучная Голландия испытывала нехватку в людях и потому ввозила солдатов и разнорабочих. Целые подразделения голландских военных сил набирались в Германии⁵², и голландцы (подобно британцам) «арендовали» армейские полки у испытывавших финансовые трудности немецких монархов⁵³. Голландцы такжеанимали сезонную рабочую силу для работы в сельском хозяйстве, промышленности и судоходстве; в этой ежегодной миграции принимало участие такое количество обедневших немцев, что в немецком языке для описания этого явления появился специальный термин, *Hollandgänger* («ходоки в Голландию»)⁵⁴.

Межграницочные контакты были особенно тесными в Гессене и Вестфалии — районах, где Розенштраух жил в период между 1788 и 1792 годами. Одним из наиболее активных поставщиков солдат был ландграф Гессен-Кассельский. Эта же область была одним из основных источников рабочей силы: в некоторых районах княжества-епископии Оsnабрюк, к северу от Мюнстера, в Голландскую республику ежегодно уезжало на заработки до трети мужского крестьянского населения⁵⁵. Государства, находившиеся в этом регионе, были мелкими, бедными,

⁵² Например, батальон из маркграфства Баден-Дурлах: *Obser, C. Badische Politik in den Jahren 1782 bis 1792 // Zeitschrift für Geschichte und Politik.* 1888. Bd. 5. Heft 12. S. 901–920, здесь: 901.

⁵³ По поводу мюнстерского договора от 1780 года см.: *Kohl, Wilhelm. Das Bistum Münster // Germania Sacra, N. F., 37: Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln; 7: Das Bistum Münster; 1: Die Diozöse.* Berlin; New York. 1999. S. 305. О договорах с Брауншвайгом-Люнебургом и Мекленбургом-Шверином в 1788 г. см.: *Kampf, E. von. Ein Beitrag zu den Annalen des Mecklenburgischen Subsidien-Corps in Holland, 1788 bis 1795 // Archiv für Landeskunde in den Großherzogthümern Mecklenburg und Revue der Landwirthschaft.* 1863. 13. Jahrgang. S. 69–73, здесь: 69–70; *Eelking, Max von. Leben und Wirken des Herzoglich Braunschweig'schen General-Lieutenants Friedrich Adolph Riedesel Freiherrn zu Eisenbach.* Leipzig, 1856. Bd. 3. S. 28.

⁵⁴ *Kretschmer, Konrad. Historische Geographie von Mitteleuropa.* München und Berlin. 1904. S. 616–617.

⁵⁵ *Aengenvoort, Anne. Migration–Siedlungsbildung–Akkulturation: Die Auswanderung Nordwestdeutscher nach Ohio, 1830–1914.* Stuttgart, 1999. S. 69.

в высшей степени иерархичными и управлялись постаринке. Асимметричные взаимоотношения с гораздо более богатой и свободной Голландской республикой подтачивали монархические и сословные системы немецких княжеств. Для правителей сдача солдат в аренду была соблазнительным источником дохода, которая, однако, подставляла их под обвинения в том, что наживу и любовь к роскоши они ценят выше жизней своих подданных: так, например, отзывался о торговле солдатами Шиллер в пьесе «Коварство и любовь». Тем временем немцы, ходившие на заработки в Голландию, несли домой демократические настроения, пугавшие вышестоявшее начальство. Один прусский чиновник докладывал в середине XVIII века, что по возвращении из Голландской республики

…люди живут, как голландцы. Они усваивают себе вольготный образ жизни, не заботясь вовсе или недостаточно о порядке и авторитете. Военнообязанные юноши избегают призыва в прусскую армию, удаляясь надолго — а часто, и навсегда — за границу. Эти люди стремятся по своей природе к свободе и к жизни коммивояжеров. Как солдаты они ничего не стоят⁵⁶.

Как и в Германии, большинство голландских городов было не в состоянии содержать постоянный театр и полагалось на гастролирующие компании. Немецкие актеры часто выступали в Нидерландах, но некоторые из них испытывали по этому поводу весьма смешанные чувства. Им было о чем поворчать: голландский театр пребывал в основном под влиянием французского, а не немецкого театра; голландская протестантская церковь встречала в штыки вообще любые театральные выступления; и до 1795 года театральные компании вынуждены были отдавать заметную часть своих доходов муниципалитетам городов, в которых они гастролировали, на вспомоществование бедным⁵⁷. Помимо этого немцы порицали голландцев как нацию за то же, за что вообще любые зажиточные либеральные общества Северо-Западной Европы обычно подвергались критике со стороны более бедных соседних народов: чрезмерную жажду к наживе и отсутствие истинного эстетического чувства. Так, один немецкий артист писал в 1789 году, что немецким актерам тяжело

⁵⁶ Цит. по: *Landwehr, Achim, und Stefanie Stockhorst. Einführung in die europäische Kulturgeschichte*. Paderborn, 2004. S. 342.

⁵⁷ *Brandt, George W., Wiebe Hogendoorn, eds. German and Dutch Theatre, 1600–1848*. Cambridge. P. 339.

приходилось в Нидерландах, потому что они не пользовались большим уважением у публики:

Но, как бы ни была прекрасна здешняя страна, как ни великолепны города и построенные в некоторых местах сцены, как ни много здесь денег, но столько же и лицемерия. Верховодит тут духовенство, а с большей частью жителей не о чем говорить. Все тут купцы, и цену человека они определяют, как правило, по тысячам или миллионам, которыми он владеет⁵⁸.

Другой немецкий комментатор выразился еще откровеннее. Выступая в Маастрихте, иронизирует он, актеры принялись «метаться во все стороны», «орать во все горло», короче говоря, проявлять «самое бесстыдное сумасшествие». А что же публика? «Зрителями в театре были голландцы. Это слово достаточно их характеризует»⁵⁹.

Отношения между голландцами и германскими государствами достигли критической точки примерно тогда, когда Розенштраух прибыл в Гессен и Вестфалию. Голландская республика и соседствующие с ней Австрийские Нидерланды (Бельгия) были в то время новейшим очагом затяжного конфликта между монархистами и республиканцами, сотрясавшего Европу и ее колонии со времени Американской революции и до середины XIX века. Голландской республикой управляли Генеральные штаты и потомственный статхадер, чьей главной функцией было руководство обороной страны. В 1780-х годах возник конфликт между оранжистами — сторонниками статхадера Виллема V, принца Оранжского, и патриотами, желавшими ограничить почти монархическую власть статхадера. Патриоты вдохновлялись опытом Американской революции и Франции, тогда как статхадер и его двор ориентировались в культуре и в политике на Германию⁶⁰. Когда в 1787 году патриоты ненадолго арестовали супругу статхадера — сестру прусского короля, прусские войска вторглись в Голландскую республику и восстановили власть статхадера. Множество патриотов бежало во Францию, и войска

⁵⁸ Аноним. Etwas vom deutschen Theater in Holland (Aus dem Schreiben eines deutschen Schauspielers, von Gröningen den 4. May d. J.) // Annalen des Theaters. 1789. Heft 4. S. 85–86.

⁵⁹ Maastricht // Annalen des Theaters. 1797. Heft 20. S. 29–30, здесь: 30.

⁶⁰ Geelen, Albert van. Deutsches Bühnenleben zu Amsterdam in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, Deutsche Quellen und Studien 18. Hrsg. Wilhelm Kosch. Nijmegen; Würzburg; Wien, 1947. S. 11.

разных германских княжеств были дислоцированы в голландских городах с целью поддержать статхаудера.

Начало Французской революции в 1789 году заставило защитников монархической власти занять оборонительные позиции. В течение нескольких месяцев после начала Революции в 1789 году бельгийские революционеры свергли своих правителей и провозгласили республики. Зимой 1790/91 года Габсбурги подавили это восстание, но 20 апреля 1792 года, примерно в то время, когда Розенштраух покинул Мюнстер, Франция объявила Габсбургам войну. Летом и осенью того же года австрийская и прусская армии пошли было в наступление, но к концу 1792 года французы сломили их напор и заняли Бельгию. 17 февраля 1793 года французская армия под командованием генерала Дюмурье направилась на юго-запад Голландской республики, надеясь захватить главные голландские укрепления (Берген-на-Зоме, Бреду и Хертогенбос), пересечь дельту Рейна, Мааса и Шельды и начать наступление на Амстердам. К началу марта 1793 года несколько укреплений пали, но объединенные силы противника заблокировали переправы через реку и атаковали Дюмурье с востока, вынудив его отступить обратно в Бельгию⁶¹.

Жизнь Розенштрауха в 1792–1793 годах была каким-то образом связана с этими событиями. Обстоятельства, приведшие его в Голландскую республику, неизвестны. В нашем распоряжении всего несколько архивных документов. Два из них указывают на то, что наш герой вступил в масонскую ложу в городе Кампен, в провинции Оверриссель в Центрально-Восточных Нидерландах, но детали этого события неясны. По данным карточного каталога голландского масонского архива — оригинал документа, похоже, утрачен, — 10 июня 1792 года он вступил в Кампене в ложу под названием «Глубокое молчание» (*Le Profond Silence*)⁶². С другой стороны, немецкий масонский документ из архива в Берлине цитирует слова Розенштрауха о том, что некогда — дата не уточняется — он вступил в Кампене подмастерьем в Иоанновскую ложу под названием Ложа св. Иоанна Иерусалимского⁶³. (Иоанновские ложи были ложами, присуждавшими только три

⁶¹ Difurth, Maximilian von. Die Hessen in den Feldzügen von 1793, 1794 und 1795 in Flandern, Brabant, Holland und Westphalen. Kassel, 1840. Bd. 2. S. 270.

⁶² Благодарю за эту информацию хранителя Гаагского культурного масонского центра «Принц Фредерик» (Cultureel Maçonniek Centrum «Prins Frederik») Як. Пипенброка (Jac. Piepenbrock).

⁶³ GStA FM 5.2 R35 Nr. 32 («Protocolla der Gerechten und Vollkommenen St. Johannis Loge Tempel der Wahrheit in Rostock Erster Grad»), запись от 31 августа 1801 года.

звания: «подмастерье» было промежуточной ступенью, выше «ученика» и ниже «мастера масона».) Голландские приходские метрические книги показывают, что тремя месяцами позже, 22 сентября 1792 года, в Зальтбоммелем, недалеко от Хертогенбоса, был крещен сын Розенштрауха⁶⁴. Наконец, в своих воспоминаниях о 1812 году он писал: «Я видел французскую армию в Голландии при Дюмурье» (с. 270). Вероятно, это относится к февралю–марту 1793 года, когда Хертогенbos преобразился в руках союзников в то время, когда все остальные окрестные укрепления уже находились в руках французов. На основании этой ограниченной информации можно попытаться восстановить опыт, пережитый Розенштраухом в Голландской республике.

Зальтбоммельская запись о крещении содержит одну деталь, проливающую свет на пребывание Розенштрауха в Голландской республике: в качестве крестного отца младенца назван «граф ван Хайден-Хомпеш». Похоже, единственным живым носителем этого имени в 1792 году был граф Анн Виллем Карел ван Хайден-Хомпеш (1755–1807). Розенштраух, очевидно, высоко почитал графа, поскольку назвал сына Карлом Вильгельмом, вероятно, в честь графа, а рожденные позже дочери Розенштрауха были наречены Елизаветой Каролиной и Вильгельминой. Среди голландских «благородных благодетелей» Розенштрауха был, видимо, и Хайден-Хомпеш.

Что связывало Розенштрауха с графом, непонятно. Работал ли он на него в каком бы то ни было качестве, или граф принимал его как гостя? Этого мы не знаем. Впрочем, поскольку Хайден-Хомпеш был аристократом и, соответственно, оставил за собой бумажный след, мы можем выяснить, какими путями Розенштраух мог попасть в окружение графа.

Один из путей был таковым в буквальном, пространственно-географическом смысле. Весной 1792 года, как мы помним, Розенштраух проживал в Мюнстере в Вестфалии. Оттуда к месту жительства графа вел один из основных путей сообщения и миграции населения. Путешественник, выехавший из Мюнстера в северо-западном направлении, уже через 50 км (на расстоянии птичьего полета) попадет в немецкое княжество Бентхайм, в котором Хайден-Хомпеш занимал должность судебного ассессора⁶⁵. Еще в 20 км в том же направ-

⁶⁴ Streekarchief Bommelerwaard, DTB 1901, p. 191 (запись о крещении Карла Вильгельма Розенштрауха, 22 сентября 1792 года). За любезную помощь я приношу благодарность архивисту Силь ван Доорнмален (Sil van Doornmalen).

⁶⁵ Bär, Max. Hermann Nikolaus Funcks Geschichte des Hofgerichts zu Bentheim // Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück. Osnabrück. 1900. Bd. 24 (1898). S. 1–23, здесь: 15, 22.

лении располагается фамильная усадьба графа в голландском городе Оотмарсум⁶⁶. Проехав еще 50 км все в том же северо-западном направлении, попадешь в Цволле и Кампен — район, где граф обычно проживал. Чтобы добраться до Кампена, Цволле, Оотмарсума или Бентхайма, путешественнику из Мюнстера пришлось бы сменить почтовую карету лишь раз⁶⁷. По тому же маршруту пролегал и основной путь миграции. Избегая болот, немецкие гастарбайтеры выбирали один из нескольких основных маршрутов в Голландию, главный из которых проходил мимо Оотмарсума и вел к Цволле и Кампену. Там мигранты садились на паром и пересекали Зюдерзее в поисках работы в городах на голландском побережье⁶⁸. Миграция вдоль этого пути не ограничивалась лишь рабочими: голландские студенты ехали в Гётtingенский университет, а студенты из рейнских земель и Вестфалии посещали университет в Хардервейке возле Кампена и Цволле⁶⁹.

Графа Хайден-Хомпеша связывали с Гессеном и родственные отношения. Его родичами по жене были две выдающиеся гессенские династии: фон Вайтольсхайзен по прозвищу Шраутенбах и Ридезельцу Айзенбах⁷⁰.

Как Розенштраух воспринял Французскую революцию при своем первом столкновении с ней в 1792–1793 годах, мы не знаем, но Хайден-Хомпеш и немецкая родня графа однозначно оказывали на него антиреспубликанское и антифранцузское влияние. Сам

⁶⁶ О графе Хайден-Хомпеше см.: *Hulshoff A.L., E.D. Eijken. Enige wetenswaardigheden over de graven van Heiden Hompesch-Ootmarsum voor en na de omwenteling van 1795 // Overijsselse historische bijdragen: verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.* 1991. Bd. 106. S. 107–113.

⁶⁷ *Allgemeines Post- und Reisebuch von Deutschland und einigen angrenzenden Ländern.* Frankfurt am Main, 1796. S. 43, 44, 48.

⁶⁸ *Bähr, Jürgen, Christoph Jentsch, und Wolfgang Kuls. Bevölkerungsgeographie.* Berlin; New York, 1992. S. 699.

⁶⁹ *Steveling, Lieselotte. Juristen in Münster: Ein Beitrag zur Geschichte der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster/Westf.* Münster, 1999. S. 25; *Evers, Meindert. Begegnungen mit der deutschen Kultur: Niederländisch-deutsche Beziehungen zwischen 1780 und 1920.* Würzburg, 2006. S. 59–60.

⁷⁰ *Biedermann, Johann Gottfried. Geschlechtsregister der Reichsfrey unmittelbaren Ritterschaft Landes zu Franken Löblichen Orts Rhön und Werra.* Bayreuth, 1749. Tabula cxxxix; *Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.* Deel 10. Ed. P.C. Molhuysen and P.J. Blok. Leiden, 1937. P. 351–352; *Repertorien des Hessischen Staatsarchivs Darmstadt, Bestand F 27 G: Herrschaft Riedesel zu Eisenbach-Burgprivatarchiv.* Darmstadt. September 2006. S. 19, 22.

Хайден-Хомпеш был убежденным оранжистом. Муж его сестры Иоганн Конрад Ридезель был полковником брауншвейгского контингента, с 1788 года дислоцированного на территории Голландской республики сначала для защиты статхайдера, а затем для обороны от французов. Брат Иоганна Конрада, генерал Фридрих Адольф Ридезель боролся с республиканством на двух континентах: ранее он стоял во главе брауншвейгских войск, сражавшихся на британской стороне в Американской войне за независимость, теперь же был доверенным помощником герцога Брауншвейгского, командира союзной прусско-австрийской армии, воевавшей с французами в 1792–1794 годах⁷¹.

Родня графа могла оказать содействие вхождению Розенштрауха в масонские круги. В 1776 году тестя графа Хайден-Хомпеша по имени Людвиг Бальтазар фон Вайтольсхайзен по прозвищу Шраутенбах вступил в кампенскую масонскую ложу Св. Иоанна Иерусалимского⁷² — ту самую, в которую, по его собственным словам, позже вступил и Розенштраух. Нет никаких доказательств тому, что Розенштраух был масоном и ранее. Похоже, он не входил ни в одну из кассельских лож⁷³, а состоял ли он в масонской организации в Мюнстере, мы не знаем⁷⁴. По возвращении в Германию он, судя по всему, не принадлежал ни к одной ложе до самого 1801 года, хотя, вероятно, только потому, что не предоставлялось возможности: когда около 1794 года он вернулся в Кассель, масонство там было под запретом, потому что правительство связывало его с Французской революцией⁷⁵.

⁷¹ Eelking. Leben und Wirken. Bd. 3. S. 11, 28–30.

⁷² Drents Archief. № 0185, *De Milly van Heiden Reinestein* (1641) 1741–1949, waarin opgenomen het familiearchief Van Heiden Reinestein (1552) 1589–1886, no. 1182, «Akte waarbij aan L.B. von Weitolshausen genaant Schrautenbach de graad van ‘apprentif et compagnon’ in de vrijmetselaarsloge van St. Johannes van Jeruzalem te Kampen wordt verleend». <<http://www.drentsarchief.nl/zoeken/archiefstukken/woorden-of-zin?mivast=34&mizig=210&miadt=34&miaet=1&micode=0185&minr=1002501&miview=inv2>>

⁷³ Имя Розенштрауха не встречается в списках членов ни одной из кассельских лож. Этой информацией я обязан доктору Ортруд Вёрнер-Хайль (Dr. Ortrud Wörner-Heil).

⁷⁴ В Мюнстере была только одна ложа; Bröcker, Carl. Die Freimaurer-Logen Deutschlands von 1737 bis einschliesslich 1893. Berlin, 1894. S. 147. Списки членов ложи за 1790–1802 годы не сохранились: Förster, Th. Geschichte der Loge “Zu den drei Balken” in Münster i. W. mit kulturgeschichtlichen Zeitbildern der deutschen Freimaurerei von 1778 bis 1902. Berlin, 1902. S. 190.

⁷⁵ Wörner-Heil, Ortrud. «Extreme Familiarität und Gleichheit»: Freimaurerlogen in Kassel von 1766 bis 1794 // Kassel im 18. Jahrhundert: Residenz und Stadt.

Связь Розенштрауха с графом Хайден-Хомпешем проливает некоторый свет и на религиозное развитие нашего героя. Позднее он вспоминал конец 1780-х годов как время своего духовного пробуждения: в мемуарах о 1812 году (с. 224) он пишет: «Уже за 25 лет перед тем я столько почерпнул из необыкновенного пути страданий моей жизни, что все происходившее со мной в жизни считал не случаем, а мудрым промыслом милосердия Божьего». Как мы знаем, в 1788 году он женился в католической церкви на женщине, ранее принадлежавшей либо к лютеранской, либо к реформатской ветви протестантизма. В том же самом году, согласно мемуарам о 1812 году, Розенштраух начал вести дневник (с. 246). Это было весьма типичной пietистской практикой: дневниковые записи помогали пietисту следить за собственным духовным развитием. Pietистские общины были весьма распространены в Гессене и близлежащем Вюртемберге, а одна из них, под названием Моравская братия, или Гернгутеры, была тесно связана с семьей супруги графа Хайден-Хомпеша⁷⁶. Когда в 1792 году родился сын Розенштрауха, его крестили в католичество, но крестным отцом мальчика стал реформат граф Хайден-Хомпеш. Позже в Касселе в 1794 году дочь Розенштрауха Каролину крестили в реформатской церкви⁷⁷. Всего этого явно недостаточно для сколь-нибудь полного анализа религиозных воззрений Розенштрауха, но вполне хватает, чтобы предположить, что духовные поиски нашего героя выходили за пределы узоконфессиональной ортодоксии.

Биография Розенштрауха между 1788 и 1792 годами — головоломка, в которой недостает множества деталей, но общий контур тем не менее вполне прослеживается. За этот срок он стал актером, масоном, мужем и отцом. Он пребывал в постоянном духовном

Hrsg. Heide Wunder, Christina Vanja, und Karl-Hermann Wegner. Kassel, 2000. S. 252.

⁷⁶ Один из ее родственников, Карл Эрнст фон Вайтольсхайзен по прозвищу Шраутенбах (Carl Ernst von Weitolshausen genannt Schrautenbach) (1691–1750), был другом основателя Моравской братии графа Цинцендорфа, а его сына Людвига Карла (1724–1783), вместе с сыном Цинцендорфа, воспитывал член Моравской братии. Людвиг Карл позже женился на племяннице жены Цинцендорфа и написал биографию последнего: *Schrautenbach, Ludwig Carl Freiherr von. Der Graf von Zinzendorf und die Brüdergemeinde seiner Zeit.* Hrsg. F. W. Kölbing. Gnadau; Leipzig, 1851. S. iv–vi.

⁷⁷ *Kasselsche Polizei- und Kommerzienzeitung* отмечает, что с августа 1794 года он был актером на службе при кассельском дворе и что его дочь была крещена в реформатской церкви. Благодарю за эту информацию Франка-Роланда Клаубе (Frank-Roland Klaube) из Кассельского городского архива.

поиске и склонялся к экуменизму и пietизму. Он умел ладить со знатью, пожил за границей и на собственной шкуре испытал воздействие Французской революции. Именно в этот период он стал тем Розенштраухом, с которым мы встретимся позже на страницах его сочинений.

Актер и отец семейства (1794–1804)

Вспоминая о вхождении наполеоновских войск в Москву, Розенштраух пишет в своих мемуарах, что узнал «дробь французских барабанов, звук которых был знаком <...> мне по Рейну» (с. 231)⁷⁸. Отступая от Москвы, французы попытались разрушить Кремль; комментируя сотрясавшие столицу оглушительные взрывы, Розенштраух вспоминает, что «...что-то подобное, хотя и значительно меньших масштабов, я уже слышал в Майнце, когда в 1795 г. тамошняя военная лаборатория взлетела на воздух» (с. 272). Как в и своих записях о Голландии, Розенштраух упоминает здесь о своем пребывании в эпицентре драматических исторических событий, но не дает никакого контекста, в который эти его воспоминания можно было бы поместить. Что же он делал на Рейне в 1795 году?

Подобно Нидерландам, Рейнская область, где расположен Майнц, была политическим, военным и идеологическим яблоком раздора между революционной Францией, местными республиканцами и консервативными германскими монархами. Французские войска заняли Майнц — столицу одноименного княжества-епископства — 21 октября 1792 года, когда Розенштраух все еще пребывал в Голландской республике. В марте 1793 года при поддержке французской армии местный клуб якобинцев провозгласил в Майнце и окрестностях Рейнско-Немецкую республику. Новая республика продержалась недолго. С середины апреля 1793 года австрийские, прусские и другие германские войска окружили ее кольцом блокады, и 23 июля Майнц сдался. Менее чем через 16 месяцев вернулись французы и безуспешно осаждали Майнц с 8 ноября 1794 года по 29 октября 1795-го⁷⁹. Одним из памятных происшествий, случившихся за время осады, был

⁷⁸ Здесь и далее курсив в оригинале.

⁷⁹ Lautzas, Peter. Die Festung Mainz im Zeitalter des Ancien Régime, der Französischen Revolution und des Empire: Ein Beitrag zur Militärstruktur des Mittelrhein-Gebietes. Wiesbaden, 1973. S. 93–94.

подрыв французского арсенала в конце июня 1795 года⁸⁰; похоже, Розенштраух слышал отголоски именно этого взрыва.

В отличие от голландского вояжа причины, приведшие Розенштрауха в Майнц, хорошо известны. Начиная самое позднее с августа 1794 года он служил в театральной труппе, основанной в 1793 году Теодором Хасслохом — актером, ранее подвизавшимся в амстердамском Немецком театре⁸¹. С конца 1794 года и по начало 1797-го труппа проводила осень и зиму в Касселе, а весенне-летний сезон, включая время французской осады, в Майнце⁸². Можно только догадываться о впечатлении, произведенном на Розенштрауха осадой и ее более широким политическим и идеологическим контекстом. Так же как в Нидерландах и затем в Москве, Розенштраух был сторонним очевидцем конфликта, связанным только с консервативной, антифранцузской партией.

Похоже, что за годы службы в труппе Хасслоха Розенштраух достиг некоторого успеха и стабильности. Его имя с достаточной регулярностью появлялось в театральных журналах, тем самым подтверждая рост его профессиональной репутации. Еще большего престижа и финансового благополучия труппа Хасслоха добилась после 1797 года, когда она стала придворным театром ландграфа Кассельского⁸³. Несмотря на то что часть года Розенштраух проводил на гастролях, Кассель был ему домом на протяжении как минимум шести лет (1794–1800). Возможно, тамошнее общество хорошо его принимало благодаря теще и зятьям — уважаемым местным гражданам; также возможно и то, что ему помогали связи с родней графа Хайденхомпеша, Ридезелями и Шраутенбахами, занимавшими высокое положение в гессенско-кассельском обществе.

Легким финансовое положение Розенштрауха было вряд ли. Конракты труппы с 1796 по 1800 год предусматривали еженедельную оплату актерского труда в размере от 2 до 15,5 райхсталера; получка Розенштрауха стабильно пребывала на нижней границе нормы.

⁸⁰ Rieck, Gustav. Der böhmische Veteran: Franz Bersling's Leben, Reisen und Kriegsfahrten in allen fünf Welttheilen, nach mündlichen und schriftlichen Mittheilungen bearbeitet. Schweidnitz, 1840. S. 41.

⁸¹ Документы от 1793 года отмечают пребывание Хасслоха как в Амстердаме, так и в Касселе: Geelen van. Deutsches Bühnenleben zu Amsterdam. S. 58; Verzeichniß der jetzt in Hessen-Cassel spielenden Haßlochschénen Schauspielergesellschaft. S. 185. См. также: Hoftheater in Cassel // Journal für Theater und andere schöne Künste. 1797. Heft 1. S. 121.

⁸² Hoftheater in Cassel. S. 121; Peth, Jakob. Geschichte des Theaters und der Musik zu Mainz: Ein Beitrag zur deutschen Theatergeschichte. Mainz, 1879. S. 114–115.

⁸³ Devrient. Geschichte der deutschen Schauspielkunst. Bd. 3. S. 108.

По контракту от марта 1796 года шестнадцать актеров и актрис зарабатывали в среднем по 10 райхсталеров; Розенштраух, игравший роли второго плана, получал только 6 райхсталеров⁸⁴. В черновике договора от марта 1798 года — единственного, включавшего жену Розенштрауха, — Хасслох предлагал им обоим 10 райхсталеров в общей сложности; три другие семейные пары, входившие в труппу наряду с актерами-одиночками, должны были получать по 8, 14 и 25 райхсталеров⁸⁵. Черновик договора от 1799 года давал Розенштрауху более важные роли, такие как «благородного старика», но все равно за плату всего лишь в 10 райхсталеров, тогда как другие актеры-одиночки получали в среднем по 14⁸⁶. Таким образом, по сравнению с сотоварящими по труппе Розенштраух получал немного, хотя и больше того, что зарабатывал подсобный театральный персонал: по договору от 1800 года хористы, билетеры, гардеробщики и прочие получали от 1 до 5 райхсталеров в неделю⁸⁷. Таким образом, годовая зарплата Розенштрауха в этот период колебалась от 312 до 520 райхсталеров. Для сравнения: зарплата чиновника, заведовавшего администрацией мелкого городка в Гессен-Касселе и по местным провинциальным меркам считавшегося зажиточным человеком, составляла от 600 до 1200 райхсталеров в год⁸⁸. Тем не менее мы слишком много не знаем о реальном финансовом положении Розенштрауха, както: сколько недель в году он на самом деле отрабатывал, были ли у него другие источники дохода, а также помогала ли ему семья его жены.

Время стабильности длилось недолго. В 1800 году Хасслох переехал из Касселя в Гамбург⁸⁹, и его компания испытывала все большие сложности с оплатой актерского труда⁹⁰. Отчаявшись, некоторые члены труппы стали искать себе другую работу. В сентябре 1800 года один из них, Карл Людвиг Крикеберг, выиграл концессию на управление придворным театром герцога Мекленбург-Шверинского и нанял к себе в труппу Розенштрауха, которому надлежало играть роли «второ-

⁸⁴ HStA Marburg, Bestand 5, Nr. 12280, Blatt 111r–111v.

⁸⁵ Ibid, Blatt 142r.

⁸⁶ Ibid, Nr. 12765 («Den mit der Schauspiel-Unternehmerin Grossmann geschlossenen Vertrag betr. 1799»), Blatt 8r–8v.

⁸⁷ Ibid, Nr. 12765, Blatt 60r.

⁸⁸ Brakensiek, Stefan. Fürstendiener–Staatsbeamte–Bürger: Amtsführung und Lewbenswelt der Ortsbeamten in niederhessischen Kleinstädten (1750–1830). Göttingen, 1999. S. 164, 166.

⁸⁹ Theater // Journal des Luxus und der Moden. April 1800. S. 185–186.

⁹⁰ HStA Marburg, Bestand 5, Nr. 12765, Blatt 35r–37r.

го старика и интригана»⁹¹. Начиная с января 1801 года компания Крикеберга зимовала в герцогской столице Шверине, летом работала на престижном балтийском курорте Бад-Доберане, а остаток года проводила в близлежащих Ростоке и Гюстрове, а также в Штральзунде в соседней Шведской Померании⁹².

Вступление в труппу Крикеберга обещало Розенштрауху карьерный рост, но похоже, что кризис в личной жизни также способствовал отъезду нашего героя из Касселя. Скромный доход не позволял ему достойно содержать растущее семейство, и между Розенштраухом и его супругой начались разногласия. У них было как минимум четверо детей: первенец, о котором ничего не известно⁹³, второй сын, Карл Вильгельм, родившийся в Голландии в 1792 году, и две дочери — Елизавета Каролина, рожденная в 1794 году, и Вильгельмина, рожденная примерно в 1796 году. В марте 1798 года в договоре с Хасслохом Розенштраух и его супруга все еще фигурировали в качестве семейной пары, но после этого семья распалась. В ноябре 1800 года, как раз когда Розенштраух собирался присоединиться к труппе Крикеберга в Шверине на Балтийском побережье, имя его супруги появилось на театральной афише другой труппы, дававшей представления почти в 400 км от Шверина в Эссене на Рейне⁹⁴. К тому времени, как с Розенштраухом познакомился Неттельбладт, то есть к 1801–1804 годам, Иоганн-Амвросий и его жена были, по словам Неттельбладта, разведены. Мы ничего не знаем об обстоятельствах развода, но, поскольку Розенштраух взял детей с собой, очевидно, что дело было не в том, что он бросил семью⁹⁵.

Заключение

Читатели воспоминаний Розенштрауха о 1812 году, возможно, удивятся тому, что, несмотря на все трудности актерской жизни, он тем не менее не разделял идеалов французских революционеров. По

⁹¹ Landesarchiv Schwerin, 2.26-1 Großherzogliches Kabinett 1 10246 («Kunst und Kunstgewerbe: Schauspieler und Schauspieldirektoren», раздел под названием «Acta, das Engagement der Krickebergschen Schauspieler-Gesellschaft betr.»).

⁹² Bärensprung, H.W. Versuch einer Geschichte des Theaters in Meklenburg-Schwerin. Schwerin, 1837. S. 183–202.

⁹³ См. ниже, с. 57.

⁹⁴ Döring, Theo. Die Geschichte des Essener Theaters von den Anfängen bis 1892 // Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen, herausgegeben von dem Historischen Verein für Stadt und Stift Essen. 1931. Heft 49. S. 233–341, здесь: 325–326.

⁹⁵ [Nettelbladt.] Johann Ambrosius Rosenstauch. S. 198.

словам историка Роберта Дарнтона, во Франции именно образованные люди, разочаровавшиеся в мечтах об актерской славе, были отчасти виноваты в радикализме Революции. Французская культура при Старом режиме была уделом небольшой группки театров, академий и прочего, что обеспечивало немногим избранным покровительство знати и приличный доход, в то же время перекрывая всем прочим доступ к привилегированной элите и обрекая их на нищету и деградацию:

Поэтому они проклинали закрытый мир культуры. Они выживали, выполняя в обществе грязную работу: шпионя для полиции и продавая порнографию; и наполняли свои сочинения обвинениями против общества, их унизившего и испортившего. <...> Эти люди стали революционерами именно в глубинах интеллектуального подполья, и там же родилась якобинская решимость стереть с лица земли интеллектуальную аристократию⁹⁶.

Розенштраух тоже испытывал горькие чувства по отношению к состоятельной части общества, однако он не скатился в пропасть самого себя ненавидящего «интеллектуального подполья». В графе Хайден-Хомпеше он нашел себе знатного покровителя, а как актер придворных театров в Касселе и Шверине он принадлежал к привилегированным монархическим институтам. Он был открыт религии, а франкмасонство обеспечило ему доступ в уважаемые круги общества. Бедность и маргинальность были уделом всех актеров; рано или поздно они отвратили Розенштрауха от театра как профессии, но не от Старого режима как такового.

⁹⁶ Darnton, Robert. *The Literary Underground of the Old Regime*. Cambridge, MA, and London, 1982. P. 20–21.

ГЛАВА 2

Новая жизнь в России: Санкт-Петербург и Москва, 1804–1812

В начале 1804 года Жозеф Мирэ, антрепренер санкт-петербургского Немецкого театра, отправился в Германию за новыми актерами и музыкантами для своей труппы. Среди тех, с кем он вел переговоры, были члены компании Крикеберга, в том числе Розенштраух. Очевидно, условия, предложенные Мирэ, были лучше крикеберговских, поскольку Розенштраух и его коллега по труппе Реке приняли приглашение в Россию. К ним присоединился еще один актер, Кристлиб Георг Хайнрих Арресто, в течение нескольких месяцев в 1801 году также входивший в труппу Крикеберга, а затем уехавший в Гамбург. В сентябре или октябре 1804 года Розенштраух прибыл в Санкт-Петербург⁹⁷.

Столица России не была для немецких актеров экзотическим местом. Они регулярно выезжали туда на гастроли, а с сентября 1800 года по апрель 1801-го директором Немецкого театра был один из ведущих немецких драматургов, Август фон Коцебу⁹⁸. Поэтому поездка в Санкт-Петербург, конечно, требовала от Розенштрауха некоей толики авантюризма, но никак не равнялась необратимому решению на всегда оставить родину.

⁹⁷ Губкина, Н.В. Немецкий музыкальный театр в Петербурге в первой трети XIX века. СПб., 2003. С. 42–43; *Bärensprung. Versuch einer Geschichte*. S. 185, 201–202; GStA FM 5.2. S82 Nr. 69 («□ [=Loge] Quatuor Elementa. 1803. Betr. die Protokoll-Auszüge über die Logen-Arbeiten und die [нрзб.] Uebersicht über die Thätigkeit der Loge», запись от 30 августа 1804 г.).

⁹⁸ Губкина. Немецкий музыкальный театр. С. 29, 36.

Немцы в Санкт-Петербурге

Так же, как и Голландская республика, Санкт-Петербург был тесно связан с Германией. Взаимный обмен между двумя странами был выгоден им обеим. В России социальная система империи строилась на том принципе, что каждое сословие и этническая группа выполняла в обществе свое, отличное от других назначение. Роль немцев в этой системе отражала их образование, профессиональные и коммерческие навыки и способность помочь России наладить связи с западной торговлей, культурой и правительствами. В Санкт-Петербурге выходцы из Германии и из остзейских губерний распределялись на три социальных слоя. Самый нижний слой состоял из ремесленников и торговцев, многие из которых прочно осели в России и постепенно обрусели. Верхний слой составляли немцы аристократического происхождения или царских кровей — элита, состоявшая на придворной и государственной службе. Между ними находились купцы, врачи, учителя, учёные и прочие категории буржуазии, в том числе актеры; во многих случаях представители этой прослойки приезжали в Россию лишь на время, а затем возвращались обратно на родину.

Переезд в Россию открывал немцам возможности, на родине просто не существовавшие. В России не хватало образованных кадров, и эту потребность успешно удовлетворяли немцы. Кроме того, поскольку российские элиты стремились сделать свою страну похожей на Европу, европейцам оказывалось почтение и предоставлялись привилегии: немецких крестьян-колонистов освобождали от рекрутской повинности и подушной подати, иностранные магазины считались престижными, а выходцам из-за границы не составляло труда получить место учителя или гувернантки в знатных домах. Наконец, сам масштаб страны наделял иностранцев в России анонимностью, достаточной для того, чтобы начать новую жизнь и создать себе новую персону. Розенштраух проехал почти всю Германию и Голландию из конца в конец, но наибольшее расстояние, какое ему довелось покрыть на родине, от Бреслау до Зальцбоммеля, было всего 850 км. В России же он переехал из Санкт-Петербурга в Одессу, отстоящую на целых 1500 км.

Санкт-Петербург, должно быть, производил на вновь прибывших ошеломляющее впечатление. По сравнению со знакомыми Розенштрауху городами население российской столицы было более многонациональным, двор и знать были богаче, а культурный и социальный разрыв между аристократией и народом более заметен. Этот город с населением в 285 500 человек (согласно полицайской статистике) был

крупнее любого населенного пункта Германии. По количеству живущих в нем немцев Санкт-Петербург также превосходил все города, в которых Розенштрауху когда-либо довелось пожить, за исключением Бреслау: в российской столице проживало 23 612 немцев (очевидно, не считая немцев из Прибалтики), тогда как все население Касселя составляло 17 625 человек, а Шверина 11 727⁹⁹.

Актёр в Санкт-Петербурге (1804–1809)

В XVIII веке немецкие труппы бывали в Санкт-Петербурге наездами, но только Мирэ основал в 1799 году постоянный театр. Располагался он на Дворцовой площади напротив Зимнего дворца¹⁰⁰. Согласно Наталье Губкиной, ведущему эксперту по данному вопросу, Мирэ был «отъявленным авантюристом», нанимавшим ведущих актеров, ставившим роскошные спектакли, а когда деньги кончались, искавшим финансовой поддержки при дворе. Из-за долгов, бесхозяйственности и собственной страсти к наживе Мирэ не в состоянии был платить своим актерам сколь-нибудь регулярно, поэтому персонал труппы непрерывно сменялся¹⁰¹. К 1803 году на Мирэ висел долг уже в 80 000 рублей. Надеясь завоевать расположение юного Александра I, Мирэ обнародовал щедрый план по обеспечению своих актеров пенсиями. Царь согласился покрыть долги антрепренера, и Мирэ отправился в поездку по Европе, в ходе которой он и нанял Розенштрауха. (Вполне вероятно, что пенсионный план — так никогда и не воплощенный в жизнь — был одним из факторов, повлиявших на согласие Розенштрауха и прочих на переезд в Россию¹⁰².) Во избежание банкротства театр Мирэ неоднократно переходил в ведомство Дирекции императорских театров: временно в 1800–1801 и 1805 годах и постоянно с 1806 года¹⁰³.

⁹⁹ Эта статистика отражает состояние в Касселе в 1795 году, в Шверине в 1801 году и в Санкт-Петербурге в 1817 году: Gräf, Holger T. Small Towns in Early Modern Germany: The Case of Hesse // Small Towns in Early Modern Europe Ed. Peter Clark. Cambridge; Paris, 1995. P. 190, n.25; Wehnert, J.C.M. Mecklenburgische Gemeinnützige Blätter. Parchim; Neustrelitz, 1802. Bd. 3. Heft 1–2; Bd. 5. Heft 1–2, таблица рядом со с. 52; Attenhofer, Heinrich Ludwig von. Medizinische Topographie der Haupt- und Residenzstadt St. Petersburg. Zurich, 1817. S. 85–86.

¹⁰⁰ Губкина. Немецкий музыкальный театр. С. 221.

¹⁰¹ Там же. С. 24, 28–29, 40.

¹⁰² Там же. С. 41.

¹⁰³ Там же. С. 17.

Розенштраух не был главной звездой театра, но актером он был хорошим и получал положительные отзывы. Издатель и театральный критик Фридрих Енок Шрёдер (1764–1824) — один из заправил ограниченного мирка санкт-петербургской немецкоязычной журналистики — благосклонно отзывался о работе Розенштрауха¹⁰⁴. Еще одна положительная рецензия вышла в 1810 году в Веймаре, в одном из ведущих немецких журналов. Рецензентом был Карл Музеус (1772–1831), живший в Санкт-Петербурге с 1805 года¹⁰⁵. 9 октября 1809 года, писал он, Розенштраух дал бенефисный спектакль, то есть представление, доходы от которого целиком или частично поступали непосредственно в его пользу. Бенефисы, особенно во время прибыльного зимнего сезона, с 1 сентября по Великий пост, были привилегией ведущих актеров труппы¹⁰⁶. Если верить Музеусу, «помещение было полно <...> Пьеса пришла по вкусу. — После представления господина Розенштрауха вызывали на сцену». Журналист добавлял, однако, «доходят слухи, что господин Розенштраух покидает театр. Его потеря будет чувствительной для публики, поэтому дирекции будет не столь легко удовлетворить его пожелание, она постарается сделать все, чтобы этого достойного публики человека и хорошего актера сохранить для себя и для нее»¹⁰⁷.

Розенштраух действительно оставил театр в 1809 году. Он и раньше переходил из труппы в труппу и вполне мог сделать то же еще раз, стоило лишь вернуться в Германию. Вместо этого он окончательно оставил актерскую профессию, принял российское подданство и занялся торговлей — судя по всему, импортом европейских предметов роскоши. Этим он зарабатывал себе на жизнь на протяжении всего последующего десятилетия.

Выданный Розенштрауху документ о принятии в подданство датирован тем же числом и находится в том же архивном деле, что и аналогичный документ на имя Кристофа Андреаса (Андрея Григорьевича) Ремплера, выходца из Саксонии, в 1790 году перебравшегося в Санкт-Петербург и открывшего там успешную торговлю ювелирными

¹⁰⁴ Schröder. Deutsches Theater // St. Petersburgische Monatschrift. September 1805. Bd. 3. S. 54–63, здесь: 58–59, 62; Oktober 1805. Bd. 3. S. 127–138, здесь: 131–142, 134; November–Dezember 1805. Bd. 3. S. 233–246, здесь: 237.

¹⁰⁵ О Музеусе см. «Museus, Karl». <<http://www.slavistik.uni-potsdam.de/petersburg/museaeus.html>>, последнее посещение 09.06.2013.

¹⁰⁶ Губкина. Немецкий музыкальный театр. С. 53, 57.

¹⁰⁷ Musäus. Miscellen aus St. Petersburg // Journal des Luxus und der Moden. Januar 1810. S. 53–57, здесь: 57.

изделиями. Возможно, Ремплер как член той же масонской ложи, что и Розенштраух, помог нашему герою развернуть галантейное дело. Как бы там ни было, семьи Розенштраух и Ремплер процветали и поддерживали общение. По сообщениям источников, в 1824 году сын Розенштрауха Вильгельм поставлял к императорскому двору большие количества ювелирных украшений¹⁰⁸; годом ранее, в 1823 году, Ремплер получил звание оценщика Кабинета Его Величества (фактически придворного ювелира) — должность, сохранявшуюся за его потомками вплоть до революции. Наследником Ремплера был его зять, уроженец Швеции Карл Эдуард Болин; в 1852 году брат Карла Эдуарда Хендрик (по-русски Андрей) открыл филиал семейного дела в Москве и женился на внучке Розенштрауха Наталье, таким образом объединив два богатейших иностранных купеческих рода в Москве¹⁰⁹.

Мечты ли о подобном благополучии сподвигли Розенштрауха в 1809 году попытать судьбу и затеять торговлю предметами роскоши? Кто знает. Понятно, впрочем, что театр постепенно утрачивал для него свою былую привлекательность.

Одной из причин этому была, по всей вероятности, нужда. В 1800 году актеры труппы Мирэ получали от 400 до 1500 рублей в год¹¹⁰. В течение следующего десятилетия оклады возросли, и Дирекция императорских театров пыталась заманить ушедшего было Розенштрауха обратно обещанием жалованья в 2000 рублей. Хотя эта ставка и была типичной суммой, такую предлагала актерам Дирекция императорских театров¹¹¹, она тем не менее была довольно высока по общерусским меркам. Для сравнения: вице-адмирал (чин третьего класса в Табели о рангах) получал 2160 рублей, контр-адмирал (четвертый класс) 1800 рублей, а лейтенант (десятый класс) 300 рублей¹¹². Однако военные и чиновники часто получали доплаты косвенно, за счет государственного жилья, питания и прочего, тогда как Розенштраух, вероятно, был вынужден существовать исключительно на официальную зарплату.

¹⁰⁸ См. ниже, с. 140.

¹⁰⁹ Скуров, В.В. Придворные ювелиры Болины // Фаберже и петербургские ювелиры: Сборник мемуаров, статей, архивных документов по истории русского ювелирного искусства / Ред. Т.Ф. Фаберже, А.С. Горыня, В.В. Скуров. СПб., 1997. С. 312–327; РГИА. Ф. 13, Оп. 1. Д. 680, л. 7–12об., 27–28; Серков, А.И. Русское масонство 1731–2000: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 1077.

¹¹⁰ Keller, Andreas. Das Deutsche Theater und die Entwicklung der deutschen Gesellschaft in St. Petersburg im 18. und 19. Jahrhundert: Magisterarbeit. Б.м., 2001. С. 49.

¹¹¹ РГИА. Ф. 497. Оп. 1. Д. 550 («Об артистах немецкой труппы»). Л. 11.

¹¹² Storch, Heinrich. Russland unter Alexander dem Ersten: Eine historische Zeitschrift. 1805. Bd. 7. S. 29.

Расходы, которые приходилось покрывать из его жалованья, должны были быть велики. Как мы увидим, он жил на Невском проспекте — в одном из самых фешенебельных районов города. Можно предположить, что за неимением жены, которая бы вела его хозяйство, он вынужден был держать прислугу. Ему также приходилось заботиться о четырех детях: старшем сыне, чьи имя и возраст нам неизвестны, Вильгельме, которому в 1804 году исполнилось 12, Елизавете, 10 лет от роду, и Вильгельмине (Мине) — восьми. В отличие от многих актерских отпрысков эти дети на сцену с отцом не выходили¹¹³ и, таким образом, не помогали увеличить скромный семейный доход. Неттельбладт, мекленбургский собрат Розенштрауха по масонству, пишет, что, когда тот переехал в Россию, «его дети, <...> в воспитание которых он много вкладывал, сначала остались в Ростоке, но позже последовали за ним»¹¹⁴. Очевидно, дети получили хорошее образование и в России; по крайней мере Вильгельм, судя по его сохранившимся письмам, свободно владел немецким, русским и французским языками, а в 1810 году провел семестр в Дерптском университете за изучением фармацевтики¹¹⁵.

Жить на 2000 рублей, предлагаемые Дирекцией императорских театров, было тяжко. Об этом говорят и санкт-петербургские немцы, пытающиеся объяснить читателям в Германии, во сколько обходится буржуазный стиль жизни в российской столице. Андрей Карлович Шторх писал в 1794 году, что «в целом средний слой в Санкт-Петербурге живет с большими издержками, комфортом и пышностью, чем в большинстве крупных городов Европы»¹¹⁶. Шторх прикидывал, что семья из пяти человек (подобная семье Розенштрауха) может жить скромно, но комфортабельно, владеть каретой и держать пятерых слуг на сумму 2950 рублей в год¹¹⁷. Но под давлением инфляции цены постепенно росли, и уже в 1805 году, по подсчетам Генриха фон Реймерса, уровень жизни, описанный Шторхом, обошелся бы более чем вдвое дороже предусмотренного Шторхом бюджета, то есть приблизительно в 6000 рублей¹¹⁸. К 1810 году — времени, когда Розенштрауху предлагали

¹¹³ Fechner, A. W. Chronik der Evangelischen Gemeinden in Moskau. Moskau, 1876. Bd. 2. S. 117.

¹¹⁴ [Nettelbladt.] Johann Ambrosius Rosenstrauch. S. 198.

¹¹⁵ Hasselblatt, A., and G. Otto, eds. Album academicum der kaiserlichen Universität Dorpat. München, 1889. S. 35.

¹¹⁶ Storch, Heinrich. Gemaehlde von St. Petersburg. Riga. Б.д. [1794]. Bd. 2. S. 389.

¹¹⁷ Storch. Gemaehlde von St. Petersburg. Bd. 2. S. 408.

¹¹⁸ Reimers, Heinrich von. St. Petersburg am Ende seines ersten Jahrhunderts. Mit Rückblicken auf Entstehung und Wachstum dieser Residenz unter den verschiedenen Regierungen während dieses Zeitraums. St. Petersburg, 1805. Bd. 2. S. 320.

зарплату в 2000 рублей, — инфляция еще больше возросла. Представление о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться немецким актерам, дает Наталья Губкина:

Несмотря на достаточно высокое жалованье (по сравнению с окладами чиновников), актерские семьи <...> вели более чем скромный образ жизни. Значительные средства уходили на театральный гардероб, на обустройство жилья на новом месте (в чужой стране), на обучение детей русскому языку и т. д. <...> Практически все актеры входили в хронические, затяжные долги к своим кредиторам, в долги за наем квартиры <...>. Местом, которое часто посещали актеры немецкой труппы, был ломбард. Тут закладывалось все, что могло принести доход <...> причем без всякой надежды на последующий выкуп¹¹⁹.

Бедность ставила актеров в унизительную зависимость от Дирекции императорских театров. Поскольку им частенько приходилось просить у Дирекции вспомоществования, они не могли себе позволить возражать, когда им произвольно навязывали смену амплуа или участие в неоплачиваемых выступлениях или когда Дирекция каким бы то ни было иным образом злоупотребляла своей властью над артистами¹²⁰.

По прошествии лет Розенштраух скрывал свое актерское прошлое, но память о бедности, похоже, не оставляла его. Поскольку он избегал затрагивать эту тему в собственных сочинениях, приходится полагаться на воспоминания очевидцев, передававших свои разговоры с ним. Самый детальный отчет оставил Иоганн Филипп Симон, который познакомился с Розенштраухом во время визита в Харьков осенью 1831 года и еще несколько лет общался с ним после переезда в Харьков в 1832 году¹²¹. Симон знал, что Розенштраух родился в Бреслау и был актером в Германии и в Санкт-Петербурге, но больше никаких подробностей он не передает; поскольку в общей сложности Симон посвящает знакомству с Розенштраухом целых 19 страниц, скудость биографической информации, надо полагать, объясняется тем, что сам Розенштраух сообщил ему лишь эти голые факты. Однако Симон подробно цитирует рассказ Розенштрауха о пережитых им труд-

¹¹⁹ Губкина. Немецкий музыкальный театр. С. 94.

¹²⁰ Там же.

¹²¹ Simon. Russisches Leben. S. 307.

ностях. Поскольку в этой истории упоминаются дети актера, но не его супруга, рассказ, по всей вероятности, относится ко времени его службы в театре либо в Мекленбурге, либо в Санкт-Петербурге. По словам Симона, Розенштраух поведал ему следующее:

Однажды я оказался в очень затруднительном положении, не имея в самом буквальном смысле слова ни куска хлеба для себя и своей семьи. Все более-менее ценное, имевшееся у меня, было продано или заложено. Все так называемые друзья отвернулись от меня, они рассыпались направо и налево по улице, едва завидев меня издалека. Столь же бесспорно, как то, что Бог существует, единственной причиной этого было мое бедственное положение, ибо я все еще оставался порядочным человеком. Но я был беден, и этого преступления было довольно, чтобы избегать меня. Ни пекарь, ни мясник, ни лавочник не отпускали мне ни крошки товару. У моих бедных детей почти потемнели ногти от голода. По соседству со мной жил богатый пекарь, большой развратник, которого счастье осыпало и ежедневно продолжало осыпать из рога изобилия. Все, за что он ни брался, удавалось ему, хотя он презирал религию со всеми ее добродетелями. Карманы его жилета всегда были набиты дукатами, на людях он любил похлопать по ним и говорил, что это и есть истинная религия.

Не в силах долее сносить страдания своих детей, Розенштраух послал одного из них купить хлеба в долг, но пекарь высокомерно отказал в кредите. Тем же вечером пекарь устраивал у себя вечеринку:

Уважаемые люди не брезговали приходить на бал к этому не воспитанному грубяну-пекарю, который не мог ни читать, ни писать, ни держать себя как приличный гражданин, потому что там можно было хорошо поесть и выпить, да и его обе дочки на выданье были недурны. <...> Недолгое время спустя до нас донесся звон бокалов, громкая болтовня и шум, которые в этих кругах принято называть весельем. Я же сидел с моими бедными детьми и сетовал на нужду. Католикам незачем изображать чистилище с пламенем и прочим, я со своими детьми был в таком чистилище...

В отчаянии от подобной несправедливости Розенштраух взмолился Богу, и случилось чудо. На пороге появилась дочь пекаря. В руках у нее был окорок, от которого она хотела поскорее избавиться,

потому что случайно испортила его, посыпав сахаром вместо перца. Услышав слова Розенштрауха о том, что окорок слишком жирен для того, чтобы есть его сам по себе, она принесла ему и булочки. «Мы благодарили Бога за эти дары, и не разбирали, поперчен ли окорок или посахарен, ни того, что заставляет богатых подавать бедным — мы тут же собирались трапезничать». На вопрос Симона о том, что случилось с пекарем, Розенштраух печально ответил, что тот разорился и повесился, тем самым навечно обрекая свою душу на ужасные мучения¹²².

Установить, насколько точно Симон воспроизвел слова Розенштрауха, не представляется возможным, но стиль этого повествования вполне согласуется с рассказами самого Розенштрауха, особенно в его мемуарах о 1812 году. Актерский и проповеднический опыт автора очевиден в театральности и моралистичности его повествовательной техники. Он уделяет внимание зрительным и звуковым образам, воспроизводит беседы и монологи, талантливо перемежает в своих текстах интригу с юмором и медитативными размышлениями. Для его сочинений характерны живые описания авторских страхов и драматическая сюжетная линия, ведущая к морально удовлетворительной развязке. Мировоззрение автора зиждется на твердой вере в божественное вмешательство в людские судьбы и в то, что у развращенных заботами о тленном богачей меньше шансов умереть по-христиански и спастись в загробной жизни. Если Симон передал рассказ Розенштрауха дословно, то нельзя не впечатлиться остротой авторского чувства обиды и несправедливости, негодования на бездушие богачей, снобского презрения к вульгарности пекаря, общей враждебности к разгульному гедонизму и настояниями автора на том, что, невзирая на нищету, он был человеком, достойным почтения.

Судя по этим воспоминаниям, помимо бедности на уход из театра Розенштрауха сподвиг и другой фактор — недовольство своим низким социальным статусом. Немецкая диаспора относилась к актерам так же предвзято, как и немецкое общество в Германии; простые россияне не интересовались иноязычным театром, а российские элиты взирали на Немецкий театр с долей презрения. Мемуарист Филипп Филиппович Вигель пишет, что, «несмотря на общее недоброжелательство к Наполеоновой Франции, лучшая публика продолжала французский театр предпочитать всем прочим»¹²³. Напротив, «три

¹²² Simon. Russisches Leben. S. 306, 316–317, 319.

¹²³ Вигель, Ф.Ф. Записки. М., 2000. С. 246.

четверти петербургской публики из одних афишек только знали, что дают на немецком театре», и «никто не спешил ознакомиться с гениальными творениями Лессинга, Шиллера и Гете»¹²⁴.

Это неприятие Немецкого театра в какой-то степени коренилось в различиях художественного вкуса. Россияне, как писал аристократ Вигель, у французов научились почитать три аристотелева единства (действия, места и времени), которых Немецкий театр не соблюдал. Русские также выказывали шовинистическую вражду к немцам, усугубленную сословным снобизмом: «Французы, наши наставники, приучили нас видеть в немцах одно смешное, а мы насчет сих последних охотно разделяли мнение их, по врожденной, так сказать, инстинктивной к ним ненависти». Наполеоновские войны ослабили эту враждебность, но не искоренили ее до конца¹²⁵. Одним из последствий подобного отношения было то, что знать, включая «немцев лучшего тона», обходила Немецкий театр стороной. Со снисходительной ironией Вигель отмечал, что это давало немецкой буржуазии редкую возможность занять как в буквальном, так и в переносном смысле в Немецком театре места, обычно отводившиеся аристократии: «Пасторы, аптекари, профессоры и медики занимают в нем кресла; семейства их — ложи всех ярусов; булочники, портные, сапожники — партер; подмастерья их, вероятно, раек»¹²⁶.

Представление о том, что Немецкий театр был скомпрометирован комической, специфически немецкой буржуазной вульгарностью, разделяли и россияне незнатного происхождения. Говоря о событиях полувековой давности, русский артист Петр Карагыгин (1805–1879), чьи воспоминания несомненно подверглись влиянию общепринятых в его окружении предрассудков, отзывался о Немецком театре 1820-х годов таким образом:

Помню я, что зрительная зала этого театра была очень некрасива: закоптелая позолота, грязные драпри у лож, тусклая люстра, на сцене ветхие декорации и кулисы, в коридорах повсюду деревянные лестницы, в уборных была постоянная копоть от неисправных ламп, наполненных чуть ли не постным маслом. <...> Помню я, как в этих спектаклях, за неимением статистов и хористов, нанимали просто булочников и колбасников, которым платили обычную плату за вечер; и благородные рыцари, гранды или

¹²⁴ Вигель. Записки. С. 250.

¹²⁵ Там же. С. 251.

¹²⁶ Там же С. 335.

римские патриции, по окончании спектакля, сняв знаки своих достоинств, отправлялись месить тесто, или начинять блютвurstы. <...> Немецкая публика, в то патриархальное время, была очень простодушна: мне несколько раз случалось видеть в ложах, даже 1-го яруса, пожилых зрительниц в простых чепчиках, одетых по-домашнему, с чулком, или филейным вязаньем в руках¹²⁷.

Образованный немецкий средний класс, к которому так стремился принадлежать Розенштраух, интериоризировал некоторые из этих обвинений. Представители этой прослойки тоже скрепя сердце восхищались французской элегантностью и стыдились невоспитанности своих сограждан. Однако в качестве альтернативного идеала они избирали не внешнюю утонченность нравов — немецкое Просвещение связывало ее с Францией и аристократией и считало поверхностной с моральной точки зрения, — а внутреннее духовное самоусовершенствование.

Как подобные взгляды отражались на отношении образованных немцев к санкт-петербургскому немецкоязычному театру, хорошо видно на примере театрального критика Фридриха Еноха Шрёдера. Выходец из буржуазной семьи в Мекленбурге, он прошел курс обучения в немецком университете и стал библиотекарем императора Павла I в Гатчине. После смерти Павла, когда большая часть гатчинской библиотеки была перевезена в Мраморный дворец во владение вел. кн. Константина Павловича, Шрёдер переехал вместе с ней. Он был одновременно страстным патриотом Германии и лояльным сторонником «просвещенного» российского режима и его войны с Наполеоном. Классовая принадлежность Шрёдера, образование, связи со двором и политические убеждения делали его типичным представителем немецкой интеллигенции в столице России¹²⁸.

Подобно просветителям в родной Германии, Шрёдер желал бы, чтобы Немецкий театр в Санкт-Петербурге больше делал для повышения морально-нравственного уровня публики. В какой-то мере виновата в том, что этого не происходило, была сама публика: «Культура,

¹²⁷ Каратыгин, П.А. Воспоминания П.А. Каратыгина // Русская старина. 1875. Апрель. Т. 12. С. 719–738, здесь: 728–770. Филейное вязанье было распространенным занятием умелых и трудолюбивых немецких домохозяек среднего класса; см., например, описание матери писателя Густава Фрейтага: *Gesammelte Werke von Gustav Freytag*. Leipzig, 1896. Bd. 1. S. 32.

¹²⁸ О Шрёдере см.: Keuten, Alla. Patriotische Paradoxa: St. Petersburger deutschsprachige Periodika zwischen 1805 und 1815 // Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte. 2006. Bd. 8. S. 49–88, особенно 52.

образование и вкус жителей местности», писал он, измеряются реакцией местного населения на пьесы, бывшие «плодом великой и благородной фантазии, в которых есть тенденция к высшему нравственному совершенству». Поэтому его так разочаровывал тот факт, что зрители сбегались на легкое развлечение, но не выказывали интереса к серьезной драматургии, такой как Шиллер¹²⁹. Шрёдер возлагал вину и на актеров, потому что не все они были «одушевлены равным энтузиазмом по отношению к искусству» и преданы «его прекрасной и высокой цели, совершенству и нравственности»¹³⁰. Когда по ходу пьесы им не требовалось ничего произносить, они мешали игре своих коллег «болтая друг с другом, хохоча или даже общаясь со зрителями в боковых ложах». Им следовало равняться на своих французских собратьев по профессии, на совесть заучивавших свои роли (и поэтому не требовавших супфлера) и оказывавших друг другу поддержку на сцене¹³¹. Шрёдера раздражало и присутствие «такого количества провинциализмов — с неправильным произношением — и особенно частыми грамматическими ошибками» в речи «в осталльном вполне сносных представителей нашей сцены», что заставляло журналиста подозревать этих актеров в отсутствии приличного образования¹³². Одним из артистов, чьей речью он возмущался, был Розенштраух, очевидно говоривший с явственным силезским акцентом¹³³. (Шрёдер также дает нам, возможно, единственное сохранившееся описание внешности Розенштрауха: «...крепкая, уже не молодая, но пышная фигура»¹³⁴.)

¹²⁹ Schröder. Deutsches Theater // St. Petersburgische Monatschrift. November-Dezember 1805. Bd. 3. S. 233–246, здесь: 233–234.

¹³⁰ Ibid. Juli-August 1805. Bd. 2. S. 254–256, здесь: 256.

¹³¹ Ibid. November-Dezember 1805. Bd. 3. S. 233–246, здесь: 243–244.

¹³² Ibid. September 1805. Bd. 3. S. 54–63, здесь: 62–63.

¹³³ Deutsches Theater in St. Petersburg // Ruthenia, oder: Vierter Jahrgang der St. Petersburgischen Monatsschrift. Februar 1808. Bd. 1. S. 156–159, здесь: 158; Deutsches Theater in St. Petersburg // Ibid. Juni 1808. Bd. 2. S. 150–152, здесь: 151; см. также Schröder. Deutsches Theater // St. Petersburgische Monatschrift. September 1805. Bd.: 3. S. 54–63, здесь: 63. Шрёдер описывает выговор Розенштрауха как саксонский, но саксонский и силезский диалекты довольно похожи, и я полагаю, что критикуемое Шрёдером произношение было типично для Силезии, на основании следующего исследования: Weinhold, Karl. Ueber deutsche Dialektforschung: Die Laut- und Wortbildung und die Formen der schlesischen Mundart. Wien, 1853, особенно S. 26, 71, 74.

¹³⁴ Deutsches Theater in St. Petersburg // Ruthenia, oder: Vierter Jahrgang der St. Petersburgischen Monatsschrift. März 1808. Bd. 1. S. 239–249, здесь: 246.

Желание Розенштрауха сменить профессию было, похоже, вызвано и иными причинами, чем бедность и недовольство своим положением в обществе. Его моральные и творческие потребности, явно не удовлетворенные театром, нашли выход в религии. Об этом свидетельствует Степан Петрович Жихарев — один из немногих россиян, страстно любивших Немецкий театр. Жихарев частенько беседовал с членами труппы. Через день после показа шиллеровских «Разбойников» в январе 1807 года — более чем за два года до того, как Розенштраух ушел из театра, — он оставил в своем дневнике следующую запись: «Франца Мора играл Розенштраух недурно. Он, говорят, очень добрый, религиозный человек и будто бы готовится в пасторы, но, в ожидании хорошего пастората, играет на театре»¹³⁵.

Возможно, обращению Розенштрауха к религии способствовало его личное горе. Он очень редко упоминал об этом, наверное, потому, что эта тема была для него слишком болезненна. Как мы уже видели, женился он в ноябре 1788 года, а его сын Вильгельм родился в сентябре 1792 года. Был у него и старший сын, предположительно родившийся между 1788 и 1791 годами: таким образом, семнадцать лет ему должно было исполниться между 1805 и 1808 годами. В 1834 году, утешая своего крымского друга пастора Килиуса после смерти его семнадцатилетнего сына, Розенштраух вспоминает сокрушительные потери, ознаменовавшие его собственное обращение к истинному христианству — вере, научившей его не бояться смерти:

Мой старший сын был очень похож на Вашего почившего Вольдемара: тот же возраст, примерное усердие. Он был убит в собственной комнате в Санкт-Петербурге, за несколько часов до того попрощавшись со мной цветущим и полным здоровья, а моя любимая дочь (Елизавета. — А.М.) умерла (в Москве в 1823 г. — А.М.), отослав мне, дедушке, приглашение окрестить ее новорожденного сына. Первая смерть настигла меня, когда я был фарисеем, христианином на словах, а не в сердце, и привела меня на грань отчаяния. Смерть моей дочери не исторгла из меня ни одной слезы¹³⁶.

Это письмо кажется единственным дошедшим до нас упоминанием старшего сына Розенштрауха.

¹³⁵ Жихарев, С.П. Записки современника: В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 84.

¹³⁶ Mittheilungen aus dem Nachlasse von Johannes Ambrosius Rosenstrauch, früherem Consistorialrath und Prediger in Charkow. Leipzig, 1845. S. 118.

Франкмасон в Санкт-Петербурге

Все более важным для Розенштрауха становилось участие в масонстве, конец которому положил Александр I в 1822 году, когда, испугавшись революционных заговоров, он закрыл все масонские ложи в России. В общем и целом масонские ложи радушно встречали «братьев» из других городов или стран; таким образом, членство в ложе помогало подобным Розенштрауху людям, чья профессия подразумевала географическую мобильность, встроиться в новое общество. Розенштраух и ранее состоял в масонских ложах — в Нидерландах и Мекленбурге, но настоящего расцвета его масонская карьера достигла только в России. Так же как и в германских государствах, в России масонские ложи появились в XVIII веке, попали под запрет после Французской революции, когда правительства опасались заговоров, — и вновь открылись около 1800 года, незадолго до прибытия Розенштрауха в Россию.

Членство в масонской ложе, вероятно, импонировало Розенштрауху по целому ряду причин. По крайней мере в теории масоны представляли собой нравственную элиту общества, обращались друг с другом на равных, невзирая на ранг и статус, и управляли своим сообществом на принципах демократии. Таким образом, масонство успокаивало беспокойство Розенштрауха о неадекватности его положения в обществе, предоставляло ему возможность завести знакомства за пределами ограниченного театрального «гетто» и позволяло ему выступить в роли общественного лидера. Вероятно, масонский призыв к личностному самоусовершенствованию и неконфессиональной духовности отвечал и морально-религиозным устремлениям нашего героя. Наконец, вполне может быть, что ритуальность и перформативность франкмасонства удовлетворяли соответствующие потребности Розенштрауха не хуже, чем театр, а позже работа пастором.

Как и в случае с другими сторонами жизни Розенштрауха, восстановить ход его масонской карьеры нелегко. Он никогда открыто не писал и не говорил об этом в своих автобиографических сочинениях, поэтому нам остается полагаться на архивные документы, в некоторых случаях довольно трудно поддающиеся интерпретации. Последним указанием на масонскую деятельность Розенштрауха в Мекленбурге кажется диплом, выданный ему 30 августа 1804 года, перед самым его отъездом в Россию. Двумя годами позже Розенштраух предъявил этот диплом в Санкт-Петербурге. Французская надпись на обратной стороне документа гласит: «Рассмотрено в непорочной и совершенной ложе Сфинкса в Санкт-Петербурге 15 августа 1806 года,

секр^{етарь} Бенуа Фред^{ерик} де Девель¹³⁷. Согласно энциклопедии русского масонства А.И. Серкова, Девель ранее принадлежал к гессенско-кассельской ложе¹³⁸, поэтому можно предполагать, что Розенштраух был с ним знаком лично или хотя бы через общих знакомых. О какой «ложе Сфинкса» идет речь в надписи, непонятно: энциклопедия Серкова упоминает две ложи с таким названием, при этом Девель, похоже, не числится членом ни одной из них¹³⁹. Однако Девель точно был членом, а в какой-то момент и председателем (мастером стула) еще одной ложи — Пеликаны¹⁴⁰. Известно, что Розенштраух был действительным членом этой ложи; мало того, именно она стала отправной точкой его российской масонской карьеры.

Ложа Пеликаны существовала еще при Екатерине II и, когда в 1805 году Александр I разрешил возобновить ее деятельность, была в его честь переименована в ложу Александра благотворительности к коронованному Пеликану. Из-за непрерывно растущего числа членов и их социально-этнического разнообразия эта ложа в конце концов разделилась на две. Одна из отпочковавшихся организаций, под названием ложа Елизаветы к Добротели, была образована в 1809 году и названа в честь императрицы. Предполагалось, что собрания будут проводиться на французском языке, но в конечном итоге ложа перешла на русский: ее членами были преимущественно россияне, в том числе представители аристократической элиты. Другая ложа, Петра к Правде, была основана в мае 1810 года и состояла в основном из представителей среднего класса немецкого происхождения и лютеранского вероисповедания, хотя среди чиновников этой ложи попадались также итальянцы, французы и россияне. В третью ложу, сохранившую название Александра благотворительности к коронованному Пеликану, входило больше немецких иммигрантов и больше предпринимателей, чем в Ложу Петра к Правде¹⁴¹.

¹³⁷ НИОР РГБ. Ф. 147. Картон 349. Ед. хр. 32 («Розенштраух Иоганн Амвросий. Свидетельство из ложи св. Андрея Четырех начал (De quatuor Elementis) о членстве»).

¹³⁸ Серков, А.И. Русское масонство 1731–2000: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 991.

¹³⁹ Это франкоязычная ложа Сфинкса, основанная в 1811 году, в которой Розенштраух не состоял, и Ложа Умирающего сфинкса, основанная в 1800 году: с 1819 года Розенштраух был ее почетным членом (Серков. Русское масонство. С. 1099–1102, 1106–1108).

¹⁴⁰ Там же. С. 1056, 1075.

¹⁴¹ Там же. С. 1053, 1079; Серков, А.И. История русского масонства XIX века. СПб., 2000. С. 66–67; Соколовская, Т.О. Раннее Александровское масонство //

Сообразно с различиями в социальном и этническом составе трех лож разнились и основные направления их деятельности. По словам А.И. Серкова, «в ложе Александра предпочтение отдавалось филантропии, в ложе Петра к Правде тщательно изучались исторические события и смысл масонских символов, в ложе Елизаветы к Добродетели все было направлено на размышления об идее божественной сущности»¹⁴².

Главным чиновником ложи был мастер стула. Он был самым видным представителем ложи, поскольку именно он проводил ритуальные церемонии и собрания и произносил речи перед собравшимися. Не менее важную роль мастер стула играл и за кулисами, например, он председательствовал на собраниях чиновников ложи, где обсуждались кандидатуры новых членов и пожалования существующим членам более высоких степеней. Мастер стула также отвечал за связи с великой ложей, к которой относился его филиал. В некоторых ложах мастер стула избирался пожизненно, но чаще всего — и именно этой практики придерживалась и ложа Александра благотворительности к коронованному Пеликану — мастер стула избирался из числа членов ложи сроком на один год, причем отсчет начинался и заканчивался Иоанновым днем (24 июня)¹⁴³. В 1810–1811 годах мастером стула был Розенштраух¹⁴⁴. Когда в мае 1811 года Розенштраух ушел в отставку и на неопределенный период вообще покинул ложу, возможно, в преддверии своего скорого переезда в Москву, его собратья по ложе написали ему письмо, в котором высказывали свое восхищение его работой и недоумение по поводу его внезапного ухода¹⁴⁵.

Вхождение в ложу Александра благотворительности к коронованному Пеликану помогло Розенштрауху интегрироваться в среде, которая, хоть и ограничивалась преимущественно немецкой диаспорой, тем не менее занимала более высокое место на социальной лестнице, чем театр. Список членов этой ложи в энциклопедии Серкова позволяет определить социальное положение ста человек (в том числе

Масонство в его прошлом и настоящем, в 2 томах / Ред. С.П. Мельгунов и Н.П. Сидоров. М., 1991. Т. 2. С. 164–165.

¹⁴² Серков. История русского масонства XIX века. С. 67.

¹⁴³ Gesetzbuch der Großen Freimaurer-Loge Asträa, Erster Theil. Б.м., 5815 [1815]. S. 10–13; Gädicke, Johann Christian. Freimaurer-Lexicon. Berlin, 1818. S. 54–55.

¹⁴⁴ Серков. Русское масонство. С. 1078.

¹⁴⁵ НИОР РГБ. Ф. 147. № 341.8 («Ложа Александра к Пеликану в Петербурге И.А. Розенштрауху»). Л. 53–54.

Розенштрауха), бывших членами ложи одновременно с ним, то есть по конец 1811 года. Очень немногие из них принадлежали ко двору или государственной элите (предпочитавшей общаться по-французски). Тем не менее все эти люди относились к образованному и благополучному среднему классу. Примерно третья состояла на государственной службе: из них 10 были армейскими или флотскими офицерами и 26 чиновниками¹⁴⁶. Другая треть занималась коммерцией: 28 человек были купцами, пятеро имели другие профессии (гравёр, капитан судна и т.п.). Оставшаяся треть членов подвизалась в области медицины, религии или культуры: 14 человек были врачами, лекарями и аптекарями, трое пасторами, восемь музыкантами, трое художниками и еще трое учеными или учителями¹⁴⁷.

Членство в масонской ложе повысило социальный статус Розенштрауха и дало ему возможность обзавестись ценными знакомствами. Одним из его собратьев по ложе был Павел Павлович Помиан-Пезаровиус — позже один из начальников Розенштрауха по лютеранской церковной администрации. Другой член ложи, купец по имени Георг Кинен, возможно, был тем самым человеком, который впоследствии женился на дочери Розенштрауха. Возможно, и другие собратья по масонству предоставляли Розенштрауху возможность вырваться за рамки узкой театральной субкультуры. Как мы уже видели ранее, театральный критик журналист Фридрих Еnoch Шрёдер нелицеприятно отзывался в печати об ошибках в произношении и кажущихся пробелах в образовании у Розенштрауха и его коллег по театру. Однако Шрёдер был также и франкмасоном, и в 1816 году, когда он как один из чиновников ложи Петра к Правде подписывал свидетельство о пожаловании нашему герою почетного членства, он говорил о нем с гораздо большим пietетом: «...честному немецкому мужу, готовому услужить другу человечества, благородному каменщику, другу всякой добродетели, врагу всякого порока, Ему, чьей работой и примером десять лет назад снова процвело истинное масонство в Санкт-Петербурге»¹⁴⁸.

Географический центр «Петербурга Розенштрауха» находился в одной из самых богатых и аристократических частей города, между

¹⁴⁶ Еще двенадцать человек обладали определенным служебным рангом согласно Табели о рангах, однако подвизались в основном в другой области, например медицине.

¹⁴⁷ Серков. Русское масонство. С. 1073–1079.

¹⁴⁸ НИОР РГБ. Ф. 147. Картон 349. Ед. хр. 35 («Розенштраух. Свидетельство признания его заслуг перед Орденом из ложи Петра к истине. 1816 СПб.»).

Дворцовой площадью и Литейным проспектом. В 1808–1809 годах Розенштраух снял квартиру на юго-восточном углу Невского проспекта и Екатерининского канала¹⁴⁹. Мы не знаем, прихожанином какой именно церкви он был, но две из трех санкт-петербургских немецких лютеранских церквей располагались именно в этом районе: храм Св. Петра на Невском проспекте напротив Казанского собора и церковь Св. Анны на нынешней Кирочной улице близ Литейного проспекта. Идя по Невскому проспекту вверх, Розенштраух доходил до Немецкого театра на Дворцовой площади. Идя в обратном направлении, вниз по Невскому и по мосту через Фонтанку, он попадал на место проведения собраний ложи Александра благотворительности к коронованному Пеликану, ныне наб. Фонтанки, 26¹⁵⁰. (По другим данным, ложа собиралась в Новом переулке, ныне пер. Антоненко, между Исаакиевской площадью и Казанской улицей¹⁵¹.)

Здание, где Розенштраух снимал квартиру, было типичным как для архитектуры этого района столицы — это было трехэтажное здание в стиле раннего классицизма¹⁵², так и для того типа социальной мобильности, который отличал населяющих этот район людей. Розенштраух был бедным, но амбициозным иммигрантом из Европы. Другую квартиру в том же доме занимал Андрей Никифорович Воронихин, родившийся крепостным, но позже ставший одним из самых знаменитых российских архитекторов; как раз в этот период Воронихин руководил сооружением Казанского собора, ровнехонько через мост от того места, где он и Розенштраух снимали жилье. Владелец квартирного дома, Сила Глазунов, был неграмотным купцом, выбившимся в миллионеры. Объединяло всех троих масонство: сын Глазунова Константин был членом ложи Елизаветы к Добродетели, а Воронихин, масон со стажем, получил приглашение присоединиться к той же ложе в 1812 году¹⁵³.

Окружение Розенштрауха в Санкт-Петербурге в основном состояло из театральной среды и немецкой диаспоры, однако в какой-то

¹⁴⁹ Санкт-Петербургская адресная книга на 1809 год. Т. 1. СПб., 1809. С. 38; Т. 2. СПб., 1809. С. 347.

¹⁵⁰ Жерихина Е.И. Масонство // Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия в 3 томах. СПб. 2005. Т. 3. Кн. 4. С. 89.

¹⁵¹ Серков. История русского масонства XIX века. С. 67.

¹⁵² Дом Милитиных–Дом Глазуновых–Дом Лесниковых // Citywalls: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга <<http://www.citywalls.ru/house1988.html>>, последнее посещение 17.06.2013.

¹⁵³ Серков. Русское масонство. С. 1055. О Глазунове см.: Бильбасов В.А., ред. Архив графов Мордвиновых. СПб., 1903. Т. 8. С. 139.

мере он принимал участие и в жизни российских элит. По крайней мере имеются любопытные свидетельства того, что он входил в круг мистиков и франкмасонов, сложившийся вокруг императора Александра I в период до и после 1812 года.

Розенштраух был каким-то образом связан с влиятельным франкмасоном Александром Федоровичем Лабзиным — мистиком, сильно интересовавшимся немецким пietизmом. В 1810 году Лабзин стал почетным членом ложи Александра благотворительности к коронованному Пеликану¹⁵⁴, а в 1819 году Розенштраух в свою очередь был избран почетным членом лабзинской ложи Умирающего сфинкса¹⁵⁵. В 1817 году Розенштраух фигурирует в числе подписчиков выпускавшего Лабзиным мистического журнала «Сионский вестник». В 1823 году, когда кн. Александр Николаевич Голицын увещевал Лабзина тем, что тот не направляет свое перо «на славу Господа нашего Иисуса Христа», Лабзин писал, что «оно на то и употреблено, чему я имею собственноручные свидетельства, даже и не от русских. Спросите, например, переселенного в Харьков пастора Розенштрауха: кто посеял в него семя христианства?»¹⁵⁶.

Розенштраух свел знакомство и с императором Александром I, а также с обер-прокурором Св. синода кн. А.Н. Голицыным. Очевидно, Александр I лично посетил несколько собраний ложи Александра благотворительности к коронованному Пеликану¹⁵⁷, а в 1821 году он писал кн. Голицыну, что «сделал карандашные пометки и загнул страницы в тех местах одного из писем Розенштрауха, которые заслуживают Вашего внимания. Я согласен с тем, что он говорит». К сожалению, письмо Розенштрауха отсутствует в архивном фонде, где хранится письмо самого Александра, но по контексту явственно видно, что Розенштраух не раз писал царю, скорее всего на духовные темы, и что Александр делился этими письмами с Голицыным¹⁵⁸.

¹⁵⁴ Серков. Русское масонство. С. 1076.

¹⁵⁵ Там же. С. 1107.

¹⁵⁶ А.Ф. Лабзин и его ссылка (1822) // Русский архив. 1892. № 12. С. 353–392, здесь: 384.

¹⁵⁷ Жерихина. Масонство. С. 89.

¹⁵⁸ Вел. кн. Николай Михайлович. Император Александр I: Опыт исторического исследования. СПб., 1912. Т. 1. С. 557. Оригинал письма Александра I см. в: Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 728. Оп. 1. Д. 803 («Письма императора Александра I к кн. А.Н. Голицыну 1807, 1812–1821»). Л. 77.

Меркурианец в Москве (1811–1812)

В 1809 году Розенштраух окончательно ушел из театра и стал купцом, а в 1811 году переехал в Москву.

Для иностранца переезд в Москву был совсем не тем, чем он был для рядового россиянина. Россияне обычно жили в провинциях, и в их глазах и Москва, и Санкт-Петербург были столицами и потому имели равный статус. Что до представителей Запада, то они обычно въезжали в Россию через Санкт-Петербург — главный порт и самый космополитичный город страны. Немногие из них добирались до Москвы, и уж совсем мало кто бывал в российских провинциях. «Поскребите русского, и вы найдете татарина» (*Grattez le Russe et vous trouverez le Tartare*) — это высказывание в полной мере отражает представления многих иностранцев о том, что ожидает их за пределами Санкт-Петербурга.

Полезной отправной точкой для понимания решения Розенштрауха о смене рода деятельности на предпринимательство и о переезде в Москву является концепция историка Юрия Слезкина о «меркурианцах». Общества раннего Нового времени, утверждает Слезкин, состояли в основном из землепашцев и управлялись военной аристократией и священством. Социальные функции, отличные от сельского хозяйства, военного дела или религии, такие как ремесленничество, торговля, образование и увеселение, часто становились уделом «кочевых посредников», таких как евреи или цыгане в Центральной и Восточной Европе, греки и армяне в Османской империи или китайцы в Юго-Восточной Азии. Слезкин называет эти группы «меркурианцами», в честь Меркурия — бога-покровителя бродяг и хитрецов. Меркурианцы вели более «передовой» образ жизни, чем окружающее их большинство, в том смысле, что они были географически мобильны и ключом к продвижению в обществе считали деньги и образование, а не сельское хозяйство или ведение войны. Чтобы выполнять свои социальные функции и таким образом зарабатывать себе на жизнь, меркурианцы должны были владеть культурой большинства, но при этом противостоять ассимиляции с ней. Они выучивали язык окружающего населения, но сохраняли свой собственный. Они верили в свое религиозное или культурное превосходство, избегали смешанных браков и поддерживали тесные семейно-предпринимательские, религиозные и прочие связи с себе подобными, часто на больших географических дистанциях. Большинство населения испытывало по отношению к меркурианцам двойственные чувства. С одной стороны,

оно восхищалось их навыками и облагало налогами их доходы, с другой — неприязненно относилось к их обособленности, не доверяло им как иванам без рода без племени и презирало за то, что они не занимаются единственно почтенными в глазах большинства делами, а именно не пашут и не воюют¹⁵⁹.

Большую часть своей жизни Розенштраух был меркурианцем. В Германии XVIII века актеры, с их тесно сплоченными компаниями, бродячим образом жизни и скандальной репутацией, воспринимались обществом с той же смесью восхищения и презрения, что и цыгане: персонаж романа Гёте «Ученические годы Вильгельма Мейстера» называет бродячих актеров «цыганами»¹⁶⁰, а в XIX веке слово «богема» — производное от «Богемии», ошибочно считавшейся родиной цыган, стало коллективным обозначением писателей, художников и актеров, презиравших условности буржуазного общества.

Когда Розенштраух перебрался в Россию, да и потом, когда он ушел из театра, он не перестал быть меркурианцем. «Самыми главными меркурианцами Российской империи были немцы, — пишет Слезкин. — Опираясь на этническую и религиозную автономию, высокий уровень грамотности, сильные общинные институты, чувство культурного превосходства, международные родственные связи и множество специально культивируемых технических и лингвистических навыков, немцы были лицом (настоящим, из плоти и крови) бесконечной российской модернизации»¹⁶¹. Не все российские немцы были меркурианцами, продолжает Слезкин, но только те, кто занимал особыю нишу в этнически русском окружении:

Меркурианцами не были ни жившие у себя дома остзейские бароны, ни немецкие купцы немецкого города Риги, ни многочисленные немецкие крестьяне, импортированные во внутренние районы России. Очевидно, однако, что «немцы», знакомые большинству российских горожан, были типичными меркурианскими посредниками и поставщиками услуг: ремесленниками, предпринимателями и профессионалами¹⁶².

¹⁵⁹ См. первую главу («Сандалии Меркурия: Евреи и другие кочевники») книги Юрия Слезкина Эра Меркурия: Евреи в современном мире / Пер. с англ. С.Б. Ильин. М., 2005.

¹⁶⁰ Wilhelm Meisters Lehrjahre, Fünftes Buch // Goethe's Werke. Tübingen, 1806. Bd. 3. S. 250.

¹⁶¹ Слезкин. Эра Меркурия. С. 151.

¹⁶² Там же. С. 152.

Розенштраух принадлежал к тому типу немцев, который Слезкин считает «типичными меркурианцами». Он вполне мог вернуться в преимущественно немецкую среду, переехав в Ригу или другой балтийский город, но там ему не удалось бы избавиться от несмыываемого пятна на репутации — актерского прошлого. Занявшись вместо этого торговлей импортными предметами роскоши, он встроился в российскую социальную систему, однако же нашел себе нишу, обычно отводившуюся в ней немцам и другим иностранцам.

У меня нет данных о коммерческих начинаниях Розенштрауха в Санкт-Петербурге, но в Москве он продавал, помимо прочего, эстрагонный уксус (с. 251), чернила (с. 252), ленты¹⁶³, шоколад, духи, карандаши, и штопоры¹⁶⁴, а его магазин описывали как «косметический»¹⁶⁵. По окончании наполеоновской оккупации, когда москвичи подавали в правительство прошения о денежном вспомоществовании, Розенштраух сообщал, что в 1812 году он потерял товаров на сумму 50 000 рублей¹⁶⁶. Нет никакой возможности узнать, точна эта оценка или завышена, но сам факт ее включения в прошение свидетельствует о том, что Розенштраух верил, что власти сочтут ее достоверной. Эта огромная сумма соответствовала годовому оброку нескольких тысяч крепостных, или капиталу, необходимому для вступления в первую купеческую гильдию, или 25 годовым зарплатам, подобным той, какую двумя годами ранее, в 1810 году, предлагала Розенштрауху Дирекция императорских театров.

Чтобы встать на ноги, Розенштраух, похоже, воспользовался своими театральными, масонскими и семейными связями. Можно представить, что первоначальным капиталом и первыми деловыми связями он обзавелся в Санкт-Петербурге при помощи немецких купцов, многие из которых посещали театр и состояли в масонских организациях. Успеха в коммерческой деятельности он добился уже в Москве, где хватало знатных российских клиентов и меньше было конкуренции со стороны других западных торговцев. Магазин и жилье он снял в Москве у «богача Демидова из Петербурга» (с. 236). Знакомством с

¹⁶³ ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 494 («Письма к кн. М.П. Баратаеву Ивана Амвросия Розенштрауха (J.A. Rosenstrauch) купца, масона, из Москвы 1818–1820»). Л. 2, письмо Розенштрауха М.П. Баратаеву, без даты.

¹⁶⁴ НИОР РГБ. Ф. 19/II. Картон 203. Ед. хр. 8а. Л. 1–2 (Вильгельм Розенштраух — кн. Барятинской, 21 января 1830 г.).

¹⁶⁵ Соколов, В. Указатель жилищ и зданий в Москве, или Адресная книга. М., 1826. С. 318.

¹⁶⁶ ЦИАМ. Ф. 20. Оп. 2. Д. 2219. Л. 171–171 об.

Демидовыми он вполне мог быть обязан немецкой общине: немецкий театр, существовавший в Москве в 1803–1806 годах, выступал в усадьбе Демидовых в Гороховском переулке, 4, — в сердце Немецкой слободы и недалеко от двух московских немецких лютеранских церквей¹⁶⁷.

Продаваемые Розенштраухом товары еженедельно посыпал ему из Санкт-Петербурга его сын Вильгельм, которого Иоганн-Амвросий явно прочил себе в партнеры и наследники (с. 257). Как мы уже видели ранее, Вильгельм, родившийся в 1792 году, получил образование, подобающее потенциальному члену немецкого торгового класса в России. Он учился на фармацевта — распространенную и почитаемую среди российских немцев профессию. Вильгельм свободно владел немецким, французским и русским — языками и коммерции, и приличного общества. Учеба в Дерптском университете, надо полагать, не только расширила его интеллектуальный кругозор, но и наделила его личными связями, которые затем помогли ему встроиться в образованное российское немецкое общество. Отец Вильгельма не пускал его и других своих детей на сцену¹⁶⁸, и Вильгельм, равно как и одна из его сестер, нашли себе приличные брачные партии. Розенштрауху сильно мешали в жизни актерское прошлое, слабое знание иностранных языков, отсутствие формального образования и вообще необходимость помалкивать о своем происхождении и по служном списке, то есть именно о том, на основании чего люди узнавали и проникались доверием друг к другу. Он явно не хотел подвергать своих детей тем же испытаниям, а потому не жалел ни сил, ни денег, чтобы помочь их социальному возвышению в рамках российской немецкой диаспоры.

Магазин Розенштрауха располагался на Кузнецком мосту, на углу с Рождественкой (с. 225). За единственным исключением Невского проспекта, именно элегантные иностранные магазины на Кузнецком мосту были эпицентром утонченного европейского «меркурианизма», обслуживавшего весь российский высший класс. Для русской знати демонстративно «европеизированный» (а потому неродной для большинства их сограждан) стиль жизни был способом показать свой высокий социальный статус. Этому образу жизни приходилось специально учиться, подобно тому как актеру приходится вживаться в ту

¹⁶⁷ Келлер, А. Немцы в Москве XVI — начала XX в.: Их культурная и общественная жизнь // Немцы Москвы: Исторический вклад в культуру столицы. Международная конференция, посвященная 850-летию Москвы (Москва, 5 июня 1997 г.): Сборник докладов. М., 1997. С. 126.

¹⁶⁸ Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 117.

или иную роль. В результате, по мнению Юрия Михайловича Лотмана, среди русской знати «бытовая жизнь приобретала черты театра», а те сферы жизни, которые в западных странах «воспринимаются как ‘естественные’ и незначимые», преисполнялись «ритуализацией и семиотизацией»¹⁶⁹. В этой театрализованной культуре иностранные купцы на Кузнецком мосту выполняли две функции одновременно: они поставляли материальные атрибуты «европейского» образа жизни, а кроме того, как «истинные» европейцы, предоставляли русской знати возможность публично продемонстрировать свое владение «европейскими» правилами поведения.

Розенштраух, несомненно, был хорошо подготовлен к этой роли. Он достаточно пожил в столицах германских княжеств и в Санкт-Петербурге, чтобы разбираться во вкусах и манерах аристократов, а его масонская карьера убедительно доказывает, что он умел добиваться людского расположения и был уверен в себе. В своей жизни он познал все, от горькой бедности до роскоши царских дворов, и этот опыт наделял его, по словам одного из друзей, способностью на равных общаться с людьми из самых разных кругов¹⁷⁰. Это его умение хорошо прослеживается в его мемуарах о 1812 году, где он рассказывает, как, несмотря на слабое владение русским или французским, он успешно наладил потенциально взрывоопасные отношения как с русскими крепостными, так и с французскими аристократами. Театральный опыт тоже мог ему пригодиться. Как актер он, вероятно, хорошо чувствовал настроение публики, что не могло не сказаться на том, как он играл роль честного предпринимателя или, скажем, продавца, предугадывающего все желания клиента. Возможно, театральный опыт помогал ему и в построении психологического портрета покупателя. По словам Лотмана, в эту эпоху театр как в России, так и в Европе оказывал огромное влияние на поведение и образ мысли образованных людей. Например, театры часто показывали комедию и трагедию бок о бок, в один и тот же вечер, так что артистам следовало уметь быстро переключаться с одной роли на другую; да и зрители тоже приобретали привычку быстро переключаться с одного речевого или поведенческого регистра на другой. Трагедии трактовали действия и поступки индивидов как события всемирно-исторического масштаба; точно так же

¹⁶⁹ Лотман, Ю.М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Из истории русской культуры в 5 томах / Ред. А.Д. Кошелев. М., 1996–2000. Т. 4. С. 541.

¹⁷⁰ Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 117.

члены поколения, пережившего Наполеоновские войны, воображали собственный жизненный путь¹⁷¹. Таким образом, причастность к театру наверняка наделяла Розенштрауха способностью лучше понимать образ мысли и воображение своих современников.

Положение купца с Кузнецкого моста было чревато определенным риском. Юрий Слезкин утверждает, что как представители социальной, культурной и географической мобильности, то есть модернизации, казавшейся угрозой традиционным иерархиям и ценностям, меркурианцы XIX и XX веков часто навлекали на себя вражду со стороны большинства населения. Во многих странах объектом не-приязненного отношения были евреи, во внутренних же великорусских губерниях, где евреям селиться было запрещено, козлами отпущения часто становились немцы¹⁷². Наравне с ними страдали и выходцы из Франции: в период Наполеоновских войн их подозревали в сотрудничестве с противником и обвиняли в том, что по их наущению русская знать отвергает культуру собственного народа.

Чаще всего гнев русских «патриотов» изливался на магазины на Кузнецком мосту, многие из которых принадлежали французам. По словам Сергея Николаевича Глинки, Кузнецкий мост («...под сим общим наименованием, — писал он, — разумею я все модные лавки, все магазины, все жилища модных портных»¹⁷³) распространял «роскошь и моду», развращавшие русский дух. Они вредили государству и социальному порядку, отврашая знать от исполнения долга перед обществом и позволяя слугам щеголять в господском обличье. Они вредили семье, поощряя женское бесстыдство. Глинка считал, что «язва моды и роскоши, заразив все состояния, погасила любовь к Отечеству, разорвала все общественные и родственные связи»¹⁷⁴. Граф Федор Васильевич Ростопчин, будущий московский главнокомандующий, высказал схожее мнение, критикуя франкофильствующее знатное юношество: «Как им стоять за Веру, за Царя и за Отечество, когда они закону Божьему не учены и когда Русских считают за медведей? <...> Отечество их на Кузнецком мосту, а Царство небесное Париж. Родителей не уважают, стариков презирают, и быв ни-

¹⁷¹ Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994. С. 186–187.

¹⁷² По Слезкину, «немцы были, по роду их занятий и символическому значению, евреями Центральной России» (Слезкин. Эра Меркурия. С. 154).

¹⁷³ Кузнецкой мост, или владычество моды и роскоши // Русский вестник. 1808. Сентябрь. Ч. 3. С. 331–360, здесь: 331.

¹⁷⁴ Там же. С. 347.

что, хотят быть все»¹⁷⁵. Что обо всем этом думали простые люди эпохи Розенштрауха, документы не сообщают, но определенные намеки содержатся в очерке 1853 года — сочинении Ивана Тимофеевича Кокорева (1825–1853). Живший в бедности сын крепостного, Кокорев был не понастышке знаком с миром московского дна. В одном из его рассказов добродетельная, но наивная юная белошвейка с «одной из самых укромных улиц Москвы» хочет купить на Кузнецком мосту косыночку, но высокомерное презрение продавца и «блестящих покупательниц» доводит ее до горьких слез¹⁷⁶. В этом очерке Кузнецкий мост воплощает собой унижение простого русского народа русской знатью и ее западными союзниками.

Розенштраух переехал из Санкт-Петербурга в Москву в ноябре 1811 года (с. 256), как раз перед началом горячего зимнего сезона, когда провинциальное дворянство массово наезжало в Москву общаться и делать покупки. Десятью месяцами позже в Москву вступили войска Наполеона.

¹⁷⁵ Ростопчин, Ф.В. Мысли вслух на Красном крыльце // Сочинения Растворина (графа Федора Васильевича). СПб., 1853. С. 9–10.

¹⁷⁶ Кокорев, И.Т. Очерки Москвы сороковых годов. М.; Л., 1932. С. 125–128.

ГЛАВА 3

Война 1812 года

Воспоминания о 1812 году

Розенштраух озаглавил свои мемуары «Исторические происшествия в Москве 1812 года». Хоть он и в самом деле стал очевидцем значимых исторических событий, его воспоминания не вызывают ни малейшего интереса к Истории с большой буквы «И». В них почти ничего не говорится о Французской революции или национальной империи, несмотря даже на то, что нашествие 1812 года было третьей французской войной на его счету (после войн 1793–1795 годов в Голландии и на Рейне). Мемуарист обходит молчанием и вопрос о российском абсолютизме и крепостничестве, — что отличает его почти от всех писавших о России представителей Запада. Почти вся взрослая жизнь нашего автора прошла в период войн с революционной Францией и Наполеоном, но политический и идеологический контекст этих войн никоим образом не сказался на его сочинениях.

Это не может не удивлять современного читателя. Начиная с Французской революции войны воспринимались как конфликты между целыми нациями. В культуре России и Германии эта парадигма стала результатом того, что впоследствии было названо Отечественной войной 1812 года и Освободительной войной 1813 года. Многим современникам эти войны казались борьбой за национальное освобождение либо (как в случае Александра I) крестовым походом против сатанинского зла революции. Почему же Розенштраух не разделял этих взглядов?

Розенштраух не был националистом в том смысле, какой это слово стало приобретать в начале XIX века, то есть человеком, желающим, чтобы государство было идентично нации. В его мышлении

гордое чувство принадлежности к немецкому народу сочеталось с верноподданическим отношением к монарху. Подобный образ мысли был типичен для большей части образованного общества в Германии XVIII века, и немецкие иммигранты в России сохраняли его на протяжении всего XIX столетия. Это заметно по воспоминаниям Розенштрауха о 1812 году: он испытывает национальную солидарность с выходцами из Германии вне зависимости от того, на чьей стороне они воюют, но, говоря об «Отечестве» (*Vaterland*), которому он политически лоялен (с. 223, 256, 262), наш герой всегда подразумевает многонациональное государство императора всероссийского.

Причина, по которой идеалы национализма не были ему близки, крылась, вероятно, в его социальном положении. Он мало соприкасался с националистическими кругами, такими как немецкие студенческие корпорации или русское офицерство. По большому счету, как меркурианцу национализм военного времени представлялся ему исключительно угрозой, поскольку национализм, помимо прочего, стремился стладить социальное напряжение внутри нации за счет общей ксенофобии и военной героики. Иностранные торговцы процветали благодаря тому, что способствовали российским элитам вести гедонистический — заграничный — образ жизни. Именно поэтому Розенштраух оказывался в опасной изоляции. Московское простонародье видело в нем богатого иностранца, прислуживающего их господам, что, конечно, заставляло выказывать ему уважение, но одновременно делало его объектом классовой и шовинистической ненависти. Напротив, в глазах своих французских постояльцев во время оккупации Москвы Великой армией, Розенштраух был политически ненадежным представителем гражданского населения, которому они тем не менее были благодарны заубежище во враждебной и не поддающейся пониманию стране. Меркурианская сущность Розенштрауха накладывала отпечаток на его взаимодействие с обеими сторонами: обе почитали его одновременно своим и чужим, и он выживал исключительно благодаря собственной находчивости, накоплениям и умению быть полезным тому, кто в данный момент находился у власти.

В отличие от некоторых других людей, разделявших его масонские и пietистские убеждения, Розенштраух также не считал войну крестовым походом против врагов Божьих. Проведя детство и юность в Пруссии Фридриха Великого, он, вероятно, хорошо усвоил, что война — это дело королей, а не простого народа. В своих масонских речах (см. ниже) Розенштраух утверждал, что историей движет не политика, но духовное развитие просвещенных людей, а его размышления о

религии были сосредоточены на взаимоотношениях между Богом и отдельным человеком, а не целым государством или нацией.

Следует помнить и о том, что Розенштраух взялся записывать свои воспоминания только в 1835 году. К тому времени ему было уже шестьдесят семь лет и он был пастором в Харькове. С годами его религиозность усугубилась и еще больше изолировала его от окружающей действительности. Он мало читал, редко говорил о прошлом и не проявлял интереса ни к истории, ни к политике. Когда в Харьков прибывали высокопоставленные гости, сообщает друг Розенштрауха Иоганн Филипп Симон, другие видные местные деятели спешили за- свидетельствовать им свое почтение, но «лютеранский пастор оставался в своем кабинете, сидя в кресле и вертя на столе, затянутом тонкой навощенной тафтой, табакерку на манер волчка. Так он любил проводить время. Никогда вне церкви я не видел его с книгой в руках»¹⁷⁷. Воспоминания Розенштрауха о пережитом были точны и подробны, однако он запамятовал название сражения при Бородино (с. 228), которое он наверняка знал бы, если бы чаще беседовал о войне 1812 года.

На воспоминания нашего героя наложили свой отпечаток как про- шествие времени, так и изменения в его собственном положении. Бли- же к началу мемуаров он пишет (с. 223):

Не знаю, опубликовано ли кем-нибудь описание событий этого необычайного и богатого последствиями времени? Мне не попа- лось ни одной такой книги <...> Я был тогда лицом частным и су- дил обо всем происходившем прежде всего относительно себя са- мого, и лишь потом уже в отношении отечества и своих близких. Поскольку же я затем приучился тесно связывать все происходя- щие во времени события с вечностью, то и *назад*, на все происшедшее *тогда*, я смотрю в этом, единственно правильном, свете, что- бы сообщить нижеследующим заметкам интерес и для христиан.

Зачем и для кого он записал свои воспоминания, неясно. Общая сюжетная линия довольно слаба: мы мало узнаем о жизни героя до или после войны, да и анализ воздействия военного опыта на автора оставляет желать лучшего. Скорее, в центре внимания рассказчика — отдельные эпизоды, цель которых — проиллюстрировать его мораль- ные выводы и показать, как Провидение вмешивалось в его жизнь. Розенштраух был занимательным рассказчиком с проповеднической

¹⁷⁷ Simon. Russisches Leben. S. 312.

склонностью к морализаторству и актерским вкусом к драме — таковы формообразующие элементы его мемуаров.

Судя по весьма скучной доступной нам информации, события, о которых эти мемуары повествуют, фактологически верны. Когда я впервые столкнулся с этими воспоминаниями в Отделе письменных источников Государственного исторического музея, я не знал, кто мог их написать, поскольку автор не упоминает в тексте своей фамилии. Он сообщает, впрочем, что русские называли его Иван Иванычем и что он был торговцем предметами роскоши, недавно прибывшим из Санкт-Петербурга и спрятавшим свои товары на складах купцов Беккера и Ларме, и в аптеке Воспитательного дома впоследствии подвергшихся разграблению. В тексте также упоминается купец Шиллинг¹⁷⁸. По счастливой случайности в Центральном историческом архиве Москвы я обнаружил документ, содержащий ту же фрагментарную информацию, благодаря чему стало возможным идентифицировать автора мемуаров:

[Писарским почерком] В Комиссию, по Высочайшему повелению учрежденную для рассмотрения прошений обывателей Московской Столицы и Губернии потерпевших разорение от неприятеля.

Санктпетербургского 3. гильдии купца и Московского 2. Гильдии Гостя Иванова сына Розенштраух

Прошение.

Во время нашествия на Москву неприятеля, лишился я имущества своего, состоящего из Косметического товара, который был положен для охранения в Варварской Аптеке, у Купцов: Шиллинга и Беккера, у Фабриканта Ларме, Аргузена и Гиппиуса, всего по цене по сущей справедливости и долгу присяги *на Пятьдесят Тысяч Рублей*. Имения никакого и нигде не имею. А как не имею средств к продолжению торговли моей Косметическими товарами, то я всепокорнейше и прошу оказать мне вспомоществование.

[Почерком Розенштрауха] К сему прошении (sic) С. Петербургской 3. Гильдии купец, и московской 2. Гильдии Гость Иван Иванов сын Розенштраух рику (sic) приложил.

[Писарским почерком] Июля 28 дня 1813 год.

¹⁷⁸ См. с. 245-246, 256, 273.

Розенштрауху явно не слишком часто приходилось писать по-русски: в двух словах, прошении and рику, он по ошибке заменил кириллические буквы «у» и «ю» их латинским эквивалентом, «и»¹⁷⁹.

Завоеванная Москва

В какой-то степени повествование Розенштрауха о войне напоминает аналогичные отчеты россиян средней руки, оставшихся в Москве после вторжения в нее французов¹⁸⁰. Этих авторов глубоко потряс крах цивилизованной жизни. Наполеоновские солдаты и русские крестьяне грабили Москву, пожары довершили разрушение. Развалины разили разложением и затхостью; неестественная тишина, чувство незащищенности и ночная тьма накрыли город. Люди с благодарностью вспоминали отдельных французских офицеров, пытавшихся навести порядок, но в основном наполеоновское войско запомнилось им как разбойничья орда. Эти мотивы всплывают и в мемуарах Розенштрауха. При этом русскоязычный дискурс о Москве 1812 года явно не оказал на него никакого влияния: как мы видели, он даже не знал, было ли хоть что-либо написано на тему оккупации. Нет, определяющим фактором в данном случае было его социальное положение. С российскими коллегами по перу Розенштрауха связывала общая принадлежность к городскому среднему слою, однако его личное переживание войны было дополнительно окрашено представлениями о национальности, религии, классе и гендерном поведении, типичными для представителя иностранного купечества.

Тема классовой борьбы часто всплывает как у Розенштрауха, так и в воспоминаниях русских авторов. Русские мемуаристы выражают обиду на элиты и крестьян. Представителей высших классов они обвиняли в бесчестности и трусости, потому что ростопчинская пропаганда убеждала народ, что неприятель никогда не дойдет до Москвы, а когда французы все же до нее добрались, богачи скупили последних лошадей и сбежали, оставив бедняков на произвол судьбы. Обида на крестьян была не менее горькой как потому, что они толпами набегали грабить оставленный город, так и из-за враждебного отношения, с которым московских беженцев подчас встречали в сельской местности.

¹⁷⁹ ЦИАМ. Ф. 20. Оп. 2. Д. 2219. Л. 171-171 об.

¹⁸⁰ Этот корпус сочинений обсуждается в моей статье «Москва в 1812 году и судьба имперского социального проекта», вышедшей в журнале «Новое литературное обозрение» 118 (2012. № 6. С. 114–142).

Описывая неразумность, жадность и враждебность крестьян, Розенштраух вторит русскоязычным москвичам средней руки. Однако положение меркурианца, тесно связанного с российскими элитами, также оказывало влияние на его видение социальной системы. Грубо говоря, Розенштраух разделял россиян на две категории. Под одну из них подпадала европеизированная знать и чиновники, о которых он пишет с почтением. Говоря же об остальном населении, он воспроизводит общие места, расхожие среди российской знати и представителей западных стран: что простые россияне были наивны и полны предрассудков; что они были задиристы, если могли себе это позволить, но что проявление силы легко подавляло их. Хоть он и превратился из купца в клирика, Розенштраух не испытывал особой привязанности к своим русским коллегам по профессии и призванию: в его мемуарах священники проявляют ту же безрассудность, что и простонародье, а русские купцы и вовсе ни разу не упоминаются. Поименно он называет в основном образованных иностранцев: людей, связанных с театром (Чермак, Хальтенхоф, Зук), купцов (Шиллинг, Ларме, Кнауф, Беккер, Арман), чиновников (Гранжан, Гельман). Простых же русских Розенштраух и вовсе почти всегда описывает исключительно как безымянных представителей социальных групп: «крестьянка», «казак», «священнослужитель» и так далее.

Розенштрауху простонародье представлялось глубоко неразумным. Его замечания и суждения по этому поводу отнюдь не оригинальны: напротив, они представляют собой итог многовекового процесса, в ходе которого образованные европейцы обрели то, что сегодня считается характеристиками психологии современного человека. По мнению социолога Норберта Элиаса, средневековые рыцари отличались грубостью нравов и необузданностью: их психология была в чем-то схожа с психологией ребенка. Потомкам же этих рыцарей, вся жизнь которых проходила при дворе того или иного правителя, пришлось научиться сдерживать порывы и просчитывать долгосрочные последствия своих поступков — иными словами, обрести психологию современного взрослого человека. Начатый при дворе «процесс цивилизации» распространился на буржуазию и общество в целом¹⁸¹. Если Элиас считает основным двигателем «процесса цивили-

¹⁸¹ Elias, N. The Civilizing Process, 366–379 (русский перевод см.: Элиас, Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические исследования. М.; СПб., 2001. Т. 2. Раздел «О процессе цивилизации». Подраздел 1. «Социальное принуждение к самоконтролю». <http://krotov.info/library/26_ae/li/as_00.htm>, последнее посещение 24.04.2014); Haskell, Thomas L. Capitalism and

зации» придворную культуру, то историк Томас Хасскелл приписывает ведущую роль в этом процессе подъему капитализма: по мере роста и усложнения торговой деятельности купцам приходилось учиться видеть более сложные причинно-следственные связи между событиями, даже если те отстоят друг от друга во времени и пространстве.

Розенштраух, влияние на которого оказали как придворная культура, так и капитализм, считал, что простолюдию не хватает способности контролировать свое поведение и смотреть в будущее. Если верить мемуарам нашего героя, ему удавалось избежать опасных столкновений как с солдатами Наполеона, так и с русскими крестьянами благодаря тому, что в каждом случае он точно знал, как они себя поведут, а после 1812 года он разбогател и добился успеха не в последнюю очередь потому, что не поддался соблазну обогатиться грабежом (см., например, с. 268). Напротив, русское простонародье не в состоянии было держать себя в руках и не видело дальше собственного носа; именно поэтому им нужна была отеческая защита и одновременно жесткая рука, которая держала бы их в узде (например, с. 273–274). Розенштраух, как вытекает из его воспоминаний, мыслил и вел себя как взрослый, а крестьяне как дети.

Отзыв Розенштрауха о низших сословиях свидетельствует о том, что он думал как человек XVIII, а не XIX века. До Французской революции европейские и российские элиты считали низшие сословия похожими на безрассудных детей, но не злонамеренными по сути своей. Однако травма Французской революции заставила западноевропейскую буржуазию бояться простого народа, который все чаще виделся им как сборище бесчеловечных дикарей. Представление об этом отношении к народу дает популярный роман «Парижские тайны» (1842–1843), в котором французский романист Эжен Сю обещает описать обитателей трущоб французской столицы: «Страшные, наводящие ужас типажи кишмя кишили в этих нечистых клоаках, как пресмыкающиеся на болоте»¹⁸². Возможно, как раз потому, что Розенштраух мало соприкасался с современной ему европейской жизнью, в его воспоминаниях, хоть и написанных всего за несколько лет до выхода в свет «Парижских тайн», подобных кошмаров нет. Московский люд выступает в них как безрассудная чернь, а не как потерявшая всякое подобие человечности толпа.

the Origins of the Humanitarian Sensibility // The American Historical Review. April 1985. № 90/2. P. 339–361; June 1985. № 3. P. 547–566.

¹⁸² Sue, Eugène. Les Mystères de Paris. Brussels, 1844. Vol. 1. P. 1.

Столкнувшись с русским безрассудством, Розенштраух, по его словам, вел себя храбро и рационально, подобно отцу впавших в истерику детей. Например, после отступления французов из Москвы и первого взрыва в Кремле слуги дома Розенштрауха ворвались в кладовые, где хранилось имущество Демидовых. Оказавшего им сопротивление Розенштрауха они связали и изготовились убить. В этот момент центр столицы сотряс второй взрыв. Грабители подрастерьялись, и тогда Розенштраух предложил им разделаться с ним побыстрее, не дожидаясь следующего взрыва, который уж наверняка снесет город с лица земли и предаст их мучительной смерти: «Тогда вы навеки попадете в преисподнюю как разбойники и убийцы, а я на небо, потому что я как честный человек противился грабежу имения Вашего господина» (с. 273). Это уверение лишило крестьян решимости довести свой злой умысел до конца, а некоторые из них и вовсе преклонили перед ним колени.

Этот рассказ, как и другие подобные истории в мемуарах Розенштрауха, включает живой диалог и динамику, придающие ему театральность. Был ли Розенштраух и впрямь так убедителен? Он честно признает, что с русским у него было неважно: «Я и до сих пор удивляюсь, как смог сказать все эти слова по-русски так хорошо, что смысл мужикам был совершенно понятен» (с. 273). Иоганн Филипп Симон, знававший Розенштрауха в начале 1830-х годов, подтверждает: «К сожалению, вопреки своему более чем тридцатилетнему пребыванию в России он все еще был несведущ в русском языке, и тот, кто не знал по-немецки, должен был отказаться от удовольствия сердечного и поучительного общения с ним»¹⁸³. С другой стороны, успех нашего героя на сцене, в торговле и у масонов заставляет предполагать, что он обладал немалым даром убеждения. Вера в этот дар была частью его самопрезентации, что очевидно из его рассказа об усилиях, приложенных им с целью примирить с Христом умирающих (немецкоязычных) грешников. Этот рассказ он опубликовал в 1833 году, за два года до того, как были написаны мемуары о 1812 году¹⁸⁴.

¹⁸³ Simon. Russisches Leben. S. 312.

¹⁸⁴ «Erfahrungen eines evangelischen Seelsorgers an Sterbebetten» были впервые опубликованы в Дерпте в журнале *Evangelische Blätter* (1833), а затем перепечатаны в *Mittheilungen aus dem Nachlasse von Johannes Ambrosius Rosenstrauch, früherem Consistorialrath und Prediger in Charkow*. Leipzig, 1845; repr. Dresden, 1871. Эта книга также трижды издавалась по-русски: Иоганн-Амвросий Розенштраух, Лютеранский пастор в Харькове / Пер. А. Ишимовой. СПб., 1847; У одра умирающих. Из записок покойного И.А. Розенштрауха, евангелическо-

Еще одним пунктом, в отношении которого Розенштраух сходится с российскими мемуаристами, было восприятие наполеоновской армии. Образованные люди в предвоенной Москве уравнивали присутствие солдат с порядком и считали французов ветреным, но утонченным народом. Грязные, изголодавшиеся солдаты, занявшие Москву, никак эти ожидания не оправдывали, но французские офицеры иногда все же проявляли галантность и добросердечие, коими славилась их родина. Разумеется, при наличии общего языка заручиться защитой офицеров было проще. Розенштраух французским владел слабо, но многие из наполеоновских офицеров были немцами, и трое из четырех французов, которых он приютил, кормил и развлекал в своем доме, говорили на хорошем немецком. При обычных обстоятельствах московские меркурианцы стремились заручиться расположением российской элиты, обеспечивая ей доступ к европейскому образу жизни. В 1812 году Розенштраух поступил ровно наоборот: он завоевал доверие французской элиты, обеспечив ей иллюзию дома в чужой Москве.

В русских мемуарах довольно регулярно всплывает тема французского антиклерикализма: завоеватели приспособливали храмы под конюшни, бойни и тому подобное. Розенштраух намекает на это лишь раз, описывая, как пришел на помощь протопопу, «которого бывшие у нас солдаты всячески оскорбляли» (с. 234). Почему он не развивает эту тему далее, остается загадкой. Как торговец предметами роскоши и бывший актер он придавал значение внешнему виду и запахам, что заметно по его описаниям разгрома в московских магазинах и трупной вони. Его собственная церковь избежала осквернения только потому, что пастор убедил маршала Нея даровать ей особую защиту. В период написания мемуаров Розенштраух, сам ставший пастором, вкладывал личные средства в строительство церкви для своей паствы¹⁸⁵. Возможно, православие было ему чуждо, но в его сочинениях нет антагонизма по отношению к православной церкви. С другой стороны, вполне вероятно, что изоляция в рамках иностранной общины не располагала к тому, чтобы слишком пристально следить за судьбой православных святынь.

Помимо представлений о национальности, классовой принадлежности и религии, мемуары Розенштрауха можно читать и с гендерной точки зрения. По его мнению, роль женщины заключалась в семье и материнстве. Соответственно, он порицал женщин, стремившихся к

го проповедника в Харькове / Пер. Н.А. СПб., 1863; Розенштраух, И.А. У одра умирающих. СПб., 1998.

¹⁸⁵ Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 70–71; Döllen, A. Kurze Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche und Gemeinde zu Charkow. Charkow, 1880. S. 20, 26.

связям с французскими офицерами и употреблявших их покровительство себе на пользу. Например, однажды французский офицер попытался реквизировать товары из магазина нашего героя в пользу наполеоновской канцелярии. На защиту к Розенштрауху пришла его соседка, заявившая, что она любовница французского генерала и не потерпит очернения славного имени Наполеона офицером его армии, пытающимся заполучить ценный товар бесплатно (с. 253). Розенштраух был признателен за ее вмешательство и рассказывает об этой истории с юмором, но при этом тоном явственного морального осуждения.

Однако в общем и целом женщины не слишком его интересовали. В основном он размышлял о поступках мужчин. Немецкое Просвещение и масонство учили, что работа, дисциплина и независимость были неотъемлемыми элементами жизни буржуа мужского пола и что мужчина мог добиться истинной свободы только по достижении духовной зрелости. Исходя из этого, Розенштраух порицал неспособность мужчин любого социального состояния освободиться от страсти и предубеждений, таких как алчность, классовая ненависть, мирские удовольствия и иллюзии рационализма или воинских почестей.

Взгляды Розенштрауха на гендерные роли не были совершенно однозначны. Его теоретические наставления на добродетельности буржуазной семьи резко контрастировали с реальностью его собственного неудачного брака с актрисой. Да и избранная им профессия тоже не позволяла ему быть образцом добродетельной мужественности. И как актер, и как продавец так называемых косметических товаров он торговал обманчивой видимостью; в обоих случаях его коллегами по профессии были дамы сомнительной репутации, а успех в обоих занятиях подразумевал культивирование утонченного эпикурейства среди женщин, стоявших выше его на социальной лестнице. Это было не только немужественно, но и к 1812 году просто-напросто опасно. Ростопчинская пропаганда связывала модные магазины на Кузнецком мосту с французским духом, и Розенштраух подмечал жестокость казаков по отношению к француженкам (с. 254). Продажа косметических товаров делала Розенштрауха проводником изнеженной аристократической о francaженности, из-за чего он подвергался нападкам со стороны враждебно настроенных россиян. Впрочем, тот же фактор помогал ему снискать расположение французов.

Наш герой пренебрежительно отнесся к готовности соседки стать любовницей генерала, однако же на деле он находился совершенно в том же положении, что и она. Опасаясь за себя и свой магазин, Розенштраух тоже нашел группу французских офицеров, которым

предложил проживание и питание, а заодно и усердную службу и льстивые разговоры. В ответ они дарили ему снисходительное добродушие и защиту. Мы не знаем, что о Розенштраухе думали французы, — истории, которые они рассказывали после войны, в основном касались их приключений на поле битвы и ужасов отступления от Москвы¹⁸⁶, — но на Розенштрауха встреча с ними произвела неизгладимое впечатление.

Не будучи уверенным в правильном написании их имен, Розенштраух называл своих постояльцев «адъютанты маршала Бертье, полковники Флао, Ноайль, Бонгар, Кутейль» (с. 239). Все, кроме Бонгара, прилично говорили по-немецки, и вскоре между ними и их хозяином завязались добрые отношения: французы развлекали Розенштрауха сплетнями из наполеоновской штаб-квартиры, а он потчевал их винами и яствами из собственного магазина. Как мы знаем по другим источникам, все четверо постояльцев являли собой классический образец знати Старого режима, успешно приспособившейся к изменившимся условиям наполеоновской империи и ее наследников.

Лишь один из них, виконт Жозеф-Бартелеми де Бонгар де Рокиньи (*Joseph-Barthélémy de Bongard* (или *Bongars*) *de Roquigny*) (1762–1833), принадлежал к тому же поколению, что и Розенштраух. При Людовике XVI он был королевским конюшим и, отслужив в кавалерии у Наполеона, пожаловавшего ему баронский титул, вновь стал королевским конюшим после коронации Карла X в 1825 году¹⁸⁷.

Остальные были детьми революции, достигшими зрелости при Наполеоне. Барон Шарль де Флао де ла Бийардери (*Charles de Flahaut* (или *Flahault*) *de la Billarderie*) (1785–1870) был незаконнорожденным

¹⁸⁶ В письме матери Флао упоминает квартиру в доме Демидова, которую он делит с тремя другими офицерами: Archives Nationales (Paris), 565 AP 5, dossier 5, folio 109, письмо от 27 сентября 1812 г. См. также: *Daridan, Geneviève. MM. Le Couteulx et Cie, banquiers à Paris: Un clan familial dans la crise du XVIII^e siècle*. Paris. 1994. P. 321; *Bernardy, Françoise de. Son of Talleyrand: The Life of Count Charles de Flahaut, 1785–1870 / Trans. Lucy Norton*. London, 1956. P. 92–97; *Beauharnais, Hortense de. Mémoires de la reine Hortense, publiés par le prince Napoléon*, 3 vols. Paris. 1927. Vol. 2. P. 159; *Thiébaut, Gaëlle. Charles de Flahaut, un diplomate de l'Europe impériale vers une Europe des nations*. Université Paris Sorbonne–Paris IV, mémoire de maîtrise, 2004. P. 29–31, <<http://www.charles-de-flahaut.fr/Ressources/Flahaut.pdf>>, последнее посещение 22.01.2008; *Hamilton, Lord Frederic. The Days before Yesterday*. New York, 1920. P. 51–52.

¹⁸⁷ *Roque, Louis de la, et Edouard de Barthélémy. Catalogue de la noblesse des colonies et des familles anoblies ou titrées sous l'Empire, la Restauration, et le gouvernement de juillet*. Paris, 1865. P. 42; *Darmaing, M. Relation complète du sacre de Charles X*. Paris, 1825. P. 170.

сыном Талейрана и внебрачной дочери Людовика XV¹⁸⁸. Муж его матери, отставной генерал Флао, взошел на гильотину в эпоху Террора; мать бежала с юным Шарлем в Англию. Овдовев, мать Шарлья де Флао Аделаида-Эмилия (урожд. Фиель, впоследствии маркиза де Суза-Ботельо) зарабатывала себе на жизнь написанием романов, ставших столь популярными по всей Европе, что ими зачитывался даже Пьер в «Войне и мире» Л.Н. Толстого¹⁸⁹. По возвращении во Францию Шарль вступил в наполеоновскую армию и приобрел репутацию доблестного офицера, ревностного бонапартиста и дамского угодника. Одной из его любовниц была Гортензия де Богарн, дочь первой супруги Наполеона Жозефины. Гортензия вышла замуж за брата Наполеона, Людовика, которого Наполеон сделал королем Нидерландов, и впоследствии дала жизнь будущему Наполеону III. Припоминая очарование Флао, но также и его неспособность хранить ей верность, она позже писала, что он обладал «выдающейся наружностью, живостью духа, был приятен и даже блестящ, чувствителен, хотя и непостоянен, вдохновлен скорее желанием понравиться, нежели потребностью быть любимым»¹⁹⁰. На портрете работы Жерара, придворного художника Наполеона, Флао предстает в офицерской форме примерно в 1813 году: мы видим тонкие аристократические черты лица, уверенный взгляд, жесткий стоячий воротник, великолепные эполеты — это истинный аполлон двадцати восьми лет от роду¹⁹¹. Впоследствии Флао женился на дочери британского адмирала и при Июльской монархии и Второй империи занимал на службе у французского правительства престижные посольские посты.

Оставшиеся два товарища Флао имели сходное происхождение. Немалая часть семьи барона Альфреда де Ноэля (*Alfred de Noailles*) (1786–1812) погибла на гильотине, но сам он ревностно сражался за Наполеона до самой своей гибели на Березине¹⁹². Что до барона Шарля Эмманюэля Ле Кутё де Кантеле (*Charles Emmanuel Le Couteulx de Canteleu*) (1789–1844), который в тексте Розенштрауха назван Кутейлем, то он происходил из пожалованной дворянством семьи купцов, морских перевозчиков и банкиров с обширными связями за океаном.

¹⁸⁸ *Marcade, A. Talleyrand: Prêtre et évêque.* Paris, 1883. P. 134.

¹⁸⁹ *Толстой, Л.Н.* Том 2. Часть 2. Глава 1; Том 3. Часть 2. Глава 18.

¹⁹⁰ *Mémoires de la reine Hortense.* Vol. 2. P. 110.

¹⁹¹ См. илл. 6.

¹⁹² *Biographie universelle, ancienne et moderne, Supplément Mu-Ny.* Paris, 1844. Vol. 75. P. 413–417.

Его отец служил в Генеральных штатах, находился в заключении при Терроре, поддержал наполеоновский переворот Восемнадцатого брюмера и помог основать Банк Франции. После падения Наполеона отец барона был избран членом новой палаты пэров, тогда как сам барон стал флигель-адъютантом дофина¹⁹³.

Розенштраух симпатизировал и уважал «этих четырех храбрых воинов» (с. 251) за их stoïческую самодисциплину, космополитическую толерантность и добродушную учтивость. Они весело болтали с ним по-немецки, а со служившим у Флао камердинером, голландцем по происхождению, Розенштраух сошелся особо — на почве воспоминаний о Голландии и общей антипатии к Наполеону, которую Флао терпел из благодарности за помощь, некогда оказанную камердинером семье Флао в период Террора. Ле Кутё рисковал собой, защищая Розенштрауха от мародерствующих солдат, настаивал на оплате вина, взятого им с собой при отступлении от Москвы, и превозносил мужество русских крестьян, напавших на его подразделение и едва не убивших его самого (с. 263).

И все же их разделяла пропасть. Офицеры были юными (за исключением Бонгара) аристократами, представителями ведущей мировой нации и величайшей на тот момент военной силы, и это наделяло их чувством привилегированности, идеализмом, военной бравадой и *noblesse oblige*. Розенштраух ничем таким похвастаться не мог. Разочарованный в жизни бывший актер средних лет, наконец-то достигший благосостояния, которое война поставила под угрозу, он был невосприимчив к романтике войны и революции. Напротив, разрушительность войны и неуважение к частной собственности приводили его в ужас. Он гордо писал, что ни разу не присвоил краденого, а наоборот, ревностно охранял имущество своего квартирохозяина Демидова; в отличие от него французские офицеры охотно брали себе награбленное и даже предлагали поделиться с ним (с. 249, 268).

Не разделял Розенштраух и офицерского этоса физической храбрости. Розенштраух предлагает три модели поведения перед лицом опасности. С одной стороны были трусы: в хаосе, предшествовавшем прибытию французов, немецкий фабрикант по имени Кнауф эгоистично отказался предоставить Розенштрауху убежище в своем надежно укрепленном доме, и Розенштраух испытал мрачное удовлетворение, когда Кнауфа ограбили и выгнали из дома его собственные

¹⁹³ Daridan. MM. Le Couteulx et Cie; Zylberberg, Michel. Capitalisme et catholicisme dans la France moderne: La dynastie Le Couteulx. Paris, 2001. Главы 8–9.

работники¹⁹⁴. На другом конце спектра находились самоубийственно рискованные поступки, на которые французских офицеров толкало чувство чести, а низшие сословия — жадность и разрушительные инстинкты. Розенштраух, по его собственному мнению, по смелости и благородству занимал золотую середину между этими двумя крайностями: он оказал сопротивление крепостным, пытавшимся разграбить имущество Демидова, и солдатам, собиравшимся казнить невинных крестьян (с. 237), но избегал неоправданного риска и даже отказывался без крайней необходимости выходить из дома. По этой причине Розенштраух так ни разу и не увидел Наполеона, хотя тот каждый день проезжал мимо его дома (с. 245).

Ни симпатии к планам Наполеона, ни восхищения перед ним самим Розенштраух не испытывал. Как бывшего актера (в чем он, конечно, не признается) его шокировала пошлость императорских вкусов:

Для его развлечения в Кремле дилетанты ставили французские комедии, которые играли немногие оставшиеся модистки и гувернантки, — никто из них никогда не был артистом. И, как говорят, Наполеон, который видел все самое великолепное и блестящее, что могла предложить сцена, находил или делал вид, что находит вкус в этих жалких представлениях, и якобы смотрел их очень внимательно часами, как будто бы он действительно наслаждался. (с. 262)

За исключением Бонгара, Розенштраух был единственным из этой компании, кто к началу экспансии революционной Франции был уже взрослым человеком. Это позволило ему в кои-то веки отступить от привычного амплуа заискивающего перед гостями хозяина и выступить в роли более зрелого обладателя мудрости и опыта; это также побудило его в первый и последний раз письменно упомянуть о своей жизни до переезда в Россию. Как он позже вспоминал, он поделился с юными постояльцами своим взглядом на их нынешнее положение: в 1793 году «я видел французскую армию в Голландии при Дюмульье *детьми*, как они шли тогда — одни пожилые старцы, много наглых бабенок, сражавшихся в общем строю, и безбородые юноши». Французской анархии — вместе с воинственными женщинами, символом революционной угрозы общественному порядку, — в конце концов пришел конец, но только благодаря тому, что на смену ей пришла театральная,

¹⁹⁴ О Кнауфе см. также 229–230, 234–235.

воинствующая мужественность, не лишенная гомоэротической привлекательности, но самоубийственная. Он писал, что видел французов «на Рейне в 1795 г. юношами. В Москве же мужами — ибо едва ли возможно увидеть красивейшую армию, чем 80 000 человек гвардейцев, которые вошли в Москву, из которых каждый *старый* гвардеец мог бы служить моделью для Юпитера или Геркулеса, а каждый *молодой* гвардеец — для Ганимеда. Теперь (заключал он со значением — А.М.) мне остается лишь ожидать еще увидеть этих *мужей старцами*» (с. 270).

Последствия войны

По мере написания мемуаров Розенштрауху стало казаться, что война решительно изменила как его материальное положение, так и его духовное видение мира:

Насколько простирается человеческое соображение, я могу с уверенностью утверждать, что в Петербурге, не случись явного чуда, я не пришел бы ни к достатку при нашем *ограниченном* местными рамками торговом обороте, ни к совершенно *изменившимся* духовным воззрениям под воздействием страданий и опасностей в Москве, ни к заделу в церковных и школьных делах благодаря моему *деятельному* участию в заботах церковного совета. Все это вкупе должно было случиться прежде, чем с некоторой надеждой на успех я смог принять решение сделаться *пастором*, и тем более осуществить его (с. 224).

Война помогла Розенштрауху, всю жизнь боровшемуся за выживание, стать состоятельным человеком. Когда наполеоновская армия приблизилась к Москве, он спрятал свои товары, бросил магазин на произвол судьбы и попытался бежать из города. Но человек предполагает, а Бог располагает. Тщательно спрятанные товары были разграблены, а дом и магазин нашего героя уцелели. Как он рассуждал впоследствии, оставь он товар в магазине, он бы не был разграблен и его можно было бы с прибылью продать французам с деньгами, на которые нечего было покупать. Однако в таком случае русские заподозрили бы его в измене, сочтя, что он переехал в Москву только потому, что был в сговоре с французами и ожидал их прибытия. Таким образом, потеря товара доказывала его политическую лояльность. В то же время благодаря тому, что, в отличие от множества конкурентов, его магазин остался нетронутым, он мог возобновить

торговлю сразу же по окончании войны. Оглядываясь назад, он верил, что слухи, воспрепятствовавшие его бегству из Москвы, были «милосердным, хотя и незаслуженным, попечением Божиим», поскольку именно они заставили его остаться в городе, «Отсюда многочисленные случаи вызволения из опасностей укрепили мою веру, мое доверие к всемогущему заступничеству Бога, этим обогатился мой опыт и была заложена основа моего позднейшего возросшего благосостояния» (с. 257).

Тот факт, что магазин Розенштрауха уцелел, несомненно способствовал восстановлению его дела. Остается только догадываться, как он смог пережить потерю товара на сумму 50 000 рублей, который, по его словам, был разграблен. Подобно многим москвичам, он ходатайствовал о правительственном вспомоществовании, но нет никаких доказательств того, что он его получил. Чаще всего финансовую помощь оказывали домовладельцам, чьи дома были разрушены¹⁹⁵. Что до купцов, чиновники принимали во внимание сумму, требовавшуюся заявителю на восстановление предприятия, однако выделяемые суммы были обычно невелики: к концу 1815 года помошь была оказана только 209 московским купцам и средний размер пособия составлял только 6439,47 рубля¹⁹⁶.

А впрочем, Розенштраух мог добыть деньги и другими способами. В своих мемуарах он пишет, что наполеоновским солдатам не было смысла хранить российские ассигнации и они продавали их «не по стоимости, а пачками за золотые и серебряные монеты». «Некоторые жители, — писал он, — зарабатывали таким образом крупные суммы» (с. 248). Розенштраух не подтверждает, что и сам этим промышлял, но Иоганн Георг Коль, посетивший Харьков вскоре после смерти нашего героя, слышал о нем следующее:

Пожар Москвы сделал его на 14 дней бедняком, ибо его дома и товары сгорели вместе с остальными; но затем он снова сделался сказочно богатым, потому что оставшееся у него серебро он умело употребил на то, чтобы скупить у французов задешево ставшие

¹⁹⁵ ЦИАМ. Ф. 20. Оп. 2. Д. 2243. Л. 92–96 об., доклад Александру I от Комиссии о рассмотрении прошений разоренных обывателей Московской Губернии и Столицы, 5 ноября 1813 г.

¹⁹⁶ Там же. Д. 2432. Л. 1 об.–2, «Ведомость о сумме, выданной из высочайше учрежденной Комиссии для вспоможения обывателям Московской Столицы и Губернии, с 19 января 1815-го по 1 января сего 1816-го года и сколько за тем остается в невыдаче».

им ненужными при отступлении русские ассигнации. Благодаря этому и новой удаче в торговле он стал очень обеспеченным и совершенно независимым человеком¹⁹⁷.

Возможно, эта история соответствует действительности; а может, Розенштраух просто ее не опровергал. Его положение в конце войны было бедственным: поскольку он не только потерял весь свой товар, но и до недавних пор был актером без копейки за душой, вполне представимо, что и утраченный товар он покупал в кредит. Послевоенная перестройка открывала новые возможности, но откуда у нашего героя взялся стартовый капитал? Современники, несомненно, тоже проявляли любопытство по этому вопросу. Спекуляции военного времени были болезненной темой. В воспоминаниях о 1812 году Розенштраух подробно рассказывает о своем знакомстве с французским купцом Ларме (с. 254–255), но ни разу не упоминает о том, что после войны Ларме обвиняли в сотрудничестве с оккупантами и оказании им помощи в разграблении имущества россиян¹⁹⁸. Розенштраух тоже содействовал противнику. Учитывая, какие это обстоятельство могло вызвать подозрения, ему могло быть выгоднее, чтобы его состояние приписывали ловким валютным спекуляциям, которые в конечном счете ни русским не вредили, ни французам не помогали.

¹⁹⁷ Kohl, J.G. Reisen im Inneren von Russland und Polen. Dresden; Leipzig, 1841. Bd. 2. S. 170.

¹⁹⁸ Волконский, Петр. У французов в Московском плену 1812 года // Русский архив. 1905. № 11. С. 351–359, здесь: 359; Щукин, П.И., ред. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, 10 томов. М., 1897–1908. Т. 5. С. 132–133.

ГЛАВА 4

Мечта сбылась: Москва, 1812–1821

Розенштраух быстро восстановил свое дело и занял видное место в московской немецкой общине. В послевоенные годы он наконец обрел достаток и положение в обществе, к которым так долго стремился.

Семейная жизнь

Де-юре наш герой по-прежнему числился купцом в Санкт-Петербурге¹⁹⁹, но и свой магазин, и семью он перевез в Москву. Дочь Вильгельмина проживала с ним уже в 1812 году, а теперь к ним присоединились и старшие дети: Вильгельм и Елизавета. 27 марта 1814 года в списке прихожан, бывших у святого причастия в лютеранской церкви Св. Михаила, рядом с именем отца впервые появляется имя Елизаветы. Вильгельм (по-русски его звали Василием Ивановичем) прибыл чуть позднее, весной или летом того же года, что очевидно из подписанной им ревизской сказки от 30 декабря 1815 года: «З гильдии купец Василий Иванов Розенштраух 23 года; — у него жена Софья Фомина 21 год; прибыл в купечество 1814 г. августа 21 дня, бывший голланд-

¹⁹⁹ Его имя отсутствует в списке московских купцов по седьмой ревизии (1815 г.): Материалы для истории Московского купечества / Сост. Н.А. Найденов. М., 1887. Т. 6. Документ, составленный в январе 1820 года, называет его санкт-петербургским купцом второй гильдии: ЦИАМ. Ф. 2099. Оп. 1. Д. 40 («Книга № 2 для записи протоколов заседаний церковного совета»). Л. 53 об., протокол от 13 января 1820 года.

ский подданный (в Голландии он родился. — А.М.); жительство имеет Мясницкой части в приходе Введения, что на Лубянке, в доме господина Демидова; торг галантерейным товаром»²⁰⁰.

К 1815–1816 годам и Вильгельм, и Елизавета уже состояли в браке. Это позволило семье Розенштраух еще прочнее укорениться в московской инородческой диаспоре и окончательно забыть о том, что когда-то они были детьми актера без рода и племени.

Вильгельм женился на Софье Фоминичне Гудчайльд (*Goodchild*) (1794–1851)²⁰¹. Ее девичья фамилия кажется английской, но, судя по дошедшим до нас отрывочным данным, к моменту рождения Софьи семья уже обруслена и одновременно онеметчилась. Родители невесты пользовались уважением в обществе, невзирая на то что большого состояния они не имели и сколь-нибудь выдающегося положения не занимали. Брат Софьи был армейским офицером; в 1822 году Софья и Вильгельм получили от него письмо (обратный адрес на котором гласил: «Смоленской Губернии в городе Дорогобуж Гренадерского Его Величества Короля Пруссского полка юнкеру Ивану Фомичу Гудчайльду») с неотложной просьбой прислать денег. Письмо написано довольно нескладно, но, судя по всему, русский все же был родным языком автора: малообразованность и денежные затруднения были весьма характерны для российского младшего офицерства, типичным представителем которого был Иван Гудчайльд²⁰². Впоследствии Иван дослужился до звания майора, а может, и выше²⁰³. В письме Иван упоминает еще одну свою сестру, Лизиньку, очевидно Елизавету Фоминичну Гудчайльд (1792–1858)²⁰⁴. Лизинька вышла замуж за человека по фамилии Вагнер, о котором у нас, похоже, нет никаких документальных данных, зато их дочь Елизавета Васильевна Вагнер (1809–1844) вошла в историю как

²⁰⁰ Материалы для истории Московского купечества. Т. 6. С. 257. (Некоторые из слов в этой цитате в оригинале написаны в сокращенном виде.)

²⁰¹ Erik-Amburger-Datenbank Ausländer im vorrevolutionären Russland. Datensatz 83021. <<http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?mode=0>>, последнее посещение 24.06.2013.

²⁰² НИОР РГБ. Ф. 147. № 341.12 («Иван Фомич Гудчайльд к Вас. Ив. и Софье Ив. Розенштраух. Дорогобуж 26. I. 1822»).

²⁰³ Erik-Amburger-Datenbank Ausländer im vorrevolutionären Russland. Datensatz 83020. <<http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?mode=0>>, последнее посещение 24.06.2013.

²⁰⁴ Фотографию ее надгробия можно увидеть по адресу <<http://vvedenskoe.pogost.info/displayimage.php?album=23&pos=702>>, последнее посещение 24.06.2013. Ее личный фонд: <http://www.rusarchives.ru/guide/lf_ussr/vav_vej.shtml>

супруга Михаила Петровича Погодина²⁰⁵. Погодин со временем стал одной из ярких звезд на российском интеллектуальном небосклоне, но на момент свадьбы в 1833 году особо выгодной партией он не казался: этот бывший крепостной был вольноотпущенником и все еще служил простым адъюнктом в Московском университете. Погодин, кажется, считал свою тещу типичной немкой — человеком честным, но эмоционально черствым, исполняющим в российском обществе важные, но по сути своей второстепенные функции. В письме Николаю Васильевичу Гоголю он приписывал ей те же особенности характера, какие выказывала гувернантка его детей, «русская немка, порядочная женщина, но сухая <...> Следовательно, голоса кротости, любви им (гувернантке и теще. — А.М.) недостает»²⁰⁶. Через Погодина Елизавета Фоминична познакомилась с Гоголем. Она ухаживала за ним во время его последней болезни и была рядом в момент его смерти в 1852 году²⁰⁷.

Дочь Розенштрауха Елизавета тоже вышла замуж вскоре по приезде в Москву. Ее муж Георг Филипп Дитрих Герхард Кинен (1784–1862), также известный как Егор Филиппович, в каком-то смысле был ее земляком: она родилась в Касселе, а он в расположеннном неподалеку Фельзберге²⁰⁸. Кинен и Розенштраух вполне могли быть коллегами по масонству еще с санкт-петербургских времен: купец по имени Георг Кинен числится в списке членов ложи Пеликаны²⁰⁹. В январе 1814 года Кинен зарегистрировался в московском купечестве²¹⁰, а в 1816 году женился на Елизавете. Кинен явно был успешным предпринимателем: он принадлежал ко второй купеческой гильдии, а когда в 1818 году в Москве было учреждено прусское консульство, именно он стал консулом²¹¹. Елизавета скончалась в январе 1823 года, вскоре после рождения сына.

²⁰⁵ Барсуков, Николай. Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1891. Т. 4. С. 129–133.

²⁰⁶ Гоголь, Н.В. Переписка: В 2 томах. М., 1988. Т. 1. С. 423. <<http://feb-web.ru/fab/gogol/texts/pg1/pg1-423-.htm>>, последнее посещение 25. 06.2013.

²⁰⁷ Воропаев, В.А. Кончина Гоголя: Некрологическая статья М.П. Погодина с пометами графа А.П. Толстого, С.П. Шевырева и А.С. Хомякова // Проблемы исторической поэтики. 2005. Вып. 7. С. 246–257, здесь: 251. <<http://philolog.petrus.ru/filolog/konf/2005/18-voropaev.htm>>, последнее посещение 25.06.2013.

²⁰⁸ Erik-Amburger-Datenbank Ausländer im vorrevolutionären Russland. Datensatz 26770. <<http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?mode=0>>, последнее посещение 25.06.2013.

²⁰⁹ Серков. Русское масонство. С. 391.

²¹⁰ Материалы для истории Московского купечества. Т. 6. С. 154.

²¹¹ О Кинене см.: Amburger, E. Die Konsulate der Freien Stadt Frankfurt, Kurhessens, Hessen-Darmstadts und Nassaus im Russischen Reich // Festschrift für Heinz F. Friedrichs / Ed. G. Geßner. Neustadt/Aisch. 1980. S. 17.

В отличие от своих детей сам Розенштраух больше не женился. Возможно, его предыдущий брак так и не был расторгнут формально. В 1816 году ему было всего сорок восемь лет и он был зажиточным и обаятельным человеком, заинтересованным в достижении респектабельного положения в обществе. Повторный брак был бы ему в этом весьма полезен, и похоже, в его окружении не было недостатка в потенциальных невестах: списки прихожан, причащавшихся в его лютеранской церкви в 1816 году, насчитывают, помимо 305 мужчин, 312 женщин, 153 из которых были незамужними девицами или вдовами²¹².

Церковь Св. Михаила

Помимо предпринимательства и поисков удачных брачных партий для детей, Розенштраух активно занимался делами своей церкви. Для немцев, так же как и для других этнических меньшинств, церкви были важными институтами, сплачивавшими вокруг себя всю общину. Розенштраух мог выбрать любую из двух немецких лютеранских церквей. Так называемая Старая община при церкви Св. Михаила была основана еще при Иване Грозном; Новая община, при церкви Св. Петра и Павла, образовалась в 1626 году²¹³. Обе общины располагались в Немецкой слободе, в непосредственной близости друг от друга и от дома, который Розенштраух купил себе к северо-востоку от нынешней Комсомольской площади²¹⁴. Церковь Св. Петра и Павла в 1812 году сгорела и вновь открылась только в 1819 году — в новом здании близ Маросейки. Розенштраух вступил в приход церкви Св. Михаила.

Как и все, что касалось московской немецкой диаспоры, община церкви Св. Михаила была маленькой, очень немногочисленной по сравнению с крупными приходами Санкт-Петербурга, что позволило Розенштрауху занять в ней гораздо более заметное место. По приблизительным подсчетам должностных лиц церкви Св. Петра

²¹² Все ссылки на причастные и конфирмационные списки церкви Св. Михаила относятся к одному документу: ЦИАМ. Ф. 2099. Оп. 2. Д. 16.

²¹³ Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 443, 493.

²¹⁴ Он упоминает этот дом в письме: НИОР РГБ. Ф. 147 (Собрание Ланского-Ешевского). № 341.11. Л. 60 («Johannes Ambrosius Rosenstrauch сыну и дочери». Одесса 21.05. 1821). Адрес дома: Мещанская часть, 4-й квартал, дом 672, переулок Большой Проезжий 1-й. См. «План Мещанской части» в: Хотев А. Атлас столичного города Москвы. М., 1852–1853; Нистрем К. Московский адрес-календарь, для жителей Москвы, составлен по официальным документам и сведениям, в 4 томах. М., 1842. Т. 3. С. 237.

на Невском проспекте, рядом с санкт-петербургским домом Розенштрауха, их приход насчитывал около восьми-девяти тысяч человек обоего полу²¹⁵. Для сравнения: в период между 1814 и 1821 годами в церкви Св. Михаила в Москве ежегодно причащалось всего от 458 до 699 человек.

Демографический состав прихода был типичен для российских городских немецких общин. Когда в январе 1822 года в церкви Св. Михаила состоялись выборы нового пастора, представители церковного совета занесли в протокол социальное положение 214 из 333 избирателей обоего полу: 76 человек, или 35,51%, были личными или потомственными дворянами (чиновниками, офицерами или титулованной знатью); 85 человек, или 39,7%, были предпринимателями (купцами, фабрикантами или ремесленниками); и 53 человека, или 24,76%, работали в областях, требовавших специального образования (в основном в медицине, фармацевтике и образовании). Никто из 214 человек, чей социальный статус нам известен, не был домашней прислугой или чернорабочим и не занимался каким-либо другим малопrestижным делом. Среди прихожан было несколько высокопоставленных особ, но большинство скорее относилось к мелкой буржуазии. Из 85 предпринимателей купцами было всего 19 человек; остальные были кузнецами, плотниками, портными, садовниками, сапожниками, пекарями, перчаточниками и тому подобным. В дворянской среде наблюдалась схожая картина: среди 27 дворян, бывших военными офицерами (или их женами или вдовами), насчитывалось пять генералов, пять полковников и подполковников и целых 17 майоров, капитанов и лейтенантов²¹⁶.

Многие прихожане давно прижились в России, особенно в Москве, но также и в остзейских губерниях и Санкт-Петербурге. Это вытекает из записей о месте рождения 279 юношей и девушек в возрасте от 13 до 18 лет, получивших конфирмацию в церкви Св. Михаила в 1814–1821 годах. Место рождения девяты из них неясно или не было записано при конфирмации. Что же до остальных, 171 человек (63,33%) родился в Москве, 38 человек (14,07%) в остзейских губерниях, 24 (8,8%) в Санкт-Петербурге или его окрестностях и 15 (5,55%)

²¹⁵ Центральный Государственный Исторический Архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.). Ф. 708. Оп. 1. Д. 60 («Протоколы и акты церковного совета»). Л. 190.

²¹⁶ ЦИАМ. Ф. 2099. Оп. 1. Д. 40. Л. 120–126 об. Женщины голосовали в том случае, если они были не замужем, вдовы или их мужья не принадлежали к приходской общине: *Fechner. Chronik.* Bd. 2. S. 116.

где-то еще по России. Только 22 человека (8,14%) родились за границей, в основном на севере Германии.

Приходская община состояла почти исключительно из немцев, но не была совершенно отрезана от российского общества. Некоторые из прихожан, такие как полицеймейстер Адам Фомич Брокер, были важными фигурами в московском обществе. Немки тоже иногда выходили замуж за русских, но продолжали посещать лютеранскую церковь, несмотря на то что их мужья и дети, скорее всего, были православными. В качестве примеров можно назвать графиню Мусину-Пушкину, урожденную Вартенслебен, и княгиню Оболенскую, урожденную Штакельберг. Супруга Михаила Трофимовича Каченовского, издателя «Вестника Европы», была прихожанкой церкви Св. Михаила, как и вдова Харитона Андреевича Чеботарева, бывшего ректора Московского университета. Судя по именам, встречающимся в приходской метрической книге, ситуация, при которой немка выходила замуж за русского, но не оставляла лютеранство, случалась преимущественно в дворянской среде. В низших социальных слоях присутствие русских было гораздо заметнее. Многие перечисленные в списках причащавшихся были солдатами, полицейскими или пожарными, явившимися к причастию в составе больших групп. Например, 8 апреля 1816 года причастилось более 100 человек; за исключением четырех женщин, всех, чьи имена стоят в списке под номерами от 446 до 550 — то есть одну треть от общего количества прихожан мужского пола, причаствовавшихся в данном году (305), — писец определил как служащих одной и той же полицейской части. Большинство из них носило русские имена (Иван Иванов, Григорий Григорьев). Непонятно, были ли они лютеранами с русифицированными именами или людьми иного вероисповедания, откомандированными в эту церковь из соображений удобства. Так или иначе, складывается впечатление, что их пригнали в церковь старшие по рангу и что вряд ли они были органичной частью прихода.

Лютеранские церкви в Российской империи обладали некоторым подобием демократического самоуправления. Пастора избирала община. У церкви также был церковный совет, состоявший из председателя и нескольких старейшин-мирян. Совет управлял делами общины. Председательствовали советом обычно высокопоставленные лица. Что же до старейшин, то их избирали посредством кооптации на неопределенный срок в несколько лет²¹⁷. Три основные категории прихожан были в примерно одинаковом соотношении представлены в совете людьми

²¹⁷ Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 530.

высокопоставленными и заслуженными: возможно, неполный список старейшин, входивших в совет между 1813 и 1820 годами, включает шестерых чиновников (двоих коллежских советников, двоих статских советников, двоих надворных советников), пятерых ученых мужей (двоих профессоров, врача и двоих фармацевтов) и шестерых купцов²¹⁸.

Иммигранты из самой Германии, как Розенштраух, были в приходе в меньшинстве, однако прибытие в Москву через Санкт-Петербург было довольно типичным случаем для его сограждан: две трети приезжих, конфирмованных в церкви Св. Михаила, были выходцами из окрестностей Санкт-Петербурга или Остзейских губерний — двух регионов России с наиболее плотным немецким населением и тесными связями с Западом. Принадлежность ко второй купеческой гильдии наделяла нашего героя более высоким социальным статусом, чем у других купцов в общине, не говоря уже о ремесленниках. Вероятно также, что он был состоятельнее большинства прихожан. Впрочем, деньги были не единственным мерилом статуса. В глазах знати он, вероятно, был «всего лишь» купцом, а доктора, аптекари, преподаватели и другие образованные люди, возможно, не одобряли отсутствия у него университетского образования. За исключением капельмейстера, в списке избирателей за 1822 год нет ни одного человека, связанного с театром или искусством; в этой среде актерское прошлое Розенштрауха вряд ли бы вызвало понимание.

Церковная община обладала важными свойствами, которые, вероятно, и привлекали Розенштрауха. Ее целью была жизнь духа. Она поддерживала существование немецкой культуры. Наконец, община была одним из немногих мест в Российской империи, где люди без выдающейся родословной, покровительства знати или служебного титула имели возможность заняться общественной деятельностью. Другим институтом, подпадающим под это описание, было масонство, также занимавшее важное место в жизни Розенштрауха во время его пребывания в Москве.

Франкмасонство

В августе либо 1816 либо 1817 года император Александр I посетил Москву. Будущий декабрист барон Владимир Иванович Штейнгель, адъютант московского военного генерал-губернатора, позже писал,

²¹⁸ Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 532.

что этот визит был отмечен «некоторыми случаями достойными особого внимания». Первый был таков:

Некто, содержатель косметического магазина Розенштраух, после бывший в Одессе лютеранским пастором, очень уважаемым, тотчас по приезде государя подал просьбу военному генерал-губернатору о дозволении ознаменовать 30-е августа открытием масонской ложи. По докладе об этом, государь изволил отозваться: «Я формально позволения на это не даю. У меня в Петербурге на это смотрят так (государь взглянул сквозь пальцы). Впрочем, опыт удостоверил, что тут зла никакого нет. Это совершенно от вас зависит». И ложа была открыта под фирмою «Тройственный рог изобилия» (из трех рогов составлялась буква А)²¹⁹.

События, описываемые Штейнгелем, знаменуют начало четвертой, и последней, стадии масонской карьеры Розенштрауха. Он вступил в масоны в Голландии в 1792 году, возобновил членство в ложе в Мекленбурге в 1801–1804 годах и начиная с 1806 года состоял в санкт-петербургских ложах. Не считая Остзейских губерний, Санкт-Петербург был основным местом пребывания российских немцев, и, впервые отправившись в Москву в 1811 году, Розенштраух продолжал поддерживать тесные связи с жителями Северной столицы, в том числе со своими собратьями по масонской ложе²²⁰. Однако после 1812 года он болееочно обосновался в Москве. С одной стороны, он окончательно перевез в Москву всю семью, с другой — он учредил там масонскую ложу.

Устроение новой ложи не исчерпывалось вербовкой новых членов и арендой места для собраний. Считалось, что масонство — непосредственное продолжение еще средневековых и даже античных организаций и учений. Для создания себе репутации новая ложа должна была обеспечить преемственность масонской традиции за счет связей с уже существующими ложами. Кроме того, секретные общества какого бы то ни было толка нервировали власти предержащие: стремясь к контролю, государство поручало отдельным ложам руководство над

²¹⁹ Штейнгель, В.И. Сочинения и письма в 2 томах. Иркутск, 1985–1992. Т. 1. С. 119. (Орфография оригинала. — А.М.)

²²⁰ НИОР РГБ. Ф. 147. Картон 349. Ед. хр. 33 и 34 («Розенштраух. Диплом от Капитула и Директориального совета российских лож на звание брата Храма Соломона (*frère intime de Salomon*). 1815 февраля. СПб»).

всеми остальными. Ввиду этих обстоятельств для основания новой ложи требовалось заручиться как позволением властей, так и одобрением (хартией, или конституцией) «великой» ложи. Ложа Розенштрауха получила конституцию от Директориальной ложи Астрея в Санкт-Петербурге. Даря ее, должностные лица Астреи объясняли, что ожидают от новой ложи «послушания и в особенности точнейшего и вернейшего отчета в работах и доставлении всех законных донесений, дабы Великая Ложа могла в полной мере исполнить возложенную на ее (sic) Высшим Правительством за все, подведомственные оной, ложи ответственности»²²¹.

Семь человек, ходатайствовавших перед Астреей о даровании им конституции, а впоследствии занявших в новой ложе большую долю ответственных должностей, представляли собой высший слой немецкого среднего класса Москвы. Среди них не было дворян, государственных служащих, военных чинов или мастеровых. Розенштраух и его сын Вильгельм были петербургскими купцами; Иоганн Петер Шиллинг — купцом из Риги. Вильгельм Трёйтер и Л.В. Бреме были врачами. Леопольд Чермак служил театральным художником-декоратором, а Карл Водарг учителем²²². Чермак и Шиллинг дружили с Розенштраухом и упоминаются в его воспоминаниях о 1812 году. Шиллинг состоял в церковном совете церкви Св. Михаила, и, когда он умер, его место в совете было отдано Розенштрауху, который и служил там вместе с Трёйтером. К 1819 году одним из чиновников ложи стал Юстус Христиан Лодер, еще один врач: он председательствовал в совете церкви Св. Михаила, а позже стал коммерческим партнером Вильгельма Розенштрауха. Таким образом, членство в масонской ложе было частью более крупной системы связей между влиятельными представителями немецкой общины.

Хронология учреждения ложи не слишком ясна. По свидетельству Штейнгеля, император даровал позволение на это во время своего визита в Москву в августе 1816 года. Этому противоречит письмо Розенштрауха без даты, согласно которому император разрешил основание ложи в августе 1817 года²²³. (Источники расходятся в том,

²²¹ НИОР РГБ. Ф. 147. Картон 349. Ед. хр. 36 («Учредительная грамота на открытие в Москве ложи Александра к тройственному здравию, союза лож Астреи»).

²²² О Чермаке см. также сноску с. 102.

²²³ ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Ед. хр. 494. Л. 4. Письмо без даты. На письме пометка, предположительно рукой Баратаева: «отвечено 3 февраля 1818».

находился ли Александр I в Москве в августе 1817 года²²⁴.) Штейнгель вспоминает, что ложа должна была называться Тройственный рог изобилия. На деле вновь учрежденная ложа носила похожее, но не идентичное название: Александра к тройственному спасению. Так же, как и ложа Розенштрауха в Санкт-Петербурге, именовавшаяся ложей Александра благотворительности к коронованному Пеликану, новая организация явно была названа в честь царя. Согласно недатированному тексту речи, произнесенной на одном из заседаний, учредители впервые заговорили об основании новой ложи только в ноябре 1816 года²²⁵, но документ из ложи Астрея свидетельствует, что великая ложа одобрила открытие нового филиала уже 11 ноября 1816 года²²⁶. Как бы там ни было, официально ложа обрела свою конституцию на тезоименитство царя, 30 августа 1817 года, а ее первое собрание состоялось 15 сентября 1817 года²²⁷.

Делами ложи в какой-то мере заправлял тесный круг лиц, отличный от самой ложи и состоявший из Розенштрауха и его товарищей. Чтобы понять, как этот кружок функционировал, нам понадобится краткий экскурс в историю масонских степеней.

Франкмасоны верили, что ложи были преемницами секретных организаций, существовавших веками и посвященных в великие философские или моральные тайны. Масон продвигался от одной степени к другой по мере того, как росло его понимание этих тайн. Тремя Иоанновскими степенями, или градусами, признаваемыми во всех ложах по всему миру, были ученик, подмастерье и мастер, но некоторые масоны стремились к так называемым «высшим» степеням, которые еще больше приблизили бы их к великой мистерии. Важно было, чтобы степени и ритуалы посвящения в них в точности соответствовали существовавшим в более ранних организациях, на базе коих,

²²⁴ Существует письмо Александра I королю Пруссии, писанное в Москве, 30 августа 1817 года: *Bailleu, Pierre, ed. Correspondance inédite du Roi Frédéric-Guillaume III et de la Reine Louise avec l'Empereur Alexandre Ier. Leipzig; Paris, 1900.* P. 289. Однако статс-секретарь В.Р. Марченко пишет, что 26 августа 1817 года он отправился с императором из Санкт-Петербурга в Белоруссию и Украину и что в Москву они прибыли только 1 октября: *Михайловский, М.Г. Государственный совет Российской империи. Государственные секретари. В.Р. Марченко // Вестник Совета Федерации. 2007. № 8. С. 72–80*, здесь: 76.

²²⁵ НИОР РГБ. Ф. 147. №. 340 («Протоколы заседаний, списки членов, речи — в ложе Александра к тройственному спасению в Москве. 1817–1821»). Л. 153 об.

²²⁶ Там же. 147. Картон 349. Ед. хр. 36.

²²⁷ Там же. № 340. Л. 90.

как считалось, впоследствии развилось собственно франкмасонство. В XVIII веке это привело к появлению немалого числа так называемых уставов, каждый из которых предусматривал свои собственные высшие степени и пропагандировал собственные идеи об истоках масонства. Замысловатость исторических теорий, излагаемых разными уставами, и окружавшая высшие степени аура тайны нередко приводили посторонних наблюдателей к убеждению, что рядовые масоны были легковерными глупцами, а их лидеры либо шарлатанами, либо опасными заговорщиками. Например, В.И. Штейнгель отклонил предложение Розенштрауха присоединиться к ложе Александра к тройственному спасению потому, что, как он свидетельствовал во время расследования восстания декабристов, считал, что масоны «разделялись на два рода: на людей обманывающих и на людей обманываемых», а также потому, что «находил, что давать клятву на исполнение правил неизвестных и притом подвергать себя испытаниям, похожим на шуточные, противно человеку здравомыслящему»²²⁸.

В Германии в 1770-х годах преобладал Устав строгого наблюдения. Масонский съезд на высшем уровне, прошедший в Вильгельмсбаде в 1782 году, пытался реформировать «строгое наблюдение», например отказавшись от утверждений о происхождении масонства от средневекового ордена рыцарей-храмовников. Одним из результатов Вильгельмсбадского конвента был Исправленный шотландский устав, или Благодетельные Рыцари Святого Града: устав, признававший различные высшие степени масонства²²⁹. Основанная Розенштраухом ложа Александра к тройственному спасению придерживалась именно этого устава.

Розенштраух, сам имевший высшие масонские степени²³⁰, лелеял амбициозные планы на встраивание своей новой ложи в структуру Исправленного шотландского устава. 1 мая 1818 года, то есть спустя восемь месяцев по прошествии учреждения ложи, он встретился с тремя другими носителями высших масонских степеней. Это были статский советник Иоганн Христиан Андреас Хайм, врач Филипп Фридрих Пфелер и пастор Карл Август Бёттигер. Участники совещания приняли официальную резолюцию — «восстановить исчезнувший капитал 8-й провинции ордена Благодетельных Рыцарей Святого Града в

²²⁸ Восстание декабристов. / Под ред. М.В. Нечкиной. М., 1976. Т. 14. С. 162.

²²⁹ Allgemeines Handbuch der Freimaurerei. 2 Bände. Leipzig, 1900–1901. Bd. 1. S. 569.

²³⁰ У него был ранг шотландского мастера и брата-избранника Храма Соломона; НИОР РГБ. Ф. 147. Картон 349. Ед. хр. 32, 34.

Востоке города Москвы»²³¹. Согласно Исправленному шотландскому уставу, Европа была поделена на девять провинций, каждая из которых управлялась капитулом. Россия относилась к восьмой провинции²³². Основание капитула в Москве наделяло Розенштрауха и его друзей высоким авторитетом в масонских кругах южной столицы. Капитул затем проголосовал за то, чтобы чиновники ложи Александра к тройственному спасению имели право на награждение высшими масонскими степенями²³³. Поскольку ложа Александра работала только с системой Иоанновских градусов, для чиновников была устроена новая — Андреевская — ложа, допускающая более высокие степени. Назвали ее ложей Горы Фавор²³⁴.

В результате был заложен фундамент для трехчастной масонской иерархии. В самом низу находилась ложа Александра к тройственному спасению. На должности чиновников этой ложи ежегодно переизбирали одну и ту же группу лиц, хотя иногда они менялись местами. Выше ее находилась средняя ложа, Горы Фавор. Состав этой ложи практически совпадал с составом должностных лиц ложи Александра к тройственному спасению. На самом верху пирамиды находился капитул Благодетельных Рыцарей. Розенштраух служил председателем всех трех организаций. Среди тех, кто принадлежал либо к ложе Горы Фавор, либо к капитулу, либо к обоим одновременно, были люди, занявшие значимое место и в других сферах жизни Розенштрауха: его сын Вильгельм, ставший чиновником ложи несмотря на свой юный возраст; друг Розенштрауха Чермак; врачи Трёйттер и Лодер, позже сотрудничавшие с нашим героем в церковном совете; и пастор Бёттигер, с чьей помощью Розенштраух впоследствии переехал в Одессу и стал пастором. Работа этих трех масонских организаций, в частности ложи Александра к тройственному спасению, поддается восстановлению благодаря обилию дошедшей до нас документации: соответствующее дело в Российской государственной библиотеке содержит 229 листов, многие из которых представляют собой протоколы собраний или речи, написанные рукой Розенштрауха²³⁵.

Масонские обязанности Розенштрауха требовали от него серьезной отдачи. Особенно яркий свет документы проливают на его активное участие в заседаниях ложи Александра к тройственному спасению.

²³¹ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 1.

²³² Allgemeines Handbuch der Freimaurerei. Bd. 1. S. 569; Bd. 2. S. 452.

²³³ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 20 об.

²³⁴ Серков. Русское масонство. С. 1026.

²³⁵ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340.

сению: несмотря на огромное количество подобных встреч, почти на каждой из них Розенштраух выступал с речью. Большая часть совещаний проходила на немецком языке; на нескольких собраниях, созванных отдельными группами должностных лиц, говорили по-русски или по-французски. Заседания обычно посвящались ритуалам приема новичков или продвижения существующих членов на более высокие степени (это называлось ложами принятий и ложами производств) и включали доклады по теории масонства, с которыми выступал Розенштраух, а иногда и другие члены ложи, в основном из числа должностных лиц. Документы, относящиеся к периоду с 15 сентября 1817 года по 20 марта 1820 года, показывают, что за 918 дней было проведено 181 заседание, то есть ложа собиралась в среднем примерно каждые пять дней. Розенштраух выступал с одной или несколькими речами или лекциями на 145 из этих заседаний, то есть примерно каждые шесть дней²³⁶. Судя по сохранившимся рукописям, речи нашего героя могли занимать от 10–15 до 40–50 минут.

Расписание Розенштрауха в октябре 1819 года дает представление о типичном ритме жизни нашего героя. В среду 1 октября состоялось собрание ложи Горы Фавор, где был принят в члены купец Филипп Ланг, а Розенштраух выступил с «подробным и поучительным пояснением аллегорического и символического в первом Иоанновском градусе»²³⁷. Все остальные заседания в этом месяце, о которых у нас есть документальные свидетельства, проходили в ложе Александра к тройственному спасению. В субботу 4 октября в ложу в чине ученика был принят торговец мебелью по имени Фридрих Бюк (Бек), и Розенштраух говорил «о братской любви», «отцовской любви и следовании свету». В среду 8 октября мастером масоном стал химик Георг Бауэр; Розенштраух провел беседу «О воспитании духа». Неделей позже, в среду 15 октября, трое учеников — купец Иоганн Иоахим Краузе, лейтенант Владимир Демидов и учитель Иоганн Георге — были произведены в ранг подмастерьев, и Розенштраух поделился своими размышлениями «О путешествующих подмастерьях». Спустя еще три дня, в субботу 18-го числа, в ложу в звании ученика вступил капитан Александр Май, в связи с чем Розенштраух обсудил «Самопознание и масонское поручительство». По прошествии полутора недель, в среду 29 октября, мастером масоном стал купец Иоганн Цинн, а Розенштраух произнес речь о «Бессмертии души» и

²³⁶ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 89–91, 94.

²³⁷ Там же. Л. 9 об.

«Похвалу его (скорее всего, Цинна. — А.М.) масонской деятельности». Можно предположить, что в октябре не обошлось и без совещания должностных лиц ложи Александра к троиценному спасению. Еще на двух встречах — субботних образовательных ложах для учеников — Розенштраух не выступал. Одна из них, 11 октября, проводилась на русском языке, другая — 25 октября — по-французски. На обоих языках Розенштраух изъяснялся с трудом²³⁸.

Собрания членов ложи посвящались не только делам. Масонский календарь включал столовые ложи: они отмечали важные события в жизни ложи и масонства в целом и демонстрировали преданность масонов династии Романовых. Ложа Розенштрауха приурочивала подобные банкеты к празднику Ивана Купалы (24 июня), тезоименитству императора (30 августа), годовщине основания ложи (15 сентября), дню рождения государя (15 декабря), Новому году (31 декабря), и годовщине восхождения государя на престол (12 марта).

Еще одним важным направлением деятельности ложи была благотворительность. Некоторое представление о ней можно получить из доклада Фридриха Вильгельма Ройssa о деятельности ложи в 1818–1819 годах²³⁹ (масонский год начинался и заканчивался Ивановым днем 24 июня). Документ этот представляет собой черновик доклада, и перечисленные в нем суммы иногда противоречивы или плохо поддаются пониманию. Похоже, несколько тысяч рублей были разданы непосредственно нуждающимся. Другие суммы направлялись в пользу различных проектов под руководством членов ложи, в частности школ. Целью франкмасонства была, выражаясь расхожей масонской метафорой, «работа над диким камнем», то есть улучшение природы человеческой, и открытие школ было логическим продолжением этого проекта. В июне 1818 года Бёттигер был назначен лютеранским суперинтендентом Новороссии — района, в котором проживало много немецких колонистов; ложа поддержала его работу, снабдив его суммами в 220 рублей на возведение церкви в колонии Мариendorf и в 325 рублей на постройку школы в Одессе. Еще 147 рублей были направлены в ланкастерскую школу в Санкт-Петербурге.

Львиная доля пожертвований — свыше 9600 рублей — пошла на то, чтобы помочь Чермаку открыть частный пансион. Чермак, часто упоминающийся в воспоминаниях Розенштрауха о 1812 году, был театральным художником родом из Праги. До своего переезда

²³⁸ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 89.

²³⁹ Там же. Л. 181–191 об.

в Санкт-Петербург, а затем в Москву, то есть до 1811 года, он работал в театре Кёнигсберга. После войны он вернулся было в Кёнигсберг, но заработать там себе на жизнь ему не удалось, и он опять приехал в Москву²⁴⁰. На момент основания ложи в 1817 году он по-прежнему числился в списках как художник-декоратор²⁴¹, но в конце концов явно решил, что содержание пансиона — довольно распространенное среди европейских иммигрантов занятие — гарантировало большую стабильность. Поддержка этого пансиона стала основным направлением благотворительной деятельности ложи. Если верить Ройссу, пансион Чермака обеспечивал образование, основанное на идеалах масонства, сыновьям членов ложи и восьми неимущим мальчикам (четверым немцам и четырем русским), чье обучение и проживание оплачивала ложа. Пансион снискал успех и просуществовал до 1840-х годов; одним из его воспитанников был Федор Михайлович Достоевский²⁴².

²⁴⁰ Леопольд (Леонтий Иванович) Чермак (*Czermack*). Бывший горшечник, он учился живописи в Академии художеств в Вене, а также играл на кларнете. Жена его была певицей и актрисой. Чермак находился в Вене в период национальной оккупации в мае—ноябре 1809 г. Согласно неуказанному источнику, «местные жители избрали его начальником добровольной стражи района», а французы арестовали за то, что он вступил за крестьянку, к которой приставали французские солдаты (*Абрамов, Всеволод*. Воспитатели братьев Достоевских // Санкт-Петербургские ведомости. 2012 г. 13 января. Вып. 4. <http://www.spbvedomosti.ru/print.htm?id=10284274@SV_Articles>, последнее посещение 13.09.2013). В декабре 1809 года Чермак служил кларнетистом и художником-декоратором в Кенигсберге. В 1811 году он стал художником-декоратором в Санкт-Петербурге, затем в Москве. После 1812 года он вернулся в Кенигсберг, однако уже до наступления 1816 года снова приехал в Москву, где в 1818 или 1819 году открыл пансион (*Hagen, A. Geschichte des Theaters in Preußen (Fortsetzung)* // *Preußische Provinzial-Blätter. Januar-Juni 1854.* S. 388–472, здесь 446–447; *Roß, Erhard. Geschichte des Königsberger Theaters von 1811 bis 1834. Königsberg i. Pr.; Köslin*, 1935; НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 89, 90).

²⁴¹ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 90.

²⁴² Ф.М. Достоевский, как и его братья Михаил и Андрей, воспитывался в пансионе Чермака на ул. Новая Басманная в конце 1830-х годов. Андрей Достоевский вспоминал: «Подбор хороших преподавателей и строгое наблюдение за исправным и своевременным приходом их, и в то же время — присутствие характера семейственности, напоминающего детям хотя отчасти их дом и домашнюю жизнь, — вот, по-моему, идеал закрытого воспитательного заведения. Пансион Л.И. Чермака был близок к этому идеалу. <....> Сам Л.И., человек уже преклонных лет, был мало или совсем не образован, но имел тот тakt, которого часто не достает и директорам казенных учебных заведений. <....> Но, главное, наш старик был человек с душою. Он входил сам в мельчайшие подробности нужд вверенных ему детей, в особенности тех, у которых не было в Москве родителей или родственников и которые жили у него безвыходно. <....>

Судя по примерам Бёттигера и Чермака, ложи поддерживали начинания своих собратьев в том, что масоны называли «профанным» миром. Ождалось, что в обмен на это масоны применяют свои знания и умения на пользу ложи. Моральные наставления и ритуальные церемонии составляли основу собраний ложи и тем самым напоминали одновременно и церковь, и театр. Неслучайно до своего отъезда в Одессу пастор Бёттигер выступал на заседаниях ложи чаще других. Чермак как театральный художник приложил усилия к тому, чтобы помещение ложи выглядело подобающе внушительно. В одном недатированном документе Розенштраух превозносил его «замечательное усердие в украшении ложи»²⁴³. Этот документ также предоставляет уникальную возможность оценить роль масонских жен в этом, в общем-то, исключительно мужском кругу: ответственные лица ложи выражали свою благодарность «его благородной супруге нашей сестре фрау Чермак, которая изготовила безвозмездно все одеяния, и даже все относившееся к украшению, жертвуя своим ночным отдыхом, и несмотря на ее обязанности матери и домохозяйки»²⁴⁴.

Розенштраух был трудолюбивым и амбициозным масоном. Он достиг высших степеней и возглавил иерархическую пирамиду, образованную ложей Горы Фавор и капитулом Благодетельных рыцарей. Наш герой посвящал своей масонской работе невероятное количество времени и усилий, стремился к лидерству и ожидал от коллег по ложе признания своего авторитета.

Доклады и речи Розенштрауха обнаруживают явное родство взглядов их автора с духом немецкого Просвещения. Немецкими государствами управляли короли и знать, поэтому стремление просветителей буржуазного происхождения к общественному лидерству по неволе умерялось их реальным политическим бессилием и подчиненным социальным положением. Им также приходилось мириться с тем фактом, что попытки Французской революции трансформировать государство сверху вниз увенчались явным провалом. В ответ на это

Я слышал впоследствии, что Л.И. Чермак в конце 40-х годов принужден был закрыть свой пансион и умер в большой бедности. Ежели рассматривать это обстоятельство с коммерческой точки зрения, то Чермака нельзя отнести ни к неосторожным, ни к несчастным банкротам. Можно сказать, что все могущие быть сбережения (а они могли быть значительны) Л.И. Чермак принес в дар московскому юношеству!» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб., 1883. С. 20–22).

²⁴³ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 36 об.

²⁴⁴ Там же. Л. 36 об., 39 (*sic!* — листы пронумерованы неправильно.)

многие выдвигали аргумент, что подлинный прогресс возможен лишь при условии морального и интеллектуального просвещения индивидуальных членов общества. Это позволяло просветителям считать свою культурную деятельность движущей силой истории, власти королей и знати отводить лишь второстепенную роль, а Французскую революцию объявлять aberrацией.

Масонские речи Розенштрауха вдохновлялись именно такими идеями. Он всерьез разделял постулат о франкмасонстве как непосредственном продолжении тайных обществ великой древности. Люди, опередившие свое время, говорил он, всегда понимали, что в массе своей народ не готов постигнуть глубины философских истин. Поэтому духовные элиты только делали вид, что принимают доминирующие в их странах идеи и социальный порядок, втайне же создавали общества, ставившие своей целью развитие добродетели и мудрости. В одном недатированном выступлении Розенштраух утверждал, что «...дух человечества зреет медленно, по своей собственной природе, подчиняясь неизменным законам Божиим; но не в теплицах, которые хочет изобрести человеческий разум». Аdeptы древних тайных культов разработали «Речи, знаки и обычаи», которые постепенно подводили посвященных к познанию истины, таким образом делая их масонами еще до появления собственно масонства. С течением времени труды этих искателей трансформировали общество в целом: «То, что было в древности содержанием египетских или греческих мистерий, стало теперь общим достоянием всех культурных народов — вера в Единобожие и в бессмертие; ибо человеческий род в целом идет *вперед*, даже если некоторые пятятся *назад*»²⁴⁵. Таким образом, франкмасоны были элитой, немногими избранными, наследниками духовного искания, бывшего движущей силой всей человеческой истории.

Институт ложи был необходим искателям истины по той же причине, по какой христианам нужна была Церковь: ложа позволяла накапливать и передавать знание и создавала защищенное пространство, в пределах которого можно было существовать в согласии с масонскими принципами. Опасность, в глазах Розенштрауха, заключалась в размыании границ между ложей и профанным миром. Это происходило, когда франкмасоны ошибочно направляли свои усилия не внутрь, на пользу ложи, а вовне, пытаясь оказать воздействие на более широкие слои общества. Масонство, напоминал собратьям

²⁴⁵ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 95–95 об.

Розенштраух, «жизнь более внутренняя, чем внешняя, более созерцание, чем действенность»²⁴⁶.

С другой стороны, опасность представляло и вторжение во внутренний мир ложи, существующей в профанном мире системы социальных рангов и порождаемого ею лицемерия. Ложе надлежало быть местом, «где князья и подданные приветствуют друг друга как братья; перс и американец признаются в дружбе, а сторонники враждебных господ мирно принимают друг друга как братья»²⁴⁷. Стоит социальным различиям приобрести значение в пределах ложи, она тут же перестанет быть пространством, «где один брат обращается с другим не с гладкой ни о чем не говорящей вежливостью, а с истинным каменщицким участием, где вместо отмеренного тактичного поклона приветствием служит взаимное рукопожатие, сердечный поцелуй — где любят сердцем, а не языком»²⁴⁸. В другой раз Розенштраух сообщил собратьям, что целью масонства было «самосовершенствование». Стремление к нему было результатом естественной связи человечества с Богом, человечностью и мирозданием и составляло сущность всякой истинной веры: «Все истинно религиозные воззрения и чувства способствуют нашему самосовершенствованию»²⁴⁹. Дабы помочь собрату по масонству усовершенствоваться, настаивал Розенштраух, надлежит относиться к нему искренне и, следовательно, без оглядки на обычай, принятые во внешнем мире: «В профанном кругу, к сожалению, в порядке вещей искусство казаться. — По негласному договору врут и обманывают друг друга, чтобы друг другу понравиться. С ложью о покорнейшем, преданнейшем, нижайшем слуге вступают в общество и покидают его»²⁵⁰.

Рукописи дошедших до нас выступлений Розенштрауха по большей части не датированы, но похоже, что с течением времени его постигало все большее разочарование. В 1820 году, произнося речь по, в общем-то, радостному случаю — празднования государственных именин (30 августа) и годовщины основания ложи (15 сентября), Розенштраух не без горечи говорил: «В фундаменте нашего храма тайная чревоточина. Со стыдом должны мы взирать на протекший год. Всякий непредвзятый взгляд может видеть холодность и теплохладность бра-

²⁴⁶ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 96 об.

²⁴⁷ Там же. Л. 97.

²⁴⁸ Там же. № 340. Л. 100 об.

²⁴⁹ Там же. Л. 122.

²⁵⁰ Там же. Л. 118.

тьев в сравнении с предыдущими годами». По словам нашего героя, когда ложа была меньше, на заседания являлось больше народу, чем теперь, когда она разрослась. Сократилось количество желающих выступить с докладом, сборы в помощь бедным пошли на убыль, и размах благотворительной деятельности перестал отражать увеличение членского состава. У проблемы было имя, и имя это было Алчность. Некоторые из новичков оглядывались по сторонам и задавались вопросом: «Что собственно я (получаю. — А.М.) за мой звонкий рубль?» Другие думали, что внесение «жалкого золотого» на благотворительные цели освобождало их от обязанности оказывать моральную поддержку собратьям по масонству²⁵¹. «Если новый год с основания ложи начнется так же, и соответственно закончится — о, тогда лучше нам тотчас закрыть наш храм, — ибо тогда не получится так, что ложа пережила самое себя!!!»²⁵²

Черновик послания некоему «орденскому совету трех соединенных лож здешнего В. (Востока. — А.М.)» — без подписи, но написанный рукой Розенштрауха, — дает представление о том, как раздражали автора отсутствие в ложе братского духа и живучесть социальных различий. Письмо начинается заверением, что «я искал в масонстве ничто иное как то, что мы так настоятельно внушаем каждому вновь принятому; а именно: братскую любовь в самом широком смысле слова, взаимную помощь, совет, утешение, ободряющее побуждение к добродетели, образец через добрый пример, наивысшее терпение, бережение и самую искреннюю нежнейшую братскую любовь».

Главы ордена не следовали этим принципам. Розенштраух просил их поразмыслить о том,

...является ли руководствующий нами дух, *гуманным*, или еще того менее *каменицким*? — Что же мне делать? Бороться с этим? — простому гражданину против мужей с высоким положением и рангом? (ах, неужели нужно упоминать <то, что само собой разумеется>, и даже объяснять на этой ступени <т.е. орденскому совету>.) Бороться? Нет, это, похоже бесполезно, да и борьба за доброе дело легко может получить ярлык революции, и подвергнуться наказанию более суровому, чем в гражданском мире (ибо мы к этому привыкли).

²⁵¹ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 106.

²⁵² Там же. Л. 105 об.

Поэтому «сим я торжественно отказываюсь от владения молотком и всеми прерогативами наших лож на *тот срок*», пока масонские лидеры не проникнутся истинным духом братства и пока «сердце, рвение, деятельность и истинное обращение не будут и без положения с состоянием считать достойными участия в великой работе масонства»²⁵³. Письмо не датировано, и можно только догадываться, когда и зачем оно было написано, но глубина постигшего Розенштрауха разочарования прочитывается в нем без труда.

Горечь нашего героя дополнительно объясняется упоминаемыми в его письме обвинениями в «революционерстве»: Розенштрауха сердила широко распространенная вера в подрывную политическую деятельность франкмасонов. Некоторые из его собратьев по ордену пользовались этим предубеждением в корыстных целях и приписывали своим соперникам членство в секте иллюминатов, то есть в мифическом международном заговоре против монархии и религии. Подобные обвинения были отнюдь не безвредны. Среди тех, кто частенько прибегал к подобной тактике, был Иосиф (Осип) Алексеевич Поздеев²⁵⁴. Ложа Розенштрауха действовала под руководством Директориальной ложи Астрея; Поздеев же стоял во главе Великой провинциальной ложи — конкурирующей организации со своей собственной сетью лож. В 1817 году группа гвардейских офицеров, состоявших в ложах поздеевской сети, сопровождала императора в Москву и испросила разрешения присоединиться к тамошней ложе, но Поздеев им вступление в ложу Розенштрауха воспретил: «Розенштраух есть ли бы не имел связи с иллюминатами *<sic>*, то было бы его не худо; но как это подозревается, то, мне кажется, с его братьями иметь дело и посещать его ложу не выгодно»²⁵⁵.

Мания преследования достигла своего пика после восстания декабристов, когда правительство относилось с подозрением вообще ко всем тайным обществам. Масонские ложи были запрещены в России в 1822 году, но бывшие франкмасоны тем не менее оставались под подозрением. Розенштраух избежал обвинений в непосредственной связи с декабристами только потому, что, по иронии судьбы, Поздеев оказался не в состоянии отличить воображаемых революционеров от настоящих: офицеры, которых он предостерегал от вступления в ложу Розенштрауха из-за предполагаемой свя-

²⁵³ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 48–50.

²⁵⁴ Серков. История русского масонства XIX века. С. 46.

²⁵⁵ Там же. С. 159.

зи последнего с «иллуминатами», были членами Союза спасения, то есть будущими декабристами. После восстания, как мы видели, декабрист В.И. Штейнгель упоминал Розенштрауха в своих показаниях, а близкий друг Розенштрауха по масонству, князь Михаил Петрович Баратаев был арестован по ложному обвинению в участии в декабристском заговоре²⁵⁶.

Ф. Реннеман, ранее входивший в московскую ложу Ищущих манны, тоже был вызван в 1826 году для дачи показаний о своей прошлой масонской деятельности. Стремясь отвести беду от себя, Реннеман возвел неопределенные, но зловещие обвинения на Розенштрауха, к тому моменту уже бывшего пастором в Харькове. Ложа Ищущих манны подчинялась поздеевской Великой провинциальной ложе и следовала Древнему и принятому шотландскому уставу, тогда как ложа Розенштрауха следовала Шотландскому исправленному уставу. Помимо этого, Ищущие манны были более склонны к мистицизму. Соперничество между двумя ложами высмеивается в «Войне и мире» Л.Н. Толстого, когда Пьер размышляет:

Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы бедных и интригуют Астрея против Ищущих манны, и хлопочут о настоящем Шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно²⁵⁷.

Реннеман сообщил властям, что ложа Ищущих манны пеклась исключительно о самосовершенствовании своих членов, в отличие от ложи Розенштрауха, общения с которой он, впрочем, не мог совершенно избежать, поскольку обе ложи проводили собрания на одном этаже одного и того же здания (дома купца Ланге на Кисловке). Реннеман не жаловал соседей: «Они старались по-видимому скорее и более набирать членов» и «Их главная цель обнаруживалась в благотворительности»; его же собственная ложа «неохотно сообщалась с ложей Розенштрауха, полагая, что он вводил много своей выдумки» и «слишком часто [проводил] богатые столовые ложи». Правда, посещая их, «я ничего противного не слыхал», но в свете недавних событий, то есть декабристского восстания, Реннеман сомневался в благонадежности

²⁵⁶ Мироненко, С.В., ред., Декабристы: Биографический справочник. М., 1988. С. 13.

²⁵⁷ Толстой, Л.Н. Война и мир. Т. 2. Ч. 5. Гл. 1.

Розенштрауха: ведь он, вероятно, принадлежал к иностранным ложам и уж точно был актером и купцом в Санкт-Петербурге и Москве, а затем пастором в Одессе и Харькове. Ложа Розенштрауха следовала «Новой системе» (Исправленному шотландскому уставу), и этим же уставом руководствовался человек, сделавший Розенштрауха пастором: его собрат по масонству Бёттигер. Ничто из вышесказанного еще не доказывало политической неблагонадежности Розенштрауха, однако «то обстоятельство, что сии, Новой Системы значительные масоны, домогались быть учителями Христианской религии и в таких значительных местах — обращает особое внимание»²⁵⁸.

Новое направление

Как мы видели ранее, С.П. Жихарев уже в 1807 году слышал о желании Розенштрауха стать пастором. К зиме 1819/20 года сложились обстоятельства, благоприятствовавшие исполнению этой мечты. Дело Розенштрауха развивалось успешно, и он мог передать его своему сыну Вильгельму, который к тому времени вырос и обзавелся собственным семейством. Старшая дочь нашего героя тоже уже была замужем и обеспечена. В масонстве он разочаровался. Самое время было кардинально поменять жизнь.

К тому же Розенштрауху привелось осознать собственную бренность. В 1818 году ему исполнилось пятьдесят лет, и возраст вполне мог начать сказываться на его самоощущении. 8 января 1820 года он писал собрату по масонству князю М.П. Баратаему, что «уже много недель я болен, на краю могилы, в глубину которой я смотрю мужественно, без страха, как подобает христианину и вольному каменщику»²⁵⁹. Двумя месяцами позднее он сообщал Баратаему, что болезнь повторилась и он едва не умер. Столь близкое столкновение со смертью, писал он, сделало его «более, чем когда бы то ни было, жадным до деятельности, где она только не представится», однако в то же время заставило его понять, что земная жизнь преходяща и что жизнь загробная — единственное, что имеет значение²⁶⁰. Как позже утверждал его друг Лодер, именно болезнь заставила Розенштрауха избрать себе новую стезю — пасторство²⁶¹.

²⁵⁸ Корнеев, В.Е., ред. Жизнь масонской ложи в документах // Российский архив. 1999. Т. 9. С. 69–82, здесь: 80–83.

²⁵⁹ ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Ед. хр. 494. Л. 9.

²⁶⁰ Там же. Л. 10–11.

²⁶¹ Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 118.

Несмотря на слабость здоровья, он по-прежнему активно занимался масонскими делами. В январе 1820 года, в промежутке между приступами болезни, он также вступил в совет своей церкви. В каком-то смысле этот шаг был логическим продолжением его масонской деятельности, поскольку многие из ведущих членов церковной общины занимали ответственные должности в ложе Александра к тройственному спасению и входили во внутренний круг, заправлявший ложей, то есть в ложу Горы Фавор или в капитул Благодетельных рыцарей. Эта группа включала пастора Вильгельма Нойманна; зятя Нойманна, музыканта Фридриха Шольца, иногда сопровождавшего музыкой церковные службы; четырех действительных или бывших старейшин: Ройсса, Трёйтера, Шиллинга и аптекаря Беньямина Ауэрбаха; и Лодера, председателя церковного совета²⁶².

Заседания совета проходили нерегулярно: от одного до четырех раз в месяц. Розенштрауха сделали казначеем приходской школы. Это задание вполне ему подходило, ведь он умел обращаться с деньгами и интересовался образованием. Розенштраух ценил стремление к самовоспитанию, а после болезни также придавал особое значение самосовершенствованию в религиозной сфере, то есть поиску Бога и спасения. Похоже, воспитание как механизм встраивания юношества в социальную систему не слишком его заботило: он редко обсуждал академическое или техническое обучение, а судя по его масонским выступлениям, он считал, что манеры, прививаемые в школах, поощряли лицемерие. Как человек, не обладавший сколь-нибудь значительным формальным образованием, он наверняка испытывал неприязнь по отношению к классовым предрасудкам, насаждаемым в школах. Вместо этого его интересовала возможность с помощью образования сформировать у юношества здоровую мораль. В моральном воспитании видели смысл образования также драматурги эпохи Просвещения и франкмасоны: именно по этой причине ложа Розенштрауха спонсировала основание пансиона Чермака. Стремление Розенштрауха использовать образование, чтобы сформировать в ученике здоровый характер в соответствии с его естественными, богоданными склонностями, очевидно, из того факта, что в 1820 году имя нашего героя появляется (наря-

²⁶² Все эти люди были чиновниками ложи Александра к тройственному спасению. Все они, кроме Нойманна и Шиллинга, также перечислены как члены ложи Горы Фавор в протоколах этой ложи за весну и лето 1819 года, а Трёйтер, Лодер и Ройсс также входят в список членов капитула Благодетельных рыцарей за тот же период (НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 5–9 об., 21–26).

ду с именами Ройсса, Чермака, Трёйтера и Лодера) в списке подписчиков на сочинения Иоганна Генриха Песталоцци — знаменитого швейцарского педагога, чья теория начального обучения подчеркивала необходимость развивать весь спектр способностей ребенка²⁶³. Протоколы заседаний церковного совета свидетельствуют о том, что Розенштраух был энергичным организатором и сборщиком пожертвований в пользу приходской школы. Судя по этим же документам, единственный раз, когда он высказался об образовании как таковом, в центре его внимания был, вполне ожидаемо, вопрос морали (а именно мастурбация): он убеждал совет увеличить здание школы и тем самым гарантировать (как, он не объяснил) «безусловное искоренение пагубного порока у мальчиков»²⁶⁴.

В конце сентября 1820 года Розенштраух порвал со своей прошлой жизнью. 22 сентября он объявил во время заседания церковного совета, «что покинет Москву на долгое время, и потому должен сложить с себя должность старейшины». Он выступил с краткой речью, попрощался с коллегами и вышел из комнаты²⁶⁵. Тремя днями позже, 25 сентября, братья ложи Александра к тройственному спасению приняли отставку Розенштрауха с должности председателя²⁶⁶. После этого наш герой передал свой магазин сыну и уехал в Одессу.

²⁶³ Pestalozzi, Johann Heinrich *Sämmtliche Schriften*. Stuttgart; Tübingen, 1820.

Bd. 4. S. iii.

²⁶⁴ ЦИАМ. Ф. 2099. Оп. 1. Д. 40. Л. 58 об.

²⁶⁵ Там же. Л. 77.

²⁶⁶ НИОР РГБ. Ф. 147. № 340. Л. 54.

ГЛАВА 5

Завершение пути: Одесса и Харьков, 1820–1835

Оставив успешную предпринимательскую и масонскую карьеру и переехав в Одессу с целью стать лютеранским проповедником, Розенштраух начал новую главу своей жизни. Изменился и общий окружавший его исторический контекст. С самого своего прибытия в Россию в 1804 году Розенштраух был неразрывно связан как с крупными преуспевающими немецкими общинами, так и с европеизированными русскими элитами двух столиц Российской империи. Отправившись в Одессу — быстро развивавшуюся столицу Новороссии, наш герой принял участие в совершенно ином историческом процессе: колонизации степных земель современной Украины.

Новороссия

Новороссия не была похожа ни на одно из предыдущих мест жительства Розенштрауха. Санкт-Петербург и Москва своими сложными классовыми структурами и экономикой напоминали немецкие города: там были и прочно укоренившиеся крупные немецкие общины, и издревле существовавшие немецкие церковные приходы и дворянские и буржуазные элиты. Новороссия же скорее походила на американский Дикий Запад: население этой обширной территории было немногочисленным, но весьма пестрым по национальному составу, а социальный контроль слаб — здесь царила относительная свобода.

Присоединенная Екатериной II Новороссия как магнитом влекла к себе переселенцев. Многие из них были беглыми крестьянами из

других областей России. В 1801 году 93,7% новороссийских крестьян были де-юре свободны²⁶⁷, и в одном романе 1860 года приводится высказывание местных жителей:

Беглые, да и все тут! Крепостная Русь, нашедшая свое убежище, свои Кентукки и Массачусетс. Здесь беглыми земля стала. Не будь их — ничего бы и не было²⁶⁸.

Иностранные тоже охотно переезжали в Новороссию и селились рядом с татарами, евреями, казаками и прочими местными жителями. Одной из категорий иностранных колонистов были немцы: Российское государство обещало выделить им земельный надел, гарантировало свободу вероисповедания и освобождение от налогов и службы в армии²⁶⁹. Число немецких переселенцев росло быстро: согласно ревизским данным, в 1796 году в Новороссии проживало 5500 немцев обоего пола, в 1834 году их было уже 85 600, а к 1858 году стало 138 800²⁷⁰. Поселения кальвинистов, гернгутеров, меннонитов, верящих в Тысячелетнее царство вюртембергских сепаратистов, католиков, немецких и швейцарских лютеран и других возникали на территории, простиравшейся от Бессарабии до Волги и Кавказа. Одесса — место пребывания новороссийского генерал-губернатора — была основана в 1792 году и выросла в один из основных торговых портов России. К 1826 году население города составляло 32 995 человек. В основном это были российские подданные, но хватало в Одессе и иностранцев: подданных Австрийской империи, немцев, итальянцев и христиан из Османской империи²⁷¹.

В 1893 году историю одесской лютеранской общины опубликовал Фридрих Бинеманн. Бинеманн был профессиональным историком и занимался архивными изысканиями; впрочем, поскольку он был сыном одесского пастора, можно предполагать, что его знания

²⁶⁷ Ципперштайн, Стивен. Евреи Одессы. История культуры, 1794–1881. Москва; Иерусалим, 1995. С. 30.

²⁶⁸ Данилевский, Г.П. Беглые в Новороссии, Воля (Беглые воротились): Романы. Киев, 1988. С. 66–67

²⁶⁹ ПСЗ (1 серия). Т. 16. № 11.880. 22 июля 1763 г.

²⁷⁰ Kabuzan, Vladimir M. Die deutsche Bevölkerung im Russischen Reich (1796–1917): Zusammensetzung, Verteilung, Bevölkerungsanteil // Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart: Ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung / Hrsg. Ingeborg Fleischhauer und Hugo H. Jedig. Baden-Baden, 1990. S. 78.

²⁷¹ Kardasis, Vassilis A. Diaspora Merchants in the Black Sea: The Greeks in Southern Russia, 1775–1861. Lanham, MD, 2001. P. 46–48.

о прошлом своей общине не ограничивались письменными источниками. При Александре I, пишет Бинеманн, новороссийские немцы — заметим, подобно своим соплеменникам в Америке — сформировали общество, только-только приступавшее к самоорганизации. Бытовые условия были тяжелы, а власть слаба, поэтому конфликты возникали часто. Бинеманн приводит слова одного немецкого купца: тот посетил немецкую общину Одессы, состоявшую в основном из ремесленников, и нашел, что «между ними невозможен никакой союз, и как бы они сами от этого не страдали, они обижают и портят жизнь друг другу всеми возможными способами»²⁷².

В отношении религии жизнь в Новороссии отличалась свободой и стихийным экуменизмом. В Одессе был один-единственный пастор, удовлетворявший нужды всех без исключения категорий «евангелистов» (протестантов), а в его отсутствие протестанты проводили крестины и похороны с помощью католического священника. В других частях Новороссии немецкие крестьянские колонии в основном обходились вообще без пастора²⁷³. По словам Бинеманна, разводы были обычным делом, процветали секты, люди переходили из одной конфессии в другую. Подводя итог тому, что он нашел в архивах, Бинеманн пишет о 1820-х годах:

...Религиозный непокой умов искал удовлетворения: мы видим, как многие протестанты переходили в католическую церковь, а католики, наоборот, становились протестантами <...> То поселенцы из Глюкстада отказываются от присяги, якобы противоречащей их совести, то мы узнаем о целом деле против Вормских колонистов, якобы занимавшихся алхимией²⁷⁴.

В глазах правительства все это было признаками беспорядка. После наполеоновского нашествия оно пыталось ужесточить контроль над обществом за счет передачи всей религиозно-духовной и образовательной сферы в ведение князя А.Н. Голицына — главы специально созданного Министерства духовных дел и народного просвещения. Составной частью этой политики была попытка централизовать церковную

²⁷² *Bienemann, Friedrich. Werden und Wachsen einer deutschen Kolonie in Süd-Rußland: Geschichte der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Odessa.* Odessa, 1893. S. 51.

²⁷³ Ibid. S. 74–99.

²⁷⁴ Ibid. S. 99. Глюксталь и Вормс были поселениями примерно в 90 км от Одессы.

администрацию новороссийских колонистов-протестантов. Существовали планы, так и не воплотившиеся в жизнь и окончательно оставленные в 1832 году, поделить юг России между двумя новыми евангелическими консисториями: саратовской и одесской.

Александр I и князь Голицын ощущали духовную связь с теми, кто так же, как и они сами, прошел весь путь от деизма к более ортодоксальному христианству. Российским самодержцам было свойственно назначать на высшие должности доверенных людей, на чьи организаторские способности можно было положиться. Именно этими соображениями руководствовались Александр I и Голицын в своем выборе суперинтендентов для обширных и сложных консисторских территорий. Император и министр назначили на эти посты людей, подобно Розенштрауху лишь недавно принявших ортодоксальную протестантскую веру и начавших карьеру в Церкви, однако обладавших обширным опытом работы на юге империи, навыками лидерства и связями с российской аристократией.

Саратовским суперинтендентом был назначен Игнатий Аврелий Фесслер (1756–1839). Этот венгерский монах-католик обратился в лютеранство и стал видным берлинским франкмасоном. Зимой 1809/10 года по приглашению Михаила Михайловича Сперанского он прибыл в Санкт-Петербург преподавать в Александро-Невской духовной академии. Фесслер также вошел в Комиссию составления законов, познакомился с князем Голицыным и произвел Сперанского в масоны. Православные клирики, особенно архиепископ Феофилакт (Русанов), обвиняли его в насаждении среди студентов вольнодумства, поэтому из академии Фесслера уволили и отправили в ссылку. В конце концов он нашел приют у гернгутеров в Сарепте под Царицыном²⁷⁵.

Заведовать Одесской консисторией правительство поставило со-брата Розенштрауха по масонству Бёттигера (1779–1848). Этот уроженец Саксонии переехал в Россию по окончании обучения богословию и праву в Лейпцигском университете. В ранние годы его мировоззрение формировалось под воздействием «рационального сверхнатурализма» — учения, которое, по выражению Бинеманна, «колебалось между верой в Откровение и современным просвещением». Особенно на Бёттигера повлияла та разновидность этого учения, которая «обосновывает <...> религию разумом в смысле непосредствен-

²⁷⁵ Пыпин, А.Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 1885. С. 303; Чистович, И.А. Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине текущего столетия: Комиссия духовных училищ. СПб., 1894. С. 45–53.

ногого чувственного восприятия сверхчувственного». Со временем пастор отошел от этой точки зрения, вызывавшей подозрение у традиционно настроенных лютеран, и обратился к более консервативному протестантизму²⁷⁶. Бёттигер был одесским пастором с 1811 по 1814 год, но не мог обеспечить себе существование и потому перебрался в Москву. Там он служил домашним учителем в семье Паниных и познакомился с князем Голицыным и прочими сановными лицами, благодаря которым в 1818 году получил должность суперинтендента Одесской евангелической консистории²⁷⁷.

Одной из основных задач Бёттигера была вербовка новых пасторов. В 1815–1817 годах на десять губерний от Бессарабии до Кавказа — регион, размер которого почти на 50% превосходил территорию Германского союза, — приходилось всего девять пасторов²⁷⁸. Поэтому Бёттигер вынужден был проявить гибкость и отказаться от строгого соблюдения общепринятого правила, по которому в пасторы годились лишь обладатели формального университетского образования. Одним из источников рабочей силы, к которым он обратился, была базельская семинария, готовившая в миссионеры студентов в основном крестьянского или ремесленнического происхождения. Этую семинарию основали немецкие пietисты, тесно связанные с Робертом Пинкертоном — шотландцем, представлявшим в России интересы Британского и зарубежного библейского общества и основавшим, совместно со своим коллегой Джоном Патерсоном, Российское библейское общество²⁷⁹. Летом 1818 года с должностными лицами базельской семинарии встретился князь Голицын, а в январе 1819 года от Патерсона пришла формальная заявка на то, чтобы в Базеле обучали пасторов для работы в южнороссийских колониях²⁸⁰. Совместно с шотландским миссионерским обществом семинария направила в Одессу двух миссионеров

²⁷⁶ *Bienemann. Werden und Wachsen.* S. 77.

²⁷⁷ *Ibid.* S. 67–86.

²⁷⁸ Именно это число называет Бинеманн (*Werden und Wachsen*, 81), не оговаривая, впрочем, какие десять губерний имеются в виду. Скорее всего, это ссылка на губернии, входившие в одесскую консисторию: Бессарабскую, Херсонскую, Таврическую, Екатеринославскую, Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Курскую, Кавказскую и Грузинскую; *Dalton, Hermann. Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Russland.* Gotha, 1887. Bd. 1. S. 287).

²⁷⁹ *Detzler, Wayne. Robert Pinkerton: Principal Agent of the BFBS in the Kingdoms of Germany // Sowing the Word: The Cultural Impact of the British and Foreign Bible Society, 1804–2004 / Ed. Stephen Batalden, Kathleen Cann and John Dean. Sheffield, 2004. P. 271.*

²⁸⁰ *Die ersten Jahre der Basler Mission: Ein kurzer Ueberblick (Fortsetzung) // Der evangelische Heidenbote. Dezember 1865. № 12. S. 161–165, особенно 162.*

неров, Фридриха Людвига Бетцнера и Бернхарда Зальтета, прибывших на место в середине октября 1820 года — примерно в то же время, что и Розенштраух. Их целью было проповедование Евангелия среди евреев и наведение справок о возможности миссионерской работы среди мусульман, живущих в районе Черного и Каспийского морей²⁸¹.

Одесса (1820–1822)

Бёттигеру, бывшему не только суперинтендентом, но и пастором Одессы, требовался помощник, который обладал бы лидерскими навыками, религиозным рвением и — что не менее важно — финансовыми средствами, позволившими бы ему помогать в строительстве новых церковных учреждений. Поэтому Бёттигер обратился к Розенштрауху. В письме к консистории Голицын резюмировал приведенные Бёттигером аргументы:

Суперинтендент Бёттигер по его собственному заявлению нуждается в помощнике для тяжелой и требующей много усилий должности пастора в Одессе. Но этот помощник должен иметь духовные качества и прежде всего христианское мировоззрение, чтобы ему можно было без опаски поручить заботы о вновь прибывающих, поскольку в своей должности пастора Бёттигер тратил и тратит много сил для борьбы с разными нестроениями. Он желает себе в помощники Розенштрауха, который живет своим собственным состоянием и не желает ничего более, как проповедовать миру Иисуса Христа Спасителя²⁸².

Розенштрауху приглашение Бёттигера предоставляло уникальную возможность стать пастором, избежав при этом необходимости посвятить долгие годы богословским штудиям в университете. Поэтому он поехал в Одессу и со свойственной ему энергией принялся за работу. Древнегреческий язык он изучал с Бёттигером, латынь и древнееврейский осваивал с помощью того, что называл «частными уроками у некоторых выдающихся ученых, а все богословские

²⁸¹ Bierenmann. Werden und Wachsen. S. 96; Odessa: Edinburgh Jews' Society // Missionary Register. February 1822. P. 41–42.

²⁸² Письмо от 12 мая 1821 г. Цитата эта переведена с немецкого: непонятно, был ли оригинал написан по-русски или по-немецки. Bierenmann. Werden und Wachsen. S. 110.

науки с Бёттигером и базельскими миссионерами Бетцнером и Зальтетом²⁸³.

В письме от 21 мая 1821 года — его единственном сохранившемся послании детям — он красочно описывает свою жизнь в Одессе. Влияние на манеру письма Розенштрауха (и, возможно, также его образ мыслей) театра и пietистской духовной литературы несомненно, однако столь же очевидна и относительная независимость нашего автора от штампов, изобиловавших в записках других западных путешественников по России. Он не описывает ландшафтов или этнографических особенностей местных жителей; в его сочинениях не встречается таких общих мест, как монотонность российских равнин, «северная» природа Санкт-Петербурга или Москва как сердце России. Это, впрочем, не означает, что идеи авторов травелогов никак не отразились на нашем герое. Как мы уже видели ранее, в воспоминаниях Розенштрауха о 1812 году неоднократно всплывает расхожий мотив безрассудности низших слоев россиян. Точно так же и письмо из Одессы подчеркивает «южные» черты города, такие как изобилие фруктов, сильную жару и купание в море. Обитатели города тоже кажутся Розенштрауху некоей комбинацией средиземноморских типов: упоминая основные религиозные общинны (евреев, мусульман, православных), он пишет, что на пляже купался рядом с «евреями, турками, греками, — короче говоря, всеми 19 нациями, которые пестрой смесью населяют Одессу»²⁸⁴.

Девять месяцев спустя после своего ухода в отставку в Москве, а именно 16 июня 1821 года, Розенштраух выдержал открытое испытание на звание пастора. По закону экзамен должны были принимать все го троє лютеранских священнослужителей, но Розенштраух — то ли от пристрастия к спектаклям, то ли дабы рассеять любые сомнения в своей компетентности — настоял на присутствии в приемной комиссии троих лютеран (Бёттигера, базельского миссионера Бетцнера и пастора из немецкой колонии), двоих кальвинистов (Джона Патерсона и Эбенезера Хендersona — представителей Британского и зарубежного библейского общества) и двоих католиков (один из которых, Игнац Линдл, был диссидентствующим священником, тесно связанным с пietизмом). На первый взгляд может показаться, что Розенштраух стремился к экуменизму, но, судя по тому, что в экзаменационную комиссию не вошли (или отказались в ней участвовать) представители православного

²⁸³ РГИА. Ф. 828. Оп. 1 доп. Д. 37. Л. 30 об. — 31. Симон позже замечал, что Розенштраух был «довольно силен в греческом и еще сильнее в древнееврейском» (*Simon. Russisches Leben.* S. 314).

²⁸⁴ НИОР РГБ. Ф. 147. № 341.11. Л. 59–60 об. Цитата на Л. 60.

клира, экуменизм распространялся в основном на приверженцев пietистского благочестия, базельских миссионеров и лиц, связанных с Библейскими обществами. Экзамен Розенштрауха, длившийся несколько часов, проходил в присутствии многочисленных представителей разных вероисповеданий. На следующий день Розенштраух был рукоположен в пасторы²⁸⁵.

Теоретически Розенштраух числился помощником Бёттигера (*Pastor-Adjunkt*), но на деле он и был пастором Одессы, поскольку с сентября 1821-го по октябрь 1822 года Бёттигер пребывал в Санкт-Петербурге²⁸⁶. Очевидно, Розенштраух прекрасноправлялся со своими обязанностями. Об этом прослышали в Москве, и когда освободилось место пастора в приходской церкви Св. Михаила, в январе 1822 года кандидатура Розенштрауха была выдвинута на голосование. Друг нашего героя Лоддер, председатель церковного совета, активно выступал в пользу Розенштрауха, да община выказывала ему горячую поддержку. Розенштраух писал, что и сам был заинтересован в получении этого места, но противники припомнили ему актерское прошлое и тем самым поставили под сомнение его моральные качества²⁸⁷. В конечном итоге предстоятелем церкви Св. Михаила был избран Адам Христиан Пауль Кольрайф — еще один переселившийся в российские степи выходец из Германии, чей жизненный путь чуть лучше соответствовал общепринятым представлениям о карьере пастора: хотя он и не учился в университете, но по крайней мере посещал теологическую семинарию гернгутеров в немецком городе Барби, а затем двадцать лет служил пастором немецкой колонии в Саратовской губернии²⁸⁸.

Этот отказ, должно быть, глубоко ранил Розенштрауха. Возможно, именно поэтому, как он писал другу в 1829 году, «за девять лет, прошедших после того, как я покинул Москву, а с ней детей, внуков и друзей, меня ни разу не посетило желание приехать туда, хотя мне было бы его совсем легко осуществить»²⁸⁹. Непонятно, что именно вынудило Розенштрауха в конце концов оставить Одессу, но 27 октября 1822 года, примерно тогда, когда в Одессу вернулся Бёттигер, правительство утвердило Розенштрауха на должности лютеранского пастора города Харькова²⁹⁰.

²⁸⁵ *Bienemann. Werden und Wachsen.* S. 110; *Fechner. Chronik.* Bd. 2. S. 118.

²⁸⁶ *Ibid.* S. 94, 97.

²⁸⁷ *Fechner. Chronik.* Bd. 2. S. 115–121.

²⁸⁸ *Ibid.* S. 475.

²⁸⁹ *Mittheilungen aus dem Nachlasse.* S. 79.

²⁹⁰ *Döllen. Kurze Geschichte.* S. 13.

Конец дружбе Розенштрауха с Бёттигером положили горечь и взаимные упреки. В 1827 году некоторые из его собственных прихожан обвинили Бёттигера в «безнравственном образе жизни». Официальное расследование подтвердило обвинения, и в 1828 году Бёттигера сместили с занимаемого поста. После этого он из Одессы исчез²⁹¹. Когда он вновь объявился в Германии под вымышленной фамилией, российское правительство добилось его экстрадиции и посадило его в тюрьму. Как вспоминал Иоганн Филипп Симон, глубоко почитавший Бёттигера Розенштраух был вне себя от ярости, узнав, что «именно этот ученый муж был виновником очень дурных проступков, а кроме того, скрылся с церковной кассой». Бёттигер просил Розенштрауха о помощи, но тот с негодованием отказал. Бёттигер сумел отомстить Розенштрауху посмертно. Как пишет Симон, в 1837 году, по пути в ссылку в Вятке, Бёттигер проезжал через Харьков и был приглашен провести вечер в местном обществе, где он флиртовал с дамами и вел себя как «как изящный придворный кавалер». Жеманясь, Бёттигер сообщил гостям, что за всю свою жизнь совершил лишь один непростительный грех. В ответ на настояния объяснить, в чем же он заключался, Бёттигер избрал для удара ахиллесову пяту своего бывшего, ныне покойного друга: «Грех в том, — ответил он со своей иронической улыбкой, — что я сделал актера Р... пастором»²⁹².

Харьков (1822–1835)

Подобно Одессе, Харьков был многонациональным городом: помимо украинского большинства в нем проживали поляки, евреи, а также несколько сотен немцев. Однако Харьков был старше Одессы и не испытал подобного периода бурного роста. В 1826 году население города насчитывало около 15 000, а к 1840 году увеличилось только до 23 612²⁹³. Харьков был университетским городом и не представлял особыго интереса для переселенцев; возможно, именно по этим причинам немецкая община города казалась менее беспокойной и в ее состав входило большее количество образованных людей, чем в Одессе.

В 1880 году была опубликована история харьковской лютеранской церкви. Ее автором был член совета этой церкви, профессор

²⁹¹ *Bienemann. Werden und Wachsen. S. 125–128.*

²⁹² *Simon. Russisches Leben. S. 321–323.*

²⁹³ Багалей, Д.И., Миллер, Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905) в 2 томах, репр. Харьков, 1993. Т. 2. С. 115.

Александр Людвигович Дёллен (1814–1882)²⁹⁴. Дёллен прибыл в Харьков только в 1867 году и знал о Розенштраухе только понаслышке, но он изучал церковные архивы и, можно предположить, слышал рассказы пожилых прихожан. Розенштраух занимает в книге Дёллена видное место.

Розенштраух, пишет Дёллен, выказал себя энергичным организатором, что, впрочем, неудивительно, учитывая, что ранее он с нуля поднял собственное дело, основал масонскую ложу и управлял делами церковно-приходской школы. До прибытия нового пастора харьковская община не имела стабильной организационной структуры, но благодаря Розенштрауху «вся церковная организация здешних лютеран была сразу же перестроена лучшим образом». Именно он ввел систематическое ведение документации, за что Дёллен как историк был премного ему благодарен: впервые за все время существования прихода церковный совет начал вести протоколы заседаний, а крестины, свадьбы и похороны стали регистрироваться в метрической книге. Предшественники Розенштрауха в основном проживали в других городах и бывали в Харькове только наездами, а церковные службы проводились то в одной, то в другой аудитории Харьковского университета. Для начала Розенштраух заручился разрешением ректора превратить одну классную залу в молельню с постоянными алтарем и кафедрой и тем самым решил проблему помещения для своей общины на более или менее длительный срок. На этом он, впрочем, не успокоился и получил от консистории добро на постройку отдельной церкви, после чего собрал необходимые на это средства и возглавил инженерно-строительный комитет. Человек небедный, Розенштраух жертвовал на строительство церкви и открытие в 1827 году приходской школы, и свой пасторский доход, и собственные средства (о чем с гордостью упоминал в своих записках о 1812 году на с. 257). Наш герой регулярно выезжал за пределы Харькова и посещал лютеранские общины в соседних Курской и Полтавской губерниях²⁹⁵. В целях повышения посещаемости церкви Розенштраух предложил, чтобы лютеране, не получившие конфирмации, не имели права состоять на государственной службе. Это предложение обсуждалось в консистории, потом в Совете министров, после чего попало на стол к Нико-

²⁹⁴ Деллен Александр Людвигович // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрана. СПб., 1890–1907. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgaуз_efron/35314/Деллен>, последнее посещение 23.07. 2013.

²⁹⁵ Döllen. Kurze Geschichte. S. 13–31.

лаю I и в конце концов вошло в Полное собрание законов Российской империи²⁹⁶.

Розенштраух, трактовавший христианство в духе пietизма, не слишком углублялся в доктринальные тонкости и поэтому протягивал руку дружбы и помощи и другим конфессиям. Лютеранская община пожертвовала средства на строительство университетской православной церкви. Католики приходили к Розенштрауху причащаться и креститься и даже получили приглашение назначить своего представителя в церковный совет лютеранского прихода; когда же католикиозвели свою собственную церковь, лютеране отдали им сколько-то церковных скамей²⁹⁷. Пропасть, разделявшая христиан и иудеев, была куда глубже, но Иоганн Филипп Симон вспоминал дружественный богословский спор Розенштрауха с секулярным евреем²⁹⁸.

Таким образом, Розенштраух в исполнение своих профессиональных обязанностей вкладывал неимоверные усилия. Однако личные взаимоотношения с паствой у него складывались не слишком просто. Вне церкви пастор избегал ежедневного общения с прихожанами. По свидетельству Симона,

в остальном он избегал визитов к кому бы то ни было, это было его правилом, не знавшим никаких исключений. Его дочь (Вильгельмина. — А.М.), сорокалетняя девица, заведовала хозяйством. Ее стол был всегда накрыт, как это заведено у всех состоятельных и богатых людей в России, дополнительно на шесть—восемь персон, для гостей, которые могли появиться неожиданно <...> Пастор же никогда не появлялся за столом, он ел совсем один в своем кабинете, предпочитая немного супа и овощи, тогда как его дочь накрывала изобильную трапезу²⁹⁹.

Розенштраух винил в своей изоляции в основном избыток работы:

Я был тогда действительно очень занят. Приход в городе был велик; к нему причислены были еще многие колонии, которые от времени до времени надобно было навещать; в школе кроме того

²⁹⁶ Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе, 55 томов. СПб., 1830–1885. Т. 5. Ст. 3.701 (10 июня 1830 г.). Консистория находилась в Москве; *Possart, P.A. F.K. Das Kaiserthum Russland. Stuttgart*, 1841. Bd. 2. S. 445.

²⁹⁷ *Döllen. Kurze Geschichte.* S. 18, 20, 24.

²⁹⁸ *Simon. Russisches Leben.* S. 312–316.

²⁹⁹ *Ibid.* S. 310.

обучал я ежедневно Закону Божию; не мало было и писанья. Но я выиграл много времени, отказавшись от всех общественных удовольствий, которые не только время похищают, но и сердце охлаждают, и весь отдался обязанностям своего звания³⁰⁰.

Когда Симон высказал предположение, что отшельничество пастора подрывает его влияние на прихожан, Розенштраух сначала рассердился на критику со стороны юнца, но затем объяснил, что по приезде в Харьков он, как и положено, наносил визиты видным представителям местного общества: как русским, так и немцам. Те, в свою очередь, тоже посещали его. Каждый день его стол был накрыт «на 16 и более персон», дочь Вильгельмина готовила изысканные яства, а «мой сын присыпал мне из Москвы дорогие рейнские и французские вина». Гости насыщались его едой и вином, «Но когда я читал Отче наш после еды, они меня высмеивали — не вслух, правда, но все же так, что я мог слышать». Поняя это, «я удалился в свой кабинет, где [отныне] принимаю пищу»³⁰¹.

Розенштраух все чаще отказывался от личного общения, требовавшего соблюдения условностей приличного общества, и сводил свои взаимоотношения к переписке с теми, кто разделял его пietистское мировоззрение. Он поддерживал переписку с сыном Вильгельмом, но в 1830 году жаловался княгине Марии Федоровне Барятинской, что «...письма моего сына ко мне обыкновенно коротки. Во-первых, потому, что у него много дел (и слава Богу, не только приносящих барыш), а во-вторых, потому, что он пишет только письма, которые мне интересны, а таковых с каждым днем все меньше»³⁰². Корреспонденты Розенштрауха занимали самое разное положение в обществе, но большинство из них разделяло его эмоциональный подход к религии и обращалось к нему за духовным наставлением. Одной из них была вдовая княгиня Барятинская, в девичестве Келлер, уроженка Баварии и мать будущего фельдмаршала Александра Ивановича Барятинского. Розенштраух время от времени посещал ее усадьбу Марьино в Курской губернии и вел с княгиней оживленную переписку, заставляющую предполагать, что он был для вдовы чем-то вроде духовного наставника. Другим его корреспондентом был Христиан Фридрих Килиус, выпускник Базельской миссионерской семинарии, служив-

³⁰⁰ Mittheilungen aus dem Nachklasse. S. 4–5. Русский текст цит. по: У одра умирающих. Из записок покойного И.А. Розенштрауха, евангелического проповедника в Харькове, перевод с немецкого Н.А. СПб., 1863. С. 15.

³⁰¹ Simon. Russisches Leben. S. 311.

³⁰² НИОР РГБ. Ф. 19/II. Картон 203. Ед. хр. 6в. Л. 20.

ший пастором в Крыму³⁰³. Сохранились также послания Розенштрауха пасторам Прилук (Полтавской губернии) и Полоцка. В одном из них он извинялся, что не помнит, о чем писал в предыдущем письме: «потому что в каждый почтовый день я должен написать столько (письем. — А.М.) разного содержания, что спустя некоторое время уже не могу вспомнить, что писал тому или иному, ибо вся моя переписка в целом не выходит за круг христианский»³⁰⁴.

Сочинения Розенштрауха о духовных материалах стали известны широкой публике благодаря еще одному корреспонденту нашего героя, Фридриху Бушу — профессору кафедры теологии Дерптского университета. Поскольку это была единственная в России немецкоязычная кафедра теологии, Буш пользовался среди российских лютеран определенным авторитетом³⁰⁵. До его прибытия в Россию в 1824 году дерптская кафедра придерживалась рационалистического подхода к религии, но сменила курс при новом профессоре, который, по словам автора истории университета, «был адептом библейского христианства в отчетливо пietistской манере»³⁰⁶. Письма и прочие сочинения Розенштрауха были написаны как раз в духе так импонировавшего Бушу благочестия, поэтому тексты нашего героя (или о нем) вошли в 28 выпусков популяризовавшего религию еженедельника Буша «Евангелический листок» (*Evangelische Blätter*)³⁰⁷. Не все клирики разделяли преклонение Буша перед Розенштраухом. Наш герой писал Килиусу, что «...так как я был призван к священству только на 53-м году моей жизни, я протягивал руки во все стороны, чтобы получить от опытных христиан поучение и совет. Но везде — и в особенности мои собратья по чину — со мной обращались пренебрежительно, часто насмешливо, потому что меня не понимали и принимали за лицемерие то, что было самым горячим побуждением моего сердца»³⁰⁸.

³⁰³ Busch, E.H. Ergänzungen der Materialien zur Geschichte und Statistik des Kirchen-und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Russland. St. Petersburg; Leipzig, 1867. Bd. 1. S. 254–255; Jargle, Victor. Kylius, the Pastor of Simpheropol // The Edinburgh Christian Magazine. April 1855 — March 1856. Vol. 7. P. 93–94.

³⁰⁴ Weitere Mittheilungen aus Rosenstrauch's Nachlaß // Evangelische Blätter. 20 März 1838. № 12. Kol. 89–90.

³⁰⁵ Rückblick auf die Wirksamkeit der Universität Dorpat: Zur Erinnerung an die Jahre von 1802–1865. Nach den vom Curator des Dörptschen Lehrbezirks eingezogenen Berichten und Mittheilungen. Dorpat, 1866. S. 137–139.

³⁰⁶ Ibid. S. 158.

³⁰⁷ № 35, 36, 37, 38 (1833); № 10, 19, 22, 29, 51, 52 (1836); № 31, 32, 33, 34, 35, 49 (1837); № 9, 10, 11, 12, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 (1838); № 5 (1839).

³⁰⁸ Mittheilungen aus dem Nachlasse. S. 142.

Некоторые ортодоксальные лютеранские богословы презирали Розенштрауха по двум причинам сразу: как высокочку, занимающегося не своим делом, и как чрезмерно эмоционального мистика-пиетиста. В ответ Розенштраух обличал их высокомерие и подверженность влиянию просветительского рационализма. В проповеди, цитируемой по памяти его другом Генрихом Блюменталем, Розенштраух задавался вопросом: опасаться ли нападок нехристей?

О, нет, нет — это книжники и фарисеи нашей *собственной* церкви, чьи возвышенные и надменные речи проникнуты высокомерием и спесью, это *их, их* нам надо бояться, они столь легко сбивают с толку совесть слабых, ничтоже сумняшеся выступая с самозванными истолкованиями Святых писаний, да еще и дерзко объявляют свои заблуждения высшей истиной! Они суть волки в позаимствованных овечьих шкурах, которых должна бояться и бежать их всякая благочестивая душа; к *ним* применимо сказанное: «ядущий со Мною хлеб поднял на меня пяту свою»³⁰⁹.

Посредником между Розенштраухом и Бушем был Блюменталь — выпускник Дерптского университета и профессор медицины в Харькове, который разделял пиетистскую веру Розенштрауха, служил в харьковской лютеранской общине председателем церковного совета и сам писал для «Евангелического листка» Буша. Блюменталь оставил нам описание характера Розенштрауха в последние годы его жизни. Он описывает пастора как человека «проникновенного ума», здравого рассудка, сильной воли, огромного самоконтроля и хладнокровия. Жизненный опыт научил его разбираться в людях, а «христианство выработало в нем внутреннее смирение и приглушило естественный взрывной характер его духа»³¹⁰. Розенштраух частенько бывал «слаб и болен» и даже с трудом поднимался на кафедру, но

вскоре на самой проповеди все менялось. Голос его начинал звучать, глаза сверкали божественным огнем, он говорил с такой мощью, которая уже в 30-летнем мужчине могла бы вызвать восхищение. После проповеди снова проступала физическая слабость, и тот, кто приходил к нему на квартиру к вечеру, должен был почти сомневаться, был ли этот болезненный, с трудом и тихим голосом

³⁰⁹ Mittheilungen aus dem Nachlasse. S. 177. Ин., 13:18.

³¹⁰ Mittheilungen aus dem Nachlasse. S. xi.

говорящий старик тот же, кто сегодня в церкви потрясал души своей мощной речью³¹¹.

Идеи, которые он раз за разом воспроизводил в своих письмах и проповедях, были просты. Спасение приходит только за счет Божьей благодати — дара свыше, незаслуженной милости, которую невозможно заработать добрыми делами³¹². Благодать доступна каждому, но люди не просят ее, потому что не желают задуматься о смерти всерьез. Эти пункты лютеранской доктрины составляли центральный сюжет публикаций в «Евангелическом листке», где Розенштраух описывал свои впечатления о последних днях и часах жизни различных представителей высших слоев харьковской немецкой общины, которых он провожал в мир иной: профессора, офицера, студента-медика, купца, художника и нескольких чиновников. (Как мы увидим позже, на с. 149, эти сочинения Розенштрауха впоследствии увидели свет и в русском переводе.) Состоятельные люди, пришел к выводу Розенштраух, слишком увлечены мирскими делами, чтобы подумать о вечном, и в любом случае они ошибочно верят, что добываются спасения добрыми делами. «Если бы даже богатый или знатный больной был убежден в необходимости того, то уже в самом своем состоянии или богатстве встречает он величайшие препятствия к удовлетворению своего сердечного желания от глубины души примириться с Богом»³¹³. И пациент, и его семейство, и врач боятся сказать друг другу правду о состоянии больного, и даже краткосрочное улучшение здоровья вполне способно свести на нет духовное просветление умирающего, каким бы глубоко прочувствованным оно ни было. Розенштраух частенько возвращался к этой мысли, как, например, в послании пастору Килиусу в 1829 году:

Бог попускает, что богачи проводят каждый день в великолепии и радостях жизни; но как скоро кончается и самая долгая жизнь, и кто тогда не желал бы быть лучше Лазарем, чем богачом! И то и другое, счастье здесь и блаженство там, едва ли кажутся совместимы³¹⁴.

³¹¹ Mittheilungen aus dem Nachlasse. S. viii; см. также: *Simon. Russisches Leben.* S. 307–309.

³¹² Mittheilungen aus dem Nachlasse. S. 89.

³¹³ Ibid. S. 27. Русский перевод цит. по: У одра умирающих (издание 1863 г.). С. 60.

³¹⁴ Mittheilungen aus dem Nachlasse. S. 81.

Ту же мысль Розенштраух повторил, говоря о возможной пользе недавней эпидемии холеры, и в письме княгине Барятинской в 1830 году:

Не только *каждый* должен был опасаться в это тяжелое время за свою *собственную* жизнь; смерть столько же находила путей к сердцу каждого члена семьи, сколько близких людей было в его кругу. Самые болезненные и отвратительные симптомы этого несчастья, как и скорость, с какой эта болезнь убивала, способствовали тому, чтобы даже *честное* сердце было потрясено. Частые известия о смерти, доказательства того, как часто бесполезными оказывались все защитные средства и уверение в том, что ни положение, ни возраст, ни пол не могут *защитить* от смерти, усиливали впечатления и открыли *всем* сердца и уши для гласа Божия, который призывал к покаянию и перемене образа мыслей³¹⁵.

Помимо иллюзорного чувства безопасности, создаваемого богатством и положением в обществе, еще одним источником фатального духовного соблазна была «философия», то есть религиозный скептицизм. Розенштраух рассказывал о богобоязненном некогда офицере, утратившем веру в университетские годы, когда двое профессоров «совершенно, по нем, убедительно доказали ему неосновательность христианской религии». Впрочем, безверие угрожало не только высшему сословию: один немец-портной признавался на смертном одре, что хоть и вырос в благочестивой семье, но «во время своих странствований, увлеченный разговорами, примерами и книгами, научился он сначала пренебрегать христианскою религию, а потом и смеяться над нею»³¹⁶.

Отголоски прошлого

Прошлое было для Розенштрауха тяжким временем. По-дружески любивший его Лодер считал его жизненный путь — от актера к священнослужителю — убедительным образцом истории о грехе и искуплении, но далеко не все разделяли это мнение³¹⁷. Те, кого задевала страсть пастора к нравоучениям, обвиняли его в лицемерии. Он осуждал азартные игры и пьянство, но, как он рассказывал Симону,

³¹⁵ НИОР РГБ. Ф. 19/П. Картон 203. Ед. хр. 6в. Л. 38 об.

³¹⁶ Mittheilungen aus dem Nachklasse. S. 30, 39. Русский перевод цит. по: У одра умирающих (издание 1863 года). С. 60, 82.

³¹⁷ Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 117–118.

«когда я произношу проповедь об этом, все говорят: “Ну да, старику хорошо говорить! Он-то в юности все это прошел, а теперь, когда он уже для этого не годен, он хочет отнять у нас все удовольствия!”»³¹⁸.

Нападки на Розенштрауха основывались на том, что когда-то он был актером. Поэтому он старательно избегал каких бы то ни было разговоров о своем прошлом. По словам Блюменталя, «каждый разговор он быстро и умело сводил к теме христианства <...>. Даже когда он рассказывал интересные случаи из своей жизни, они были лишь переходом к какой-нибудь христианской истине, которую он тогда воодушевленно влагал в сердца присутствующих»³¹⁹.

Если же вовсе не упоминать о прошлом было невозможно, Розенштраух прибегал ко лжи: да, некоторое отношение к театру он имел, но актером уж точно не был. Иоганн Георг Коль, прибывший в Харьков через полтора года после смерти нашего героя, слышал о нем следующую историю, сочинить которую вряд ли мог кто-то кроме самого действующего лица:

Он родился и воспитан в Праге в низком состоянии, женившись там же очень рано, получил место подмастерья художника-декоратора. Он был тут так беден, что делил со своей семьей бедный соломенный тюфяк и в позднейшей своей жизни часто рассказывал своему ставшему богатым сыну в Москве, как часто умоляющий взгляд того доставлял ему большие страдания, ибо он временами не знал, чем сына кормить и во что одевать. Из Праги, также декоратором, он уехал в Брюссель, откуда его, австрийца, изгнала Французская революция. Так как на Западе Европы горизонт для него покрылся тучами, он обратился на Восток и последние заработанные в Брюсселе гроши потратил на покупку благовоний и парфюмерии, с которыми он и его семья погрузились в Любеке на корабль в Петербург. Здесь он основал так называемую косметическую лавку и завел благодаря своим благовониям знакомства среди некоторых благородных, которые помогли ему получить место в театре. На этом месте он вскоре поднялся с обыкновенной скоростью, с какой делают в России карьеру умелые и умные иностранцы, и дорос до инспектора большого императорского театра, надзор за которым был ему поручен. Однако с ним приключилось несчастье — театр под его начальством сгорел.

³¹⁸ Simon. Russisches Leben. S. 309.

³¹⁹ Mittheilungen aus dem Nachklasse. S. xi.

А так как в России принято, что все начальники отвечают головой за все им порученное, он полагал, что петербургский полицмейстер, тогда очень суровый человек, поставит ему в вину весь пожар в театре. Он приготовился поэтому собрать себе узелок в Сибирь. «Но Бог и сейчас еще являет иногда чудеса, и льва невидимым образом обуздывает», — говорил он, рассказывая эту историю. На другой день полицмейстер приехал к дрожащему инспектору театра и сказал ему: «Что, натерпелся вчера страха? Твой старый театр-то сгорел. Ну да ладно, ладно — постараемся снова построить лучшее!» — Тем не менее Н. (Розенштраух — А.М.) стал со временем думать, что, учредив модную торговлю в Москве, он еще увеличит свое благосостояние, и отправился туда...³²⁰

По стилю эта история, вышедшая как минимум в трех немецких изданиях и в переводе на английский, совершенно типична для Розенштрауха: это одновременно и экземпляр — притча, иллюстрирующая моральный довод, и театральная пьеса с такими характерными элементами, как сценические декорации и реквизит («бедный сломанный тюфяк»), авторские ремарки («дрожащий инспектор театра»), диалог и захватывающая сюжетная линия. Речь пастора обладала столь характерными интонациями, что Симону не составило труда воспроизвести ее по памяти (вспомним историю о пекаре, см. с. 52), а Колю — со слов третьих лиц. И все же в этом повествовании нет ни слова правды — это компиляция из фрагментов биографий двоих друзей Розенштрауха: Чермака, художника-декоратора из Праги, и Георга Арресто — знакомого Розенштрауха по совместной службе в труппе Крикеберга в Мекленбурге-Шверине в 1801–1804 годах. Арресто как раз и был директором петербургского Немецкого театра, когда тот сгорел в ночь с 31 января на 1 февраля 1806 года³²¹.

³²⁰ Kohl. Reisen. Bd. 2. S. 168–170. Отчет Коля был перепечатан как Charkoff und die Ukraine (Fortsetzung) // Das Ausland. 8 Dezember 1839. № 342. S. 1366–1368; как Lebensgeschichte eines Predigers in Charkow in Rußland // Allgemeine Bayerische Landes- und Volkschronik oder Geschichts-Jahrbücher des Neunzehnten Jahrhunderts / Hrsg. Jos. Heinr. Wolf. München, 1842. Bd. 1. S. 64–67; и (по-английски) как Interesting Account of a Lutheran Pastor // Church of England Magazine. 25 May 1844. № 465. P. 339–340.

³²¹ Губкина. Немецкий музыкальный театр. С. 43, 50; Bärensprung. Versuch. S. 183; Voß, W. Zur Geschichte der meklenburgischen Volkshymne // Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 1901. 66. Jahrgang. S. 163–226, здесь: 208 (в приложении, озаглавленном «Anhang I: Christlieb Georg Heinrich Arresto: Sein Leben und seine Werke», S. 192–216).

Весьма вероятно, что Розенштраух выдал чужую историю за свою еще в одном случае. Симон слышал от него, что после переезда в Москву, уже купцом, наш герой руководил частным театром, в конечном итоге обанкротившимся и закрытым генерал-губернатором³²². По другим сведениям, опубликованным спустя три года после смерти Розенштрауха, он всю жизнь был купцом и связался с театром только в Москве, когда ему предложили руководство труппой. Предложение это он принял, поскольку намеревался заставить актеров следовать христианским заповедям и подвергнуть цензуре исполняемые ими пьесы, но ушел в отставку под давлением публики, настаивавшей на привычных ей аморальных развлечениях³²³. Похоже, это ссылка на события из истории частного Немецкого театра в Москве с 1819 по 1821 год³²⁴. Антрепренером театра в этот период был Иоганн Гаппмайер, бывший сослуживец Розенштрауха по труппе Немецкого театра в Санкт-Петербурге³²⁵. Нет никаких доказательств тому, что Розенштраух имел хоть какое-либо отношение к московскому театру Гаппмайера.

Сложное отношение Розенштрауха к пережитому делает его воспоминания о событиях 1812 года еще более примечательными. Наш герой избегал обсуждать свое прошлое в «бренном мире» с другими, но самому ему, в его одиночестве, от воспоминаний было некуда деться. Кое-какие из них он записал в своих мемуарах о 1812 году. Объем этих записок столь велик, что Розенштраух, должно быть, посвятил им немалое время. Для кого он их писал: для своих детей? профессора Буша — в надежде на то, что тот, возможно, сумеет их напечатать? кого-то из своих друзей, таких как Блюменталь, Симон или княгиня Барятинская? или для потомков? Как бы хотелось это узнать...

Розенштраух завершил рукопись в 1835 году. В сентябре того же года к нему приехали погостить московские невестка и внуки³²⁶. 6 декабря пастор прочел проповедь по случаю именин Николая I и присутствовал на собрании церковного совета. Утром следующего дня, субботы 7 декабря, наш герой написал сыну Вильгельму с просьбой продлить его подписку на «Евангелический листок» на следующий год. В десять

³²² Simon. Russisches Leben. S. 306.

³²³ Burk, J. C. F. Evangelische Pastoral-Theologie in Beispielen. 2 Bände. Stuttgart, 1838–1839. Bd. 1. S. 20.

³²⁴ Погожев, В.П. Столетие организации императорских московских театров (Опыт исторического обзора). Вып. 1. Кн. 1. Обзор с 1806 по 1826 год. СПб., 1906. С. 246–247.

³²⁵ Aus St. Petersburg, im Febr. // Der Freimüthige oder Ernst und Scherz. 2 März 1805, № 44. S. 175–176.

³²⁶ Mittheilungen aus dem Nachlasse. S. 161.

утра он собрался было выйти из дома, но внезапно занемог. В два часа дня позвали Блюменталя, бывшего по профессии врачом, и друзья вместе помолились. Фельдшер все еще пытался сделать Розенштрауху кровопускание, когда тот испустил дух³²⁷. Блюменталь назвал его смерть легкой — именно такую кончину пietисты считали кульминацией жизни христианина. Причиной смерти назвали отек легких.

Благодарные Розенштрауху люди желали почтить его память. На похороны собралось множество бедноты и представителей других вероисповеданий³²⁸. Доктор Карл Вильгельм Кристоф (Карл Антонович) фон Майер пожертвовал в память пастора крупную сумму 1000 рублей ассигнациями. Часть этих денег должна была быть использована на учреждение ежегодной Премии Розенштрауха для учащихся харьковской лютеранской приходской школы³²⁹. Сам К.А. фон Майер жил в Санкт-Петербурге (он был старшим врачом Обуховской больницы), но его отец, тоже врач, был инспектором Слободско-Украинской врачебной управы и жил в Харькове; вот он-то вполне мог быть дружен с Розенштраухом, своим земляком по Бреслау³³⁰. Распространялось и изображение Розенштрауха. Единственный известный его портрет был написан в 1834 году австрийским художником Иоганном Батистом Фердинандом Матиасом Лампи (1807–1855)³³¹. Гравированные копии этого портрета продавали в ходе благотворительной кампании с целью пополнить пожертвование доктора фон Майера (см. илл. 2 и 3). К 1839 году доход от продажи гравюр составил 500 рублей ассигнациями³³². В том же году гравированные иллюстрации к гнедичевскому переводу «Илиады» рекламировались по цене 4 рубля за набор из 24 рисунков³³³; судя по этим расценкам, портрет Розенштрауха пользовался у покупателей большой популярностью.

³²⁷ Mittheilungen aus dem Nachlasse. S. xiii–xiv.

³²⁸ Ibid. S. xv.

³²⁹ Döllen. Kurze Geschichte. S. 35–36, 44.

³³⁰ Ibid. S. 44; Medicinisch-Chirurgische Zeitung. 5 Juli 1832. Bd. 3. № 54. S. 32; Ходанович, В.И. Немцы в Екатерингофе. Доктор медицины и хирургии Карл Майер (1793–1865) // Немцы в Санкт-Петербурге: биографический аспект. СПб., 2011. Вып. 6. С. 212–226.

³³¹ Благодарю за эту информацию искусствоведа Роберто Панкери (Roberto Pancheri) из Трентского университета.

³³² Döllen. Kurze Geschichte. S. 40.

³³³ Русская книга девятнадцатого века / Ред. В.Я. Адарюков и А.А. Сидоров. М., 1925. С. 328.

Глава 6

«Есть у книжек судьба»: наследники Розенштрауха, 1820–1870

«*Pro captu lectoris habent sua fata libelli*», — писал древнеримский автор Теренциан Мавр: судьба книг зависит от восприятия их читателей³³⁴. Судьба записок Розенштрауха о событиях 1812 года подтверждает этот афоризм.

За время, минувшее со смерти автора, и до самого XXI века публика лишь однажды услышала о существовании этого текста³³⁵, но до сих пор не имела возможности с ним ознакомиться. Среди потомков Розенштрауха он передавался из поколения в поколение как семейная святыня, окруженная ореолом загадочности. Пра пра правнучка Розенштрауха рассказала мне слышанное ей в 1980-х годах, от своей бабушки, родившейся в 1889 году, что первоначально мемуар описывал и ранние годы жизни Розенштрауха, но члены семьи удалили эту часть, утеряв таким образом навсегда сведения о том, почему он эмигрировал из Германии в Россию³³⁶. Рукопись, на которой основана настоящая публикация, не обнаруживает никаких следов уничтожения текста. В то же время с 1788 года Розенштраух вел дневник, который, очевидно, утерян³³⁷ — возможно, именно этот автобиографический текст имела в виду бабушка моей респондентки.

Откуда вся эта секретность? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит воспользоваться советом Теренциана и пристальнее присмотреть-

³³⁴ Lowden, John. *The Jaharis Gospel Lectionary: The Story of a Byzantine Book*. New York, 2009. P. xiii.

³³⁵ Корелин. Новые данные о состоянии Москвы в 1812 году.

³³⁶ Сообщено в личной беседе г-жой Эльке Бриуэр (Elke Briuer).

³³⁷ См. с. 39.

ся к читателям или, по крайней мере владельцам рукописи, то есть исследовать историю потомков Розенштрауха и их место в обществе имперской России.

Зачем и для кого Розенштраух писал свои воспоминания, неизвестно, но, поскольку он работал над ними в последние месяцы жизни, рукопись вполне могла, вместе с остальными его бумагами, попасть в руки его детям. Розенштраух жил в Харькове со своей незамужней дочерью Вильгельминой: после смерти отца или после смерти Вильгельмины рукопись, вероятно, перешла к единственному наследнику пастора — проживавшему в Москве сыну Вильгельму.

Публикация мемуаров Розенштрауха была бы вполне объяснимым решением. Воспоминания о войне 1812 года пользовались в России большим спросом, а имя Иоганна-Амвросия Розенштрауха, как мы увидим, было у российских литераторов на слуху. Вильгельм наверняка об этом знал, ведь, в отличие от своего отца, он прекрасно говорил по-русски и был, в том числе через семью жены, связан с миром российской литературы и искусства. По жене он приходился собственником М.П. Погодину. Кроме того, он был знаком с князем Петром Андреевичем Вяземским; в 1860 году Вильгельм писал тому о «долгих годах» их знакомства³³⁸. Дочь Вильгельма Наталья была замужем за Андреем Болиным, придворным поставщиком ювелирных украшений³³⁹. Сын Вильгельма Фридрих (по-русски Федор) переводил русскую литературу на английский язык³⁴⁰, а в 1876–1878 годах пожертвовал «до 120 масонских книг и брошюр на немецком языке» Московскому публичному и Румянцевскому музеям (предшественнику нынешней Российской государственной библиотеки)³⁴¹. Другой потомок Вильгельма (возможно, еще один его сын), Карл, в 1902 году предложил

³³⁸ Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 195. Оп. 1. Ед. хр. 2671 («Письмо Розенштрауха В. Вяземскому Петру Андреевичу»), 23 марта 1860 г.

³³⁹ См. выше, с. 49.

³⁴⁰ Согласно The Cambridge Bibliography of English Literature / Ed. Joanne Shattock. 3rd ed. Cambridge, 1999. Vol. 4: 1800–1900. Col. 185. Фридрих Розенштраух был переводчиком сочинения графа Соллогуба «Тарантас (Путевые впечатления)», вышедшего по-английски под названием The Tarantas: Travelling Impressions of Young Russia, With Eight Illustrations. London, 1850.

³⁴¹ Коваль, Л.М. Не славы ради... О частных дарениях и общественном почине в пользу Московского публичного и Румянцевского музеев, Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина, Российской государственной библиотеки. М.; СПб., 2000. С. 119.

жил Третьяковской галерее купить у него картину кисти Ивана Константиновича Айвазовского³⁴².

Полагаю, напечатать рукопись Вильгельму помешали сложные чувства по отношению к отцовскому (да и своему) прошлому. В частной жизни он от этого прошлого не отказывался и поддерживал переписку с отцом до самой смерти последнего. Масонские книги, впоследствии пожертвованные Фридрихом музею, вполне возможно, остались еще со времен масонской карьеры Вильгельма и его отца до 1822 года. Похоже, Вильгельм сохранил и портрет своего отца работы Лампи. Однако за пределами семьи Розенштраух-младший всячески избегал демонстрировать какую бы то ни было связь с отцом.

Вильгельм Розенштраух

Такой поворот событий явно не соответствовал намерениям Иоганна-Амвросия. Сам он повторно жениться не мог, но позаботился о том, чтобы брачные узы связали с местными семьями его отпрысков Вильгельма и Елизавету. Самому ему пришлось получать богословское образование неформально, в Одессе, однако своего сына Вильгельма он послал учиться в университет — в Дерпт. Муж Елизаветы стал прусским посланником в Москве, а Вильгельм — чиновником основанной Розенштраухом масонской ложи. Уезжая в Одессу, Иоганн-Амвросий передал свой магазин Вильгельму, но какое-то время казалось, что он еще сможет вернуться и стать пастором своей бывшей приходской церкви в Москве. Рисовалась заманчивая картина будущего, в котором семейство Розенштраух играло бы ведущие роли в торговых, религиозных, политических и масонских кругах московской немецкой диаспоры.

После того как Розенштраух-старший проиграл выборы на пост пастора и застрял в Харькове, Вильгельму пришлось строить себе карьеру самостоятельно. Продвижения он добивался сразу в трех областях: карабкаясь вверх по официальной лестнице сословий и почестей, занимаясь благотворительностью и занимая неоплачиваемые, но престижные общественные посты. Даже краткого знакомства с его карьерой вполне достаточно, чтобы понять, что возвышение Вильгельма было продуманным и целеустремленным.

³⁴² РГАЛИ. Ф. 646. Оп. 1. Д. 40 («Переписка к журналам заседаний Совета за 1902 г.»). Л. 79 (письмо Карла Розенштрауха Третьяковской галерее, 18 сентября 1902 г.).

Примерно тогда, когда Вильгельм перенял отцовский магазин, семья Розенштраух перешла в первую купеческую гильдию (сообщают, что в 1820 году Иоганн-Амвросий Розенштраух принадлежал ко второй гильдии, а в 1821 году уже к первой³⁴³). Вместе взятые, две эти гильдии представляли собой элиту российского предпринимательства. В период между 1816 и 1858 годами в каждый конкретный момент к первой гильдии в России принадлежало всего около 500–1000 семей, а ко второй только 1200–2700³⁴⁴. В Москве в 1810 году в обеих гильдиях состояло 118 и 375 семей соответственно. Из-за наполеоновских войн к 1823 году эти показатели упали до 45 и 150 семей; к 1825 году первая гильдия восстановилась до 136 семей, тогда как вторая гильдия по-прежнему насчитывала лишь 149 членов³⁴⁵.

Переход в первую гильдию стоил недешево: взнос составлял 2200 рублей в год, тогда как членство во второй гильдии обходилось всего в 880 рублей ежегодно. Обеим гильдиям разрешалось заниматься торговлей примерно одинакового размаха: разница заключалась лишь в том, что купцу второй гильдии непозволительно было ввозить из-за границы партии товаров стоимостью свыше 50 000 рублей каждая, а его ежегодный оборот торговли с заграницей не мог превышать 300 000 рублей³⁴⁶. Непонятно, требовался ли Вильгельму статус купца первой гильдии для продвижения дела. В 1833 году он еще входил в список купцов первой гильдии, но в 1842 и 1857 годах, несмотря на процветание семейного предприятия, он числился уже среди членов второй гильдии³⁴⁷.

Возможно, Вильгельму импонировал престиж статусных символов, доступных купцам первой гильдии и похожих на дворянские. Так же как чиновники, купцы первой гильдии имели право носить губернский мундир. Они могли просить о присвоении им почетных титулов негоцианта, банкира или коммерции советника; получать

³⁴³ ЦИАМ. Ф. 2099. Оп. 1. Д. 40. Л. 53 об.; *Bienemann. Werden und Wachsen.* S. 109.

³⁴⁴ Эти подсчеты основаны на среднем значении за пять лет: см.: *Hildermeier, Manfred. Bürgertum und Stadt in Rußland 1760–1870: Rechtliche Lage und soziale Struktur.* Köln, 1986. S. 348–349.

³⁴⁵ Нилова О.Е. Московское купечество конца XVIII — первой четверти XIX века: социальные аспекты мировосприятия и самосознания. М., 2002. С. 37; *Hildermeier. Bürgertum und Stadt.* S. 169.

³⁴⁶ ПСЗ (Первая серия). Т. 39. № 30.115 (14 ноября 1824). § 5, 37.

³⁴⁷ Материалы для истории московского купечества / Сост. Н.А. Найденов. М., 1888. Т. 7. С. 233; Там же, 1857. Т. 9. С. 283; *Нистрем Н. Московский адрес-календарь для жителей Москвы в 4 томах.* М., 1842. Т. 3. С. 237.

ордена; и ходатайствовать о разрешении их сыновьям поступать на гражданскую службу на тех же правовых основаниях, что и сыновья обер-офицеров. Ощущение уподобления купцов первой гильдии дворянству дополнительно подкреплялось статьей закона, гласящей, что «вообще купечество 1 гильдии не почитается податным состоянием, но составляет особый класс почетных людей в Государстве»³⁴⁸.

Кроме того, Вильгельм снискал известность в обществе как видный филантроп. Едва переняв семейное дело в 1820 году, он целеустремленно начал жертвовать на благотворительность и своим размахом перешеголял даже своего отца, делавшего вполне существенные взносы. Согласно приходской книге записи взносов в помощь вдовам и сиротам, в годы между 1817 и 1826 большинство прихожан лютеранской церкви сдавало до 20 рублей в год; меньшая часть около 25 рублей; несколько человек жертвовали около 50 рублей, и лишь один вносил свыше 100 рублей, и то не каждый год. Взнос Розенштрауха-старшего обычно составлял от 20 до 25 рублей в год, Вильгельм же стал давать от 50 до 54 рублей, то есть максимальную в большинстве случаев сумму пожертвования³⁴⁹. В 1824 году Вильгельм пообещал давать по 100 рублей в год — больше почти всех прочих дарителей — петербургской глазной больнице³⁵⁰. Двумя годами позже читатели «Вестника Европы» узнали, что 25 марта 1826 года в Москве был образован комитет по созданию глазной больницы для бедных. Подписавшие соглашение перечислялись в соответствии с занимаемым ими положением в обществе: сначала шли девять чиновников (в эту группу входили и врачи), затем двое неслужилых дворян и, наконец, трое купцов первой гильдии, в том числе Василий Иванович (Вильгельм) Розенштраух³⁵¹.

Одним из титулов, на которые могли претендовать купцы первой гильдии, было звание коммерции советника, и в декабре 1825 года Лодер успешно ходатайствовал о присвоении этого титула Вильгельму. Это звание, введенное в государственный оборот в 1800 году с целью повысить статус элиты среднего класса, уравнивало его носителя в правах с обладателями восьмого ранга по Табели о рангах (за тем исключением, что коммерции советники не

³⁴⁸ ПСЗ (Первая серия). Т. 39. № 30.115 (14 ноября 1824 г.). § 21–25, 27, 28.

³⁴⁹ ЦИАМ. Ф. 2099. Оп. 1. Д. 43. «Книга записи взносов в помощь вдовам и сиротам за 1817–1826 гг.»

³⁵⁰ Beiträge zum Besten der Privat-Augen-Heilanstalt zu St. Petersburg // St. Petersburgische Zeitschrift. 1824. Bd. 15. S. 112–119, здесь: 113.

³⁵¹ Объявление // Вестник Европы. 6 марта 1826 г. № 6. С. 155–160.

получали дворянства)³⁵². Письмо Лодера наглядно показывает, что престиж купца в глазах государства зажился на совокупности таких его качеств, как образованность, богатство и активная деятельность на благо общества. В своем письме Лодер всячески рекомендовал Вильгельма:

Здешний купец первой гильдии, Вильгельм Розенштраух, который <...> учился в Дерптском университете, а при здешнем университете состоит 6 лет комиссионером без вознаграждения. За это время он не только уладил многие комиссионные дела за границей безвозмездно, с большим энтузиазмом и пунктуальностью, но и обогатил анатомический кабинет подарками, которые занесены в каталог. Заслуживает и упоминания, что он, старейшина евангелической общины в церковном совете прихода Св. Михаила, уже три года оказывал церкви и связанной с ней школе важнейшие услуги³⁵³.

Как видно из письма Лодера, церковь Св. Михаила была для Вильгельма важным объектом общественной деятельности. С 1823 по 1836 год он был старейшиной церковного совета, а затем невероятно долго — с 1836 по 1869 год — служил председателем церковного совета³⁵⁴. Значимость этой церкви для московской немецкой диаспоры явственно прослеживается в русскоязычных воспоминаниях, написанных в 1880-х годах сыном одного из прихожан. Помимо всего прочего этот текст свидетельствует о том, какочно было забыто сомнительное происхождение семьи Вильгельма:

Мать моя <...> была прихожанкой церкви св. Михаила в немецкой слободе. В Москве и в то время (1840-е годы. — А.М.) были уже два лютеранских молитвенных дома или две кирки (Kirche), как они тогда назывались. К первой старинной, св. Михаила, принадлежало все высшее общество немецкой колонии с престарелым комендантом Стаалем во главе, бароны Брангель, Соммаруга и друг., некоторые сенаторы и самые старые, издавна поселившиеся в Москве дома немецкого купечества: Розенштраух и друг., и вообще все

³⁵² ПСЗ (Первая серия). Т. 26. № 19.347 (27 марта 1800 г.).

³⁵³ РГИА. Ф. 733. Оп. 29. Д. 90 («Розенштраух, московский 1 гильдии купец, комиссионер Московского университета. О награждении его званием коммерции советника»). Л. 3 (письмо Лодера попечителю Московского университета Писареву, 16 декабря 1825 г.).

³⁵⁴ Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 531–532.

верные старым преданиям евангелико-лютеранского исповедания (*Altgläubige*). Пасторы церкви св. Михаила отличались строгой благочестивой жизнью: *Kartenspiel* [карточные игры] и *Tanzgesellschaft* [танцы] в их семейном быту не допускались. К другой новой — свв. апостолов Петра и Павла на Маросейке принадлежали почти все вновь прибывавшие члены немецкой колонии. Здесь уже допускались некоторые новшества и веяния Тюбингенской школы. Это были уже *Neugläubige* [нововеры], которые первых [традиционалистов] величали пietистами, гернгутерами³⁵⁵.

Другую возможность для карьерного роста Вильгельму предоставил его зять Кинен, прусский консул. Сестра Вильгельма Елизавета умерла еще в 1823 году, но ее муж и брат сохранили близкие отношения, и Кинен сделал Вильгельма своим заместителем. Вильгельм, однако же, метил выше. В 1827 году прусский посланник сообщал в Берлин, что разделяет «благоприятное мнение» о Розенштраухе прусского министерства иностранных дел, и присовокуплял:

Пока что его торговля не слишком масштабна, но благодаря своей деятельности в Москве он завязал разнообразные знакомства, которые помогут ему быть весьма полезным тамошним подданным Его Королевского Величества. Кроме того, могу <...> доложить, что он горячо стремится получить пост королевского консула, как только появится подобная вакансия³⁵⁶.

Мечта Вильгельма сбылась в 1829 году: его назначили консулом, когда Кинен переехал в Германию. Розенштраух-младший занимал эту неоплачиваемую должность вплоть до 1866 года — дольше, чем любой другой прусский консул в России³⁵⁷. В 1860 году Отто фон Бис-

³⁵⁵ Фил-нов Д.Д. [Дмитрий Дмитриевич Филимонов]. Материалы для биографии основателя алтайской миссии архимандрита Макария // Православное обозрение. Май–август 1888 г. Т. 2. С. 588–623, здесь: 615. О генерале Карле фон Сталае (von Staal) см.: Fechner. Chronik. Bd. 2. S. 542; о генерале Генрихе фон Соммаруге (von Sommaruga) Ibid. Bd. 2. S. 351. Тюбингенская школа — группа богословов, впервые применивших источниковоедческий анализ к изучению Библии.

³⁵⁶ GStA III НА. MdA. Abt. II. № 442 («Acta betr.: das Königliche Consulat zu Moscau»). Blatt 40r–40v (Шёлер (Schöler) — прусскому министерству иностранных дел, 31/19 августа 1827 г.).

³⁵⁷ Amburger, Erik. Fremde und Einheimische im Wirtschafts- und Kulturleben des neuzeitlichen Russland: Ausgewählte Aufsätze / Hrsg. Klaus Zernack. Wiesbaden, 1982. S. 247, 251.

марк, бывший в то время посланником Пруссии в Санкт-Петербурге, превозносил Розенштрауха за «честность, служебное рвение и осмотрительность». Не проходило и недели, писал Бисмарк, как прусское посольство обращалось к Вильгельму за помощью «по какому-либо вопросу об истребовании или обнаружении наследства или еще каком-либо посредничестве», и «каждый раз порученное ему дело бывало исполнено быстро и в срок»³⁵⁸.

В 1834 году благодаря своему титулу коммерции советника Вильгельм сумел получить вновь введенное звание «потомственного почетного гражданина». Это важный момент в истории семьи Розенштраух. С юридической точки зрения положение Вильгельма и его отца всегда было довольно неопределенным. Как актер Розенштраух-старший целиком и полностью зависел от своего антрепренера. Поэтому вступление в купеческую гильдию было для него большим шагом, ведь купцы в России, подобно дворянству и духовенству, обладали важными привилегиями: они были освобождены от рекрутской повинности и телесных наказаний, а также от подушной подати, круговую поруку (то есть коллективную ответственность) за которую несли все члены местных общин. Эта последняя привилегия выводила купцов из-под власти общины над отдельными своими членами, связанными системой круговой поруки. Однако купеческие привилегии сохранялись только до тех пор, пока их обладатель был в состоянии платить ежегодные гильдейские взносы. Получив статус потомственного почетного гражданина, Вильгельм гарантировал своим потомкам сохранение этих привилегий и возможность передавать их по наследству³⁵⁹.

Помимо прочего, обладатель звания почетного гражданина обретал престиж и становился видной фигурой в обществе. Судя по справочнику, в 1834 году в Москве звание потомственных почетных граждан было пожаловано лишь 27 семьям, а во всей Российской империи — всего 196 семьям. О большинстве из этих 196 награжденных справочник сообщает лишь их фамилию и имя, место жительства и гильдию, тогда как запись о Вильгельме Розенштраухе включает также целый список званий и наград: «Розенштраух Василий (Ком[мерции] С[о]в[етник]) [Ордена] Св. Вл[адимира] 4й ст[епени] Св. Ап[тии] Зй ст[епени] Прусского Красн[ого] Орла 4й ст[епени] Московский 1[й гильдии купец]»³⁶⁰.

³⁵⁸ GStA III НА. MdA. Abt. II. Nr. 442. Blatt 83г–83в (Бисмарк барону фон Шлейницу, 5 сентября 1860 г.).

³⁵⁹ ПСЗ (Вторая серия). Т. 7. № 5.284 (10 апреля 1832 г.).

³⁶⁰ Петров Александр. Памятная книга российской промышленности на 1843 год. М., 1843. С. 260.

За пятьдесят лет Вильгельм Розенштраух создал себе солидное реноме одного из самых влиятельных московских горожан. После его смерти в 1870 году именно деятельность Вильгельма на благо общества стала основной темой написанного Погодиным некролога:

В продолжении сорока лет он нес с честью и пользою многие общественные службы в Москве: в тюремном комитете, которого был лет тридцать главным деятелем с доктором Газом; в Глазной больнице, учрежденной преимущественно по его старанию; в комитете о продовольствии арестантов, в комитете для разбора и признания просящих милостию. <...> Несколько лет был комиссионером Московского университета, около сорока лет президентом церковного совета при старой лютеранской церкви Св. Михаила, и попечителем ее школы. В 1828 году, вместе с знаменитым Лодером, устроил заведение искусственных минеральных вод, которое <...> принесло много пользы для всех нуждавшихся в этом лечении.

Сверх того, он с 1829 по 1866 год исправлял должность генерального консула прусского.

Вот гражданские заслуги покойного Розенштрауха. Все московские генерал-губернаторы <...> полагались на его мнение в случаях когда обращались к нему с вопросами. Нечего говорить каким уважением он пользовался в кругу всех его знакомых. А кто же его не знал?³⁶¹

Общественной деятельности Вильгельма способствовало процветание его магазина, среди покупателей которого были выходцы из высших слоев российского общества. Например, в сентябре 1824 года Александр Яковлевич Булгаков писал из Москвы своему брату Константину о ходе поездки императора по российским губерниям и добавлял: «Он щедро сыплет деньги и подарки на пути. К Розенштрауху прислано 30 тысяч для покупки разных мелочных подарков, как то: перстни, фермуары, табакерки, цены не выше 800 рублей и не менее 150»³⁶². Очевидно, Розенштраух был способным и честным предпринимателем, преуспевшим в создании для своего магазина яркого, привлекательного образа. В 1826 году один автор описывал торговые точки Кузнецкого моста одновременно иронично и соблазнительно:

³⁶¹ Погодин, М. Некролог // Московские ведомости. 1870. 5 июня. № 118.

³⁶² Братья Булгаковы: Переписка. М., 2010. Т. 2. С. 460.

Почтенный читатель, оставя дома кошелек ваш и запасшись благоразумием, можно из любопытства заглянуть в магазины; начнем с Розенштрауха. При первом шаге вашем в его магазин глаза ваши не будут знать, на чем остановиться, все так прекрасно и у места расставлено, что вдвое кажется лучше, нежели есть в самом деле. Начиная от богатых ламп, ваз, бронзы, даже до последней щеточки для ногтей, все так чисто и хорошо расположено, что обворожает зрение. — Скупой! не ходи сюда, или долго будешь раскаиваться³⁶³.

Торговое заведение Вильгельма стало так знаменито, что стало появляться в литературе как символ дорогого магазина. Например, в повести «Густав Гацфельд» (1839) В.А. Ушаков пишет об одной из героинь: «Вышедши замуж за дворянина, она легко могла <...>, встретив одну из них (то есть бывших пансионских подруг — А.М.) в магазине Розенштрауха, занятую рассматриванием сторублевых вещиц, тут же потребовать бронзы и фарфора тысяч на пять»³⁶⁴. В том же ключе заведение Розенштрауха упоминалось в других художественных произведениях, например, в романе И. Тургенева «Накануне»³⁶⁵, и в журналистике³⁶⁶.

Таким образом, Вильгельм Розенштраух заработал себе внушительную репутацию. Как мы увидим позже, точно так же поступал и его отец. Примечательно, что, хотя фамилия Розенштраух встречается в России крайне редко³⁶⁷, почти никто не замечал связи между двумя ее носителями. Выяснение причин этого прольет свет одновременно на механизмы работы имперского российского общества и на судьбу воспоминаний о 1812 году.

³⁶³ [Гурьянов, И.Г.]. Москва, или Исторический путеводитель по знаменитой столице Государства Российского в 4 томах. М., 1827–31. Т. 3. С. 160–161.

³⁶⁴ Ушаков, В.А. Густав Гацфельд. Повесть // Отечественные записки. 1839. Т. 7. Ч. 3. Словесность. С. 5–130, здесь: 79.

³⁶⁵ Тургенев, И. Записки охотника. Накануне. Отцы и дети. М., 1971. С. 435; Нарская Е. Свободный выбор. Повесть // Русский вестник. 1858. Т. 17. С. 103–84, здесь: 144; Салиас, Евг., граф. Сумма трех слагаемых... Повесть // Вестник Европы. 1901. Октябрь. 36-й год. Кн. 10. С. 485–536, здесь: 492.

³⁶⁶ Ш., Александра С. Моды, платья и наряды московских дам // Москвитянин. 1856. Т. 2. № 7. С. 352–368, здесь: 356.

³⁶⁷ Вильгельм и его отец — единственные Розенштраухи в Москве, согласно справочнику Н. Нистрема (Московский адрес-календарь для жителей Москвы в 4 томах. М., 1842. Т. 3. С. 237). В Санкт-Петербурге ни одного Розенштрауха не числилось, см.: Городской указатель, или Адресная книга присутственных мест, учебных заведений, врачей, художников и разных предметов торговой и ремесленной производительности на 1850 год (СПб., 1849).

Пути (со)общения

Мне известен только один текст современника, в котором Вильгельм описывается как сын своего отца. В брошюре, изданной по случаю открытия Комитета для признания просящих милостыню в 1839 году, Федор Николаевич Глинка писал, что «в числе самых жарких участников и деятелей по Комитету справедливость требует назвать: Розенштрауха, наследовавшего от почтенного родителя своего любовь к бедным, высокое стремление к пользе человечества»³⁶⁸. Во всех прочих случаях у Вильгельма отца как будто не было, несмотря на то, что тот, по всей видимости, был единственным другим сколь-нибудь заметным в Российской империи носителем фамилии Розенштраух. Дабы понять, как такое было вообще возможно, стоит повнимательнее присмотреться к тому, как и откуда поступала информация об Иоганне-Амвросии Розенштраухе.

За пределами кругов общения, в которых он участвовал лично, Розенштраух-старший при жизни был известен в основном по разрозненным сообщениям немецкой прессы. Искать их — все равно что разыскивать пресловутую иголку в стоге сена. По счастью, Интернет позволяет производить поиск по огромному количеству публикаций XIX века, и именно так я обнаружил перечисленные ниже упоминания о Розенштраухе. Сколько еще упоминаний о нашем герое сохранилось в неоцифрованных архивах, мне неизвестно.

В 1804–1809 годах его имя регулярно встречалось в отчетах театральной периодической печати о петербургском Немецком театре, тем самым позволяя немецким театралам следить за ходом артистической карьеры нашего героя. Затем он на целое десятилетие пропадает из поля нашего зрения. В 1820 году одна газета назвала Розенштрауха в числе участников освящения новой лютеранской церкви Св. Петра и Павла на Маросейке в Москве³⁶⁹. Гораздо более значимо сообщение широко читаемой газеты «Гамбургский корреспондент», опубликовавшей в 1821 году статью о назначении «московского купца Розенштрауха» пастором Одессы. В статье не было ни единого намека на то, что этот пастор и актер Розенштраух — одно и то же лицо:

³⁶⁸ Цит. по: П.К. Обед, какого не бывало! Москва, 1840 (книжное обозрение) // Маяк современного просвещения и образованности. 1840. Ч. 12. С. 199–204, здесь: 202.

³⁶⁹ Moskau, vom 6. Dezbr. a. St. // Münchener Politische Nachrichten. 1 Februar 1820. № 27. S. 129–130.

Этот человек 54 лет, вдовец, ранние годы жизни которого были посвящены другим делам и который вдоволь пострадал от нужды и невзгод, позже вступил в купеческое сословие, где судьба так благоволила ему, что он открыл в Москве один из лучших и чаще всего посещаемых магазинов так называемых галантейных товаров. Он оставил процветающую торговлю (передал магазин сыну) и нежно любившую его семью и год назад приехал сюда, чтобы <...> посвятить остаток жизни <...> службе Евангелию.

Статья отмечала экуменизм Розенштрауха, выражавшийся в участии в его испытаниях на пасторское звание реформатского и римско-католического клира, однако подчеркивала, что, несмотря на это, он «не мечтательный мистик (*Schwärmer*) и не [религиозный] фанатик, но <...> человек, которому льстит всеобщее уважение к его неподдельному благочестию и любви к ближнему»³⁷⁰.

Одним из тех, кто прочел это объявление (или какое-то другое, написанное в том же духе), был винодел Карл Кёльнер из баварского города Вюрцбурга. Кёльнер также стремился оставить предпринимательство и последовать своему духовному призванию. Пример Розенштрауха, писал Кёльнер своему отцу, вдохновлял на подражание:

Мои виноградники проданы, и вскоре я надеюсь отказаться и от своего дома, но куда потом? Это следующий вопрос. Несколько дней назад я с большим интересом прочел новость о том, что богатый купец из Москвы, Розенштраух, на 54-м году жизни отказался от своего магазина, чтобы посвятить оставшиеся ему дни проповеданию Евангелия; он вступил в духовное сословие и имеет назначение в Одесском районе. Это написано как будто специально мне в утешение в нынешней моей ситуации. Надеюсь, Господь отворит дверь и нам тоже³⁷¹.

Разумеется, Бавария довольно далеко отстояла от юга России. Чтобы выяснить, как именно новость о Розенштраухе добралась из Одессы до самого Вюрцбурга, стоит ненадолго отступить от основной темы,

³⁷⁰ Schreiben aus Odessa, vom 20. August // Staats- und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten. 19 September 1821. № 150. [Страницы не пронумерованы.]. Краткий отчет о рукоположении Розенштрауха появился в Allgemeines Repertorium der Literatur. 1821. Bd. 4. S. 156.

³⁷¹ Mittheilungen aus dem Leben des theuern Vaters Carl Köllner. Kornthal, 1855. S. 78.

ведь только так можно понять, что связывало отдельные социальные группы в Германии и в России, — а известие о Розенштраухе достигло его родины посредством именно этих связей.

Одним из таких связующих звеньев была крупная пietистская община в Вюртемберге, направлявшая на юг России множество переселенцев и миссионеров. Кёльнер (1790–1853) вышел из этой среды и сохранял с ней связи и после своего переезда в Баварию. Он был активным членом Немецкого общества в поддержку христианства (*Deutsche Christentumsgesellschaft*) — организации, отвечавшей за деятельность миссионерской семинарии в Базеле. Отец Кёльнера, вдовий пietистский пастор из Вюртемберга, занял должность в базельском отделении Немецкого общества, и Кёльнер-младший надеялся тоже туда перебраться и открыть школу для иудеев, желающих обратиться в христианство. Семинария в Базеле сотрудничала в деле подготовки миссионеров для России с Британским и зарубежным библейским обществом. Таким образом, юг России с Англией, Вюртембергом и Базелем объединял, в частности, пietизм.

Кёльнер был также связан с Игнацием Линдлом — диссидентствующим католическим священником, отправившимся в Россию и присутствовавшим при рукоположении Розенштрауха. Кёльнер пристально следил за развитием карьеры Линдла. Как активный участник деятельности нюрнбергского (не слишком отдаленного от Вюрцбурга) отделения Немецкого общества в поддержку христианства Кёльнер благодаря своим связям в Нюрнберге получал информацию не только о Линдле, но и о России и ее правительстве в целом. Так, 4 января 1820 года он писал отцу, что «[Линдл] благополучно прибыл в Петербург и был весьма радушно принят князем Голицыным, а также императором <...> в целом, Россия ныне является образец истинно христианской жизни, не в пример Германии. Глядя на нее, я не перестаю удивляться»³⁷².

Религия, впрочем, была не единственным, что связывало Вюрцбург с Одессой. После смерти Розенштрауха в 1835 году краткие заметки о его кончине появились в газетах Львова (Лемберга), Нюрнберга и Мюнхена³⁷³. В эпоху до железнодорожного сообщения один из основных европейских торговых путей вел из Одессы через Киев, Львов и Краков в Лейпциг, а оттуда на юг и запад Германии. Тот факт,

³⁷² Mittheilungen aus dem Leben des theuern Vaters Carl Köllner. S. 48–49.

³⁷³ Lemberger Zeitung. 8 Februar 1836. № 16. S. 64; Allgemeine Zeitung von und für Bayern. 4 Februar 1836. № 35; Der Bayerische Landbote. 7 Februar 1836. № 38. S. 164.

что заметка о смерти Розенштрауха вышла в Львове — городе, с которым наш герой, судя по всему, не имел никаких связей, наводит на мысль, что по этой древней дороге путешествовали не только товары, но и информация. Интерес немцев к Одессе и к Черноморскому региону в целом особенно возрос в 1821 году, как раз когда Кёльнер прочел о рукоположении Розенштрауха. Сторонники Греции по всей Европе внимательно следили за Одессой, находившейся в непосредственной близости от театра военных действий Греческой войны за независимость: «Реаль Цайтунг», выходившая дважды в неделю в Эрлангене, что неподалеку от Бюргцбурга, упомянула Одессу по крайней мере 28 раз за период между июнем и сентябрем 1821 года, неизменно в контексте войны в Греции.

За пределами пietистских кругов сообщения о Розенштраухе временами носили оттенок осуждения, особенно когда речь заходила о его прошлом и сомнительной ортодоксальности его веры. Книжный обозреватель немецкого богословского журнала скептически отзывался о бытности нашего героя купцом и директором театра, после чего написал, что отчет Розенштрауха об услужении умирающим грешникам состоял из «самых поразительных, но вместе с тем самых неубедительных историй обращения на путь истинный» и что «многое в этих историях вплотную приближается к границам мистического фанатизма [*Schwärmerey*]»³⁷⁴.

Другие авторы связывали Розенштрауха с полемикой о подрывной деятельности заговорщиков и о модном при дворе Александра I мистицизме. Важным действующим лицом в этой полемике был Игнатий Аврелий Фесслер. Как мы помним, Фесслер был католиком, обратившимся в лютеранство и назначенным саратовским суперинтендентом. Он считал Розенштрауха близким по духу человеком и в 1824 году писал в своих воспоминаниях, что во время своего приезда в Москву в мае 1820 года он пребывал в «духовном общении с Розенштраухом, в котором уже тогда мощно проявилось призвание проповедовать Слово Господне»³⁷⁵.

³⁷⁴ Lorberg. Evangelische Pastoraltheologie etc., von M.C.F. Burk (Beschluß) // Theologisches Literaturblatt: Zur allgemeinen Kirchenzeitung. 15 September 1841. № 111. Kol. 897–903, здесь: 900.

³⁷⁵ Dr. Fessler's Rückblicke auf seine siebzigjährige Pilgerschaft: Ein Nachlass an seine Freunde und seine Feinde. Breslau, 1824. S. 377. Этот отрывок был перепечатан в статье Ignaz Aurelius Fessler // Encyclopädie der deutschen Nationalliteratur oder biographisch-kritisches Lexicon der deutschen Dichter und Prosaisten seit den frühesten Zeiten; nebst Proben aus ihren Werken / Hrsg. O.L.B. Wolff. Leipzig, 1837. Bd. 2. S. 347–356, здесь: 349.

В 1823 году Фесслер подвергся нападкам Карла Лиммера, пастора, с которым он вступил в конфликт в Саратове. В своей книге Лиммер утверждал, что Фесслер и другие мистики представляли собой угрозу престолу и алтарю, поскольку, следя иезуитской повестке дня, они проповедовали слепое повиновение еретикам: «Ничто иное не могло более угодить иезуитам и иллюминатам, гернгутерам и лицемерным ханжам, которые, прячась под маской поддельной святости, ищут лишь одного: подчинить монархов и целые народы своему иерархическому кнуту!»³⁷⁶ Фесслер и его коллега по масонству Пауль Помиан (Павел Павлович) Пезаровиус опубликовали опровержения, и немецкая пресса печатала сообщения о ходе полемики³⁷⁷. Лиммер был одним из предшественников Розенштрауха на посту харьковского пастора³⁷⁸, и теперь он мимоходом обвинил в участии в фесслеровских кознях «актера, а затем лавочника Розенштрауха», таким образом указывая на логическую связь между постыдным прошлым нашего героя и сомнительностью его религиозного правоверия³⁷⁹; этот пассаж был перепечатан несколькими немецкими изданиями³⁸⁰. Представление о связи между Розенштраухом и Фесслером бытовало долго: мы вновь обнаруживаем его в 1845 году, когда автор по имени Эдуард Рудольфи утверждает, что Розенштраух был саратовским суперинтендентом³⁸¹.

³⁷⁶ Limmer, K. Meine Verfolgung in Russland: Eine aktenmäßige Darstellung der Jesuitischen Umtriebe des D. Ignatius Fessler und seiner Verbündeten in jenen Gegenden. Leipzig, 1823. S. vii.

³⁷⁷ Vermischte Schriften (обзор работ: Limmer, Karl. Meine Verfolgung in Russland; Pesarovius, Paul. Ein Wort der Wahrheit. Leipzig, 1823; Fessler, Ignatius. Geschichte der Entlassung des gewesenen Pastors in Saratow, Karl Limmer. [Dorpat und Riga, 1823]) // Allgemeine Literatur-Zeitung. April 1824. № 88. Kol. 697–704; № 89. Kol. 705–712; № 90. Kol. 713–720; № 91. Kol. 721–723; рецензия на: Limmer, Karl. Das von Paul Pomian Pesarovius gegen die Geschichte meiner Verfolgung in Russland gesprochene Wort der Wahrheit in seiner Unwahrheit dargestellt. Ronneburg, 1824 //Theologisches Literaturblatt: Zur Allgemeinen Kirchenzeitung. 27 Mai 1825. № 21. Kol. 197–200; Polemik (обзор Pesarovius, Ein Wort der Wahrheit, и Fessler, Geschichte der Entlassung) // Allgemeines Repertorium der neuesten in- und ausländischen Literatur. 1823. Bd. 3. Stück 2. S. 145–147.

³⁷⁸ Döllen. Kurze Geschichte. S. 10.

³⁷⁹ Limmer. Meine Verfolgung in Russland. S. 176.

³⁸⁰ Отзыв Лиммера о Розенштраухе был перепечатан в Krug, Wilhelm Traugott, Enthüllung mystischer Umtriebe in und außer Leipzig. Leipzig, 1829, в свою очередь воспроизведенном в Die auf Missionen irrwandernde Erbsünde oder der zu Leipzig entlarvte Erbsünde-Prediger, Mr. de Reichmeister // Sophronizon: Eine unpartheyisch-freimüthige Zeitschrift, 1829, Bd. 11, H. 4, S. 57–78, здесь: 65, и в Krug, Wilhelm Traugott, Theologische Schriften, Braunschweig, 1830, Bd. 2, S. 486.

³⁸¹ Rudolphi, Eduard. Dreißig Jahre in Russland. Zürich, 1845. S. 136.

Помимо театральной периодики и высказываний пietистов, я нашел еще один комплекс упоминаний о Розенштраухе, начинающийся с краткой, исполненной симпатии к герою биографии Иоганна-Амвросия, очевидно вышедшей из-под пера его собрата по масонству Неттельбладта и напечатанной в мекленбургском масонском журнале в 1837 году. С точки зрения фактов статья вполне аккуратна, за тем исключением, что она утверждает, что Розенштраух стал епископом. То, что случилось после того, как эта статья была в 1862 году воспроизведена еще в одном масонском журнале³⁸², показывает, как отрывочная информация о Розенштраухе распространялась и как ее можно было эксплуатировать в зависимости от целей публикации.

На основе статьи Неттельбладта писатель Людвиг Брунир в своей биографии актера и франкмасона Фридриха Людвига Шрёдера (1744–1816) превратил Розенштрауха в символ антиклерикализма и просвещения. К моменту выхода книги Брунира в 1864 году актерство уже не считалось презренной профессией, и Брунир высмеивает клириков-реакционеров, во времена Шрёдера проклинавших актеров как грешников. Что бы они сказали, размышил он, описывая карьеру Розенштрауха, «узнав о том, что бывший актер и франкмасон стал — епископом!»³⁸³.

Директор одной берлинской школы Карл Дидлер истолковал информацию, полученную у Неттельбладта, совсем в другом ключе. Революции 1848 года придали новый импульс страхам перед масонскими заговорами, бытовавшим еще со времен Французской революции. Дидлер специализировался на написании сенсационных антимасонских трактатов, которые он дополнил мотивом, в то время едва начавшим входить в европейский дискурс: утверждениями о жидомасонском заговоре, цель которого — господство над миром³⁸⁴. В 1860-х годах Дидлер публиковал десятки выпусков из серии брошюр с почти пародийным названием «Меморандум о франкмасонах: о политической деятельности лиги франкмасонов как пропагандистов, скрытно сущих среди нас под разными именами и личинами с целью низвержения легитимных престолов и положительного христианства». (Учение о «положительном христианстве» защищало Откровение и инсти-

³⁸² [Nettelbladt.] Johann Ambrosius Rosenstrauch. S. 198.

³⁸³ Brunier, Ludwig. Friedrich Ludwig Schröder: Ein Künstler- und Lebensbild. Leipzig, 1864. S. 350.

³⁸⁴ Hoffmann, Stefan-Ludwig. Die Politik der Geselligkeit: Freimaurerlogen in der deutschen Bürgergesellschaft, 1840–1918. Göttingen, 2000. S. 94. О жидомасонском заговоре см.: Freimaurer-Denkschrift. Berlin, 1864. № 1.

тут Церкви от попыток рационализировать богословие). Выпуск номер 9, вышедший в 1864 году, содержал заметку о «епископе Розенштраухе». Его имя было помечено тремя крестами — таким способом Дидлер обозначал «ярых» приверженцев «духа, ныне преобладающего в лиге франкмасонов <...>, сформировавшегося в политической и религиозной сфере с целью низвержения престола и алтаря»³⁸⁵. По мнению Дидлера, Розенштраух был «одним из самых важных представителей иллюминатов и основал в России много тайных иллюминатских лож». О неназванных сыновьях Розенштрауха Дидлер писал, что, «естественно, они продолжили работу отца в качестве агентов тайных заговоров. Совсем недавно появилось сообщение, что его подлинное имя осталось неизвестным и что он будто бы был католиком — не евреем ли???»³⁸⁶.

Остается только гадать, какое представление о Розенштраухе складывалось у получателей всех этих разрозненных известий. Издатели вряд ли бы стали печатать бессвязные фрагменты никому не нужной информации. Театральные, торговые, религиозные и масонские круги, к которым принадлежал Розенштраух, были довольно обширны географически, но число их членов было все же ограничено, так что издатели, должно быть, полагали, что какие-то имена коллег у читателей на слуху. С другой стороны, информируя публику о важных изменениях в жизни или карьере конкретных лиц, газеты нечасто углублялись в контекст события или даже указывали имя героя — обычно обходились одной фамилией. Например, нюрнбергский «Курьер мира и войны» сообщал в 1826 году, что «комиссионеры Московского университета — книгопродавец Хартманн в Риге и купец Розенштраух в Москве — получили титул коммерции советников»³⁸⁷. Как читателю было догадаться, имеет ли этот Розенштраух какое-то отношение к Розенштрауху-актеру, купцу, пастору, консулу или масону-заговорщику?

Помимо сообщений в прессе, немецкая публика имела доступ и к сочинениям самого Розенштрауха. Его размышления об услужении умирающим и некоторые его письма выходили в «Евангелическом листке» профессора Буша, публиковавшемся в Дерпте, но

³⁸⁵ Freimaurer-Denkschrift: Über die politische Wirksamkeit des Freimaurer-Bundes als der unter verschiedenen Namen und Formen unter uns im Finstern schleichenden Propaganda zum Sturz der legitimen Throne und des positiven Christenthums. Berlin, 1864. № 1. S. 5.

³⁸⁶ Freimaurer-Denkschrift. Berlin, 1864. № 9. S. 12.

³⁸⁷ Moskau, 9. Sept. // Friedens und Kriegskurier. 2 Oktober 1826. № 235.

распространявшемся также и в Лейпциге. Кое-какие из этих текстов вошли в антологию образцовых жизнеописаний пасторов, изданную Иоганном-Христианом-Фридрихом Бурком (1800–1880), вюртембергским пастором и активным издателем пietistской литературы. Только за 1816–1820 годы в Россию в поисках веротерпимости эмигрировали примерно 10 000 вюртембергских пietистов, в основном переселявшихся в степные колонии Новороссии; возможно, Бурк узнал о Розенштраухе от них³⁸⁸. Очевидно, передавая то, что Розенштраух сам рассказывал о себе в Харькове, Бурк описывал его как купца, недолгое время подвизавшегося в качестве театрального антрепренера, а затем ставшего пастором³⁸⁹. Антология Бурка была позднее опубликована в переводе на голландский³⁹⁰; еще одна подборка сочинений Розенштрауха вышла по-датски³⁹¹. В 1845 году труды пастора, ранее опубликованные в «Евангелическом листке», были напечатаны в Лейпциге отдельной книжкой; второе издание вышло в 1871 году³⁹².

Лейпцигское издание 1845 года кажется отправной точкой для рецепции сочинений Розенштрауха в России. Кто взял на себя труд составить этот сборник, неясно. По одной версии, это был Блюменталь³⁹³; по другой — Мария Петровна Вагнер, урожд. Балабина (1820–1901)³⁹⁴. Вагнер была связана с петербургскими литературскими кругами, которые способствовали распространению трудов Розенштрауха в России, при этом явно не подозревая о том, что в Москве о нем сохранялась живая память. Через своих родителей

³⁸⁸ О Бурке см.: Gleixner, Ulrike. Pietismus und Bürgertum: Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit. Göttingen, 2005. S. 182; о количестве эмигрантов см.: Tuchtenhagen, Ralph. Religiöser Dissens, Staat und Auswanderung nach Osteuropa im 18. und frühen 19. Jahrhundert // Migration nach Ost- und Südosteuropa vom 18. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts: Ursachen–Formen–Verlauf–Ergebnis. / Hrsgb. Mathias Beer und Dittmar Dahlmann. Stuttgart, 1999. S. 156.

³⁸⁹ Burk, Johann Christian Friedrich. Evangelische Pastoral-Theologie in Beispielen. Stuttgart, 1838–1839. Bd. 1. S. 20–21; Bd. 2. S. 399–459.

³⁹⁰ Predikanten-spiegel mededeelingen uit het ambtsleven van predikanten: Volgens de Evangelische Pastoral Theologie in Beispielen van M.J.C. Fr. Burk / Door I. Busch Keiser. Groningen, 1855. S. 8–9.

³⁹¹ Fra Dødslejet, en evangelisk Sjælesørgers Erfaringer. Middelfart, 1875.

³⁹² Mittheilungen aus dem Nachlasse von Johannes Ambrosius Rosenstrauch, früherem Consistorialrath und Prediger in Charkow. Leipzig, 1845; Dresden, 1871.

³⁹³ Иоганн-Амвросий Розенштраух, лютеранский пастор в Харькове, пер. с немецкого А. Ишимовой. СПб., 1847. С. 9 (введение А.О. Ишимовой).

³⁹⁴ Так сообщал Константин Яковлевич Гrot: см. Переписка Я.К. Гrotа с П.А. Плетневым / Ред. К.Я. Гrot. СПб., 1896. Т. 2. С. 664, сноска 1.

Вагнер познакомилась — и подружилась — с Петром Александровичем Плетневым и Гоголем³⁹⁵. Еще один общий друг Плетнева и Балабиных³⁹⁶, Александра Осиповна Ишимова (1804–1881), автор нравоучительно-морализаторских сочинений для детей, опубликовала в 1846 году русский перевод лейпцигского издания Розенштрауха³⁹⁷. Через Плетнева Ишимова переслала экземпляр книги Гоголю, который ответил, что книга «очень хороша» и что особенно один пассаж в ней — «сущий перл»³⁹⁸. (Впрочем, несколькими месяцами ранее он признавался Александре Осиповне Смирновой-Россет: «Я очень боюсь, чтобы Плетнев не стал меня потчевать Финляндией и книгами, издаваемыми Ишимовой, которую я весьма уважаю за полезные труды, и уверен, что книги ее истинно нужны, но только не мне»³⁹⁹.) Плетнев послал книжку Розенштрауха и Василию Андреевичу Жуковскому⁴⁰⁰. Тот назвал ее «бриллиантом»⁴⁰¹ и сказал, что они с супругой получили от нее такое удовольствие, что хотели бы заказать еще три экземпляра⁴⁰². Друг Плетнева Яков Карлович Гrot просил экземпляры книги Розенштрауха, возможно в немецком издании, для распространения в Финляндии: «Летом намерен я, при посещении пасторов, оставлять им по экземпляру на память — в Розенштраухе они увидят пастора, каким всякий из них должен быть, хотя могут и не вполне соглашаться с его религиозным воззрением, которое в нынешнем протестантском мире мало найдет приверженцев»⁴⁰³.

Второе русское издание лейпцигской антологии Розенштрауха вышло в 1863 году. Этот совершенно новый перевод с немецкого был

³⁹⁵ Гоголь, Н.В. Собрание сочинений в четырнадцати томах. Б.м., 2012. Т. 11. С. 244.

³⁹⁶ Знакомство Ишимовой с Балабиными упомянуто в Переписке Грота, С. 672, в письме Плетнева Гроту от 9 февраля 1846 года.

³⁹⁷ Иоганн-Амвросий Розенштраух, лютеранский пастор в Харькове. До выхода этого труда отдельной книжкой в 1847 году Ишимова публиковала свой перевод в выпускаемом ею журнале «Звездочка», часть 19 и 20 (1846).

³⁹⁸ Гоголь, Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. Б.м., 1940–1952. Т. 13. С. 321 (письмо Плетневу от 10 июня 1847 года).

³⁹⁹ Там же. Т. 13. С. 211 (письмо от 11 февраля 1847 года N.S.?).

⁴⁰⁰ Grot, red. Переписка. Т. 2. С. 671. Письмо Плетнева Гроту от 9 февраля 1846 года.

⁴⁰¹ Там же. С. 772. Письмо Плетнева Гроту от 22 мая 1846 года.

⁴⁰² Grot, Я., red. Сочинения П.А. Плетнева в 3 томах. СПб., 1885. Т. 3. С. 572 (письмо Жуковскому от 2 июня 1846 года).

⁴⁰³ Grot, red. Переписка. Т. 2. С. 670 (письмо Грота Плетневу от 9 февраля 1846 года).

выполнен Николаем Александровичем Астафьевым (1825–?)⁴⁰⁴. Астафьев был специалистом по древней истории и преподавателем всеобщей истории в Санкт-Петербургском университете. В 1863 году он также основал Общество для распространения Св. Писания в России, в рамках работы которого он писал и переводил дидактические религиозные тексты⁴⁰⁵.

Ни ишимовское, ни астафьевское издание сочинений Розенштрауха не позволило бы читателям заподозрить, что харьковский пастор имел хоть какое-то отношение к московскому коммерции советнику. Введение Ишимовой отражало расплывчатое и невнятное жизнеописание героя, данное Бурком: Розенштраух, писала она, «будучи с самого детства ревностным Христианином, был сначала богатым купцом, потом Директором театра, наконец — 50ти лет от роду — учеником богословии [sic] и вскоре потом пастором, в звании которого, он в продолжении более нежели двадцати лет, наставлял, просвещал и утешал свою паству, как нежный отец. <...> Он был соотечественником нашим, он родился и жил в России»⁴⁰⁶.

Астафьев сообщал ровно то же. Рецензии в прессе тоже не добавляли ясности. Одна рецензия на перевод Ишимовой выражала разочарование в том, что переводчица не дала никакого «разъяснения личности пастора Розенштрауха <...> Видим только, что был человек святой жизни... Нужно бы по крайней мере знать путь, по которому дошел Розенштраух до такого положения; а этого-то и нет в книжке г-жи Ишимовой...»⁴⁰⁷. Рецензенту астафьевского издания даже случилось встретиться с Розенштраухом лично, однако и он тоже не представил о нем никакой биографической справки⁴⁰⁸.

В 1886 году Николай Семенович Лесков написал статью, в которой защищал изображение смерти в произведении Льва Николаевича Толстого «Смерть Ивана Ильича». В доказательство реалистичности толстовского описания Лесков цитирует Розенштрауха:

⁴⁰⁴ У одра умирающих. Из записок покойного И.А. Розенштрауха, евангелического проповедника в Харькове, перевод с немецкого Н.А. СПб., 1863.

⁴⁰⁵ Венгеров, С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). Т. 1. Вып. 1–21. СПб., 1889. С. 828–830.

⁴⁰⁶ Иоганн-Амвросий Розенштраух. С. 7–8. Орфография и пунктуация оригинала.

⁴⁰⁷ Библиографическая хроника // Отечественные записки. 1847. Т. 20. Отдел 6. С. 31–32, здесь: 32 (троеточия в оригинале).

⁴⁰⁸ Библиография // Северная пчела. 1863. 30 марта. № 85.

Был в России один превосходный мастер наблюдать умирающих <...>. Это Иоган Амброзий Розенштраух, известный в свое время евангелический проповедник в Харькове. Он был прекрасный, умный и безупречно правдивый христианин, пользовавшийся уважением всего города (в сороковых годах). У Розенштрауха было сходство с гр. Л.Н. Толстым в том отношении, что он тоже «почувствовал влечение к религии в зрелом возрасте, шестидесяти лет», и пошел в бесповоротную: он «стариком сдал экзамен и сделался пастором». Свидетельство такого человека должно внушать доверие⁴⁰⁹.

Несмотря на то что Лесков обсуждает Розенштрауха на протяжении четырех с лишком страниц, ясно, что он практически ничего о нем не знает: единственное, что он сообщает, — ошибочное утверждение, что Розенштраух стал пастором в возрасте шестидесяти лет и что он жил в 1840-х годах.

Наглядной иллюстрацией того, как плохо сохранилась память о подробностях жизненного пути Иоганна-Амвросия и Вильгельма Розенштрауха, служит шестнадцатый том «Русского биографического словаря», опубликованный в 1913 году. В словарь вошли данные об обоих Розенштраухах, что означает, что оба считались значимыми деятелями российской истории⁴¹⁰. На с. 372 мы узнаем, что Василий Иванович (Вильгельм) родился в Голландии в купеческой семье и по смерти отца унаследовал семейное дело в Москве. На следующей странице мы читаем об Иоганне-Амвросии, что он приехал в Москву купцом, затем недолго побывал актером, а впоследствии стал пастором. Основной посыл биографической заметки о Василии — его участие в общественных организациях и начинаниях; биограф Розенштрауха-старшего делает упор на пасторской деятельности Иоганна-Амвросия. Ни та ни другая статья ни словом не упоминают о том, что эти двое приходились друг другу отцом и сыном.

На основании всего этого возникает вопрос: зачем Вильгельму Розенштрауху понадобилось скрывать историю своей семьи?

⁴⁰⁹ Лесков, Н.С. О куфельном мужике и проч. Заметки по поводу некоторых отзывов о Л.Н. Толстом // Н.С. Лесков. Собрание сочинений в 11 томах. М., 1956–1958. Т. 11. С. 140–141.

⁴¹⁰ Русский биографический словарь: издание Императорского русского исторического общества в 25 томах. СПб., 1896–1918; перепечатано: Нью-Йорк, 1962. Т. 16. С. 372–373.

Вильгельм и его опасения

Ясно, что кое-кто все же имел представление о происхождении Вильгельма. В конце концов, он унаследовал от отца не только магазин и, таким образом, его клиентуру, но также видное положение в церкви Св. Михаила и даже некоторых друзей (например, Лодера). Другим связующим звеном между ними был Блюменталь, председатель церковного совета харьковской церкви Розенштрауха, в свое время способствовавший публикации некоторых трудов пастора в «Евангелическом листке». В 1837 году Блюменталь переехал в Москву, где стал главным врачом Голицынской больницы; кроме того, с 1843 по 1868 год он стоял во главе московской Евангелическо-лютеранской консистории, заведовавшей церковью, в которой Вильгельм служил председателем церковного совета с 1833 по 1869 год⁴¹¹. Тот факт, что происхождение Вильгельма оставалось неизвестным широкой публике, заставляет предполагать, что все эти люди уважали его стремление к сохранению тайны.

Вероятно, других знакомых Вильгельм не посвящал в свои секреты намеренно. Мы уже видели, что некролог Вильгельма был написан Погодиным: их знакомство продолжалось как минимум тридцать лет. Погодин не только прославлял Розенштрауха как гражданина и семьянина, но и упоминал о его личной жизни, ссылаясь на некие семейные передряги, омрачившие последние годы покойного. Полное отсутствие в некрологе информации о происхождении Вильгельма вполне может означать, что Погодин просто ничего о нем не знал⁴¹².

Вильгельм был гордым и упрямым человеком. Подобно успешным представителям среднего класса в других странах, он познал бедность и социальную изоляцию. Ему было примерно восемь лет, когда его родители разошлись, двенадцать, когда отец переехал в Россию, и семнадцать, когда отец оставил театр. Он повидал немало трудностей и знал, что избежать их возвращения ему помогут только дисциплина, тяжелый труд, поддержка семьи и удача.

⁴¹¹ Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710–1960 / Hrsg. Wilhelm Lenz. Köln und Wien, 1970. S. 76.

⁴¹² Погодин, М. Некролог // Московские ведомости. 1870. 5 июня. № 118. Другой, гораздо более краткий некролог, посвященный исключительно роли Вильгельма в общественной жизни, вышел двумя неделями позже в «Иллюстрированной газете». Он целиком и полностью обходил вопрос о происхождении Вильгельма, назвав его просто «один из известных московских старожилов» (Некролог // Иллюстрированная газета. 1870. 18 июня. Т. 25. Год 13. № 24. С. 383).

Характерным для России отягчающим фактором было широко распространенное предубеждение против иммигрантов, добившихся в жизни успеха. Это предубеждение разделяли как коренные жители России, так и иностранцы. Среди русских бытовало устойчивое подозрение к низкородным иностранцам, презиравшим русский народ и все же каким-то образом выбившимся в люди. Пушкин в «Капитанской дочке» (1836) нарисовал язвительную карикатуру на подобный типаж в лице мосье Бопре, парикмахера из Франции, нанятого русскими дворянами обучать их сына наукам и манерам. Карл Нистрем, неутомимый составитель адресных книг Санкт-Петербурга и Москвы, также подвергся в 1839 году нападкам своего русского конкурента: «Иностранец Нистрем, занимавшийся прежде портным мастерством, и едва только знающий русский язык»⁴¹³. Некоторые иностранцы тоже питали схожие чувства, но по другой причине: для них продвижение по социальной лестнице было свидетельством российского деспотизма. Писатель Эдуард Рудольфи считал Иоганна-Амвросия Розенштрауха живым доказательством тому, что успех в России зависел лишь от протекции, а не от подлинных заслуг: «Только за границей удивлялись бы тому, например, что некто вроде Розенштрауха, бывшего актером в Петербурге, оставил сцену, стал продавать в тамошнем магазине помаду, затем перевез свою торговлю в Москву, а оттуда отправился в Саратов суперинтендентом [консистории]»⁴¹⁴.

Вильгельм явно пытался обезопасить себя от подобных атак, добиваясь ответственных общественных постов и умалчивая о своем прошлом. Его отец был человеком без рода и племени; непонятно почему неженатым отцом семейства; бывшим актером; верующим, чья пылкая религиозность граничила с ересью; а может, даже участником международного жидомасонского заговора. Кому-то он вполне мог показаться воплощением той самой подрывной подвижности — социальной, пространственной, интеллектуальной и религиозной, — которая ассоциировалась в России с преуспевшими инородцами. Даже в образе добродетельного пастора он рисковал навлечь на себя гнев русских патриотов. После того как Ишимова опубликовала свой перевод сочинений Розенштрауха-старшего, она получила пышущее яростью письмо от читательницы по имени Мария Извединова. Во-первых,

⁴¹³ Пушкин, Иван. Описание Санкт-Петербурга и уездных городов и Санкт-петербургской губернии. СПб., 1839. С. 504.

⁴¹⁴ Rudolphi. Dreißig Jahre in Russland. S. 136.

Извединова обвиняла переводчицу в том, что своей публикацией она оскорбляла православие, потому что Розенштраух был лютеранином. Кроме того:

Пастор Р. 20-ть лет наблюдал за умирающими? да неужели наши священники закрыв глаза напутствуют русских к смерти? Но вот в чем обман сатаны. Немец скажет речь, сложит руки, наклонит голову — и это тотчас напишут и русские с восторгом читают, а православный священник проводит всю жизнь свою у одра больных — умирающих <...> и об нем никто не напишет, никто и не знает⁴¹⁵.

Вильгельм вполне мог опасаться, что публикацией отцовских записок о 1812 году навлечет на себя похожую вражду. Как мы уже видели ранее, русскоязычные отчеты о событиях в Москве в 1812 году не замалчивали социальную напряженность военного времени. Однако к 1850–1860-м годам в обществе стал доминировать дискурс о 1812 году, подчеркивавший патротическое единение сословий перед лицом войны, тогда как в мемуарах Розенштрауха, наоборот, на передний план выступал социальный конфликт. Единственным автором XIX века, упомянувшим о воспоминаниях Розенштрауха, был Михаил Сергеевич Корелин (см. о нем далее), который проницательно заметил, что «рассказы автора о демидовских крестьянах, усердно старавшихся разграбить дом именно своего барина, обнаруживают интересное явление, которое, сколько мне известно, не отмечено в других мемуарах <...> в этом факте оказались, как мне кажется, следы словной вражды, которая проявлялась и в других случаях, рассказанных автором»⁴¹⁶.

Поддержание личной репутации было для Вильгельма особенно важно из-за его уязвимости в отношениях с русскими элитами. Уязвимость эта, в частности, касалась финансов. Поскольку в России не существовало системы коммерческих банков, которые ссужали бы предпринимателей средствами на ведение дела, деньги приходилось одаждивать у частных лиц. В результате деловые отношения тесно переплелись с личными и семейными и кредитоспособность заемщика завис-

⁴¹⁵ Письма Ишимовой и Изведеной по поводу сочинений Гоголя // Русская старина. 1893. Июнь. № 78. С. 551–567, здесь: 561. То же обвинение, пусть и в более умеренном тоне, былозвучено в рецензии на книгу Розенштрауха издания 1863 года, опубликованной священником Павлом Матвеевским в Страннике: духовном ученко-литературном журнале (1863). Т. 3. Ч. III: Библиография. С. 6–8.

⁴¹⁶ Корелин, М.С. Новые данные о состоянии Москвы в 1812 году. С. 64–65.

села от его репутации порядочного человека⁴¹⁷. Одним из кредиторов Вильгельма был Погодин. В 1840 году Вильгельм писал, что должен Погодину 1900 рублей серебром⁴¹⁸. В октябре 1842 года его долг супруге Погодина Елизавете Васильевне (племяннице жены Вильгельма) выражался в ломбардных билетах на сумму 7000 рублей⁴¹⁹. В декабре 1842 года он просил Погодина о недельной отсрочке по выплате займа, потому что ожидал выплат от своих собственных должников⁴²⁰. В марте 1846 года долг Вильгельма Погодину составлял 10 000 рублей ассигнациями⁴²¹. В апреле 1848 года он подсчитал, что должен Погодину 8350 рублей ассигнациями, тогда как Погодин в свою очередь должен был ему 921,11 руб. ассигнациями⁴²². В декабре 1848 года Вильгельм просил еще об одной отсрочке: все наличные у него на тот момент деньги нужны были, чтобы заплатить за получение товара⁴²³. Схожие письма сохранились и от 1850-х и 1860-х годов. Заемодавцы середины XIX века часто вписывали в договоры о займе, будто бы процент по кредиту составлял всего 6 процентов — такова была максимальная разрешенная законом ставка. На самом же деле они взимали с должников гораздо больше⁴²⁴. Погодин этим не злоупотреблял и брал с Вильгельма не более дозволенных по закону 6%, что прекрасно иллюстрирует экономическую ценность добной репутации Вильгельма и его личных связей. В то время как Розенштраух прилагал все усилия к поддержанию собственной кредитоспособности, у него не было почти никакой возможности заставить знать, бравшую его товары в кредит, вернуть ему долг. Например, в 1820 году князь Барятинский приобрел шоколада, духов, карандашей, штопоров и прочих товаров на сумму 200 рублей; десятью годами позже Вильгельм все еще писал вдове князя подобострастные письма, умоляя ее — на чистом французском языке — заплатить за покупки мужа⁴²⁵.

⁴¹⁷ Antonov, Sergei. Law and the Culture of Debt in Moscow on the Eve of the Great Reforms, 1850-1870. Ph.D. dissertation, Columbia University, 2011. P. 107, 118.

⁴¹⁸ НИОР РГБ. Ф. 231/II, 28-21 («Розенштраух, Василий Фомич. Письма к Погодину, Михаилу Петровичу»). Л. 1 (письмо, полученное 17 марта 1840 г.).

⁴¹⁹ Там же. Л. 3 (письмо от 23 октября 1842 г.).

⁴²⁰ Там же. Л. 4 (письмо от 16 декабря 1842 г.).

⁴²¹ Там же. («Розенштраух, Василий [Фомич] Письма к Погодину, Михаилу Петровичу»). Л. 9 (письмо от 22 марта 1846 г.).

⁴²² Там же. Л. 8 (письмо от 6 апреля 1848 г.).

⁴²³ Там же. Л. 15 (письмо от 7 декабря 1848 г.).

⁴²⁴ Antonov. Law and the Culture of Debt. P. 94–95.

⁴²⁵ НИОР РГБ. Ф. 19/II. Картон 203. Ед. хр. 8а (это дело не имеет заголовка). Л. 1–2 (Вильгельм Розенштраух — княгине [Барятинской], 21 января 1830 г.).

Помимо этих финансовых взаимоотношений, уязвимой точкой Розенштрауха была его зависимость от легко поддающегося стороннему влиянию правосудия. Один уроженец Британии, посетивший Москву в 1837–1838 годах, слышал следующую историю. В магазин Розенштрауха явился генерал и попросил показать ему несколько колец с бриллиантами. После генерала вошел подученный им нищий бродяга и отвлек внимание на себя. Когда спокойствие было восстановлено, оказалось, что одного из колец недостает. Розенштраух справедливо обвинил генерала в краже, но не только не добился правосудия, но и, более того, был оштрафован на две или три тысячи рублей за клевету на генерала⁴²⁶. Правдив этот рассказ или нет, он достоверно передает ощущение незащищенности купцов, подобных Розенштрауху.

Из-за слабости финансовой и судебной систем участие в кредитных операциях представляло собой риск для всех участвовавших в них сторон. Заемодавцы, не пользующиеся значительным личным влиянием в обществе, были практически бессильны по отношению к злостным неплательщикам. Они могли защитить себя, выставив жесткие условия выплаты, но это было чревато либо разорением должника, либо тем, что, пытаясь избежать разорения, должник прибегнет к сутяжничеству. Все эти факторы — неблагоприятные для Розенштрауха условия кредитования, невозможность взыскания долгов, судебные тяжбы — сошлись воедино в 1860-х годах и привели состоятельный некогда семейство к разорению.

Падение дома Розенштраухов

Непосредственной причиной обрушившихся на Розенштраухов несчастий, как кажется, был промах старшего сына Вильгельма, Фридриха (род. 1816). Следуя по стопам своего отца, относившегося к нему как к младшему партнеру, Вильгельм сделал Фридриха заместителем прусского консула в Москве и помощником в семейном торговом деле. Однако Фридрих, судя по всему, не обладал отцовским и дедовским консерватизмом в отношении религии, денег, семьи и положения в обществе. Фридрих значительно лучше, чем его отец и дед, вписывался в культуру и нравы образованного слоя русского общества,

⁴²⁶ Venables, R. Lister. Domestic Scenes in Russia in a Series of Letters Describing a Year's Residence in That Country, Chiefly in the Interior. London, 1839. P. 237–239.

но, возможно, именно поэтому ему недоставало навыков выживания, определявших успех иммигрантов средней руки.

Одним из немногих документов, проливающих свет на характер Фридриха и его взаимоотношения с отцом, является длинное письмо, написанное им (по-русски) М.П. Погодину по поводу горького раздора в семье. В марте 1847 года Фридрих, тогда тридцати одного года от роду, писал «любезнейшему Михаилу Петровичу», пытаясь оправдать перед ним свои поступки. Послание начинается гневным обличением отцовской склонности к нравоучениям, а также его религиозности:

Смотрите на меня глазами человеческими, снисходительными, а не через призму религии, как смотрит на все людские дела батюшка; (я не говорю этим что человеку не нужна религия, — нет — счастлив тот кто ее имеет, и кому она служит в жизни путеводителем, но как часто строго-религиозные люди требуют от других того, что пре-вышает их силы, не соответствует ни их возрасту ни полученному воспитанию): так со мною было издавна: от двадцатилетнего юноши батюшка требовал степенности 40-летнего мужа; скрытность и охлаждение к нему с моей стороны были плодами его строгих пра-вил, той же причине припишу и шалости мои⁴²⁷.

Источником конфликта, объясняет Фридрих, были деньги. Подобно многим другим юношам из зажиточных семей дореформенной Москвы, он жил не по средствам, потому что стремился жить красиво и не отставать от равных себе⁴²⁸. Отец его тоже брал деньги в долг, но только на нужды дела, и потому не спускал сыну подобного поведения:

Судя по себе, ему казалось удивительным, что я не мог довольствоваться получаемым моим жалованием (самый значительный оклад который я получал не превышал 500 р. сер.) в то время, как многие семейства существуют с меньшим; я же, разумеется по лег-комыслию, не мог отставать в издержках от своих товарищей, не зная нужд, избалованный в своих привычках, я не знал цены день-гам, издерживал свой доход и делал долги.

В восемнадцать лет Фридрих работал на Фердинанда (Федора Львовича) Глогау — купца, бывшего тогда консулом Вольного города

⁴²⁷ Здесь и далее орфография и пунктуация письма Фридриха сохранены.

⁴²⁸ Antonov. Law and the Culture of Debt. P. 124, 126.

Франкфурта и женатого на сестре зятя Вильгельма, Кинена⁴²⁹. В течение этого времени он «не получал жалованья, а имел из дома карманых денег 5 р. асс. в месяц, в которых должен был ежемесячно отдавать батюшке отчет». Вильгельм отказывался понять, что этой суммы было недостаточно; напротив, «воспоминая свою собственную юность он мне утверждал что сам, в мои лета получал не более». Положение усугублялось по мере того, как Фридрих набирал долгов, которые Вильгельм скрепя сердце оплачивал. Фридрих отвергал всякое предположение о том, что живет не по средствам:

Вы знаете меня, Михаил Петрович, много лет! <...> Одну слабость имел я <...> Любил блеснуть сначала галстуком, новомодным пальто а потом лошадьми, экипажем, но непростительна ли была в [мо]лодом человеке такая слабость, и много ли бы она стоила батюшке, когда бы с моей стороны все могло было делаться не скрытно, пред его глазами и как то делали прочие мои товарищи.

Отчаявшись, Вильгельм послал Фридриха в Гамбург, но снабдил его слишком малой суммой на расходы и такой «двусмысленной рекомендацией», что найти работу с ней не представлялось возможным: «Скажите, Михаил Петрович, взяли бы Вы для помощи в каком-нибудь деле, тридцатилетнего человека, о котором отец его отзываетя двусмысленно, и которого он, после десяти лет, которые он был при нем, обязал послать в свет, собственными силами отыскивать пропитание?» В довершение всего родители отказались верить, что единственная причина, по которой он нынче сидел без дела в Гамбурге, заключалась в отсутствии у него денег на переезд куда бы то ни было еще. Поэтому они отказывались и выслать причитающиеся ему деньги и даже пытались сделать так, чтобы его выставили из гостиницы:

По поручению батюшки, Г. Фишер с которым он в торговых сношениях, призвал к себе хозяина гостиницы, в которой я живу, и сообщил ему что батюшка обо мне ничего не хочет знать, что деньги, которые ему следуют за квартиру, стол, отопление и проч. он должен счесть потерянными, потому что я никакого состояния не имею, и ни откуда денег ожидать не могу. Далее батюшка, непростительным

⁴²⁹ Erik-Amburger-Datenbank Ausländer im vorrevolutionären Russland // Datensatz 19234 <<http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?mode=0>>, последнее посещение 04.09.2013.

образом, очерняет Г. Фишеру и через него хозяину трактира моего, женщину, совершенно с своей стороны невиновную в моих теперешних несчастных отношениях к семейству моему.

Это была еще одна больная мозоль Фридриха: то, что Погодин, очевидно, назвал «преступной страстью» к «чужой жене, с которой живу». Фридрих жил в одной гостинице с женщиной по имени МКЛ, с которой он до того в течение пяти лет виделся в Москве почти ежедневно и которая в то время намеревалась поступить в театральную труппу города Лейпцига. Это описание подходит Марии Карловне Леоновой (1818–1912), замужней певице, выступавшей в Большом театре в Москве с 1842 по 1847 год прежде чем оставить Москву «в силу семейных обстоятельств», как об этом деликатно выразился один автор, и начать выступать в Гамбурге и других немецких городах⁴³⁰. Понятно, что отец Фридриха, памятуя о браке собственных родителей, неодобрительно отнесся к связи сына с замужней актрисой. Подозрения, высказываемые родителями и Погодиным, выводили Фридриха из себя: «Никакой страсти, наиболее преступной в связи моей с МКЛ нет. <...> как больно мне видеть несправедливые преследования батюшки, Вы себе не можете представить»⁴³¹.

Скандал в конце концов рассосался сам собой: Леонова осталась в Германии, а Фридрих отправился в Лондон, а затем в Москву, где вернулся к своим обязанностям отцовского помощника. Впрочем, в его злоключениях невозможно не видеть предвестия будущих несчастий. Фридрих гораздо органичнее, чем его отец, вписывался в русское общество и потому не видел столь острой необходимости скромнее вести себя в повседневной жизни. Его, должно быть, также задевало и то обстоятельство, что он по-прежнему был всего лишь помощником своего пуритански настроенного,ластного отца. Его письмо Погодину от 1847 года заставляет предполагать, что в ответ он потворствовал даже самым рискованным своим желаниям, таким как связь с Леоновой, и винил других, когда что-то шло не так. Похоже, эта модель поведения сыграла значительную роль в разрушении семейного достояния.

⁴³⁰ Мария Карловна Леонова // Божерянов И.Н. Иллюстрированная история русского театра XIX века. СПб., 1903. Т. 2. Отдел III: Биографии известных артистов драмы и оперы. С. 32; Леонова, Мария Карловна // Большая биографическая энциклопедия. 2009. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/70908/Леонова>, последнее посещение 1.03.2013.

⁴³¹ НИОР РГБ. Ф. 231/II. 28-23 («Розенштрух, Федор Васильевич. Письма к Погодину, Михаилу Петровичу»). Л. 26–31 об.

Все началось 16 января 1863 года, когда Фридрих обзавелся залогом по подрядам и поставкам и занял у купца Якова Фейгина акций на сумму 43 000 рублей серебром. Вернуть акции он обещал через год, под 5 процентов. Любая задержка с возвратом долга влекла за собой весьма весомую неустойку в 3000 рублей в месяц. В качестве залога Фридрих предоставил три подписанных, но не заполненных вексельных бланка, куда можно было вписать сумму до 43 000 рублей. Это было противозаконно, поскольку, по Уставу о векселях, «употребление вместо векселей просто бланков на вексельной бумаге воспрещается». В январе 1864 года срок займа истек, но, так как Фридрих акций не вернул, Фейгин заполнил векселя на сумму 42 500 рублей и потребовал уплаты долга. Фридрих отказался, Фейгин обратился в управу благочиния, и Фридриха арестовали среди ночи и забрали в тюрьму, где он и просидел до 1866 года⁴³².

Вместо того чтобы признать свою вину, Фридрих обвинил Фейгина в подлоге, а суды в коррупции⁴³³. За помощью он, так же как и его отец, обращался к знакомым, связи с которыми Вильгельм налаживал десятилетиями. Сидя в заключении, пока полиция вела дознание по его обвинениям против Фейгина, Фридрих засыпал Погодина письмами. 6 мая 1865 года, досадуя на то, что полицейское расследование не подтвердило его обвинений против Фейгина, Фридрих жаловался, что дело его

...было предоставлено не правосудию Закона, а самому возмутительному безотчетному произволу лицеприятного и подкупленного следователя. <...> Эти господа не хотят вникнуть, что мне дорог и важен не только всякий час, но что здоровье мое и физическое и нравственное безвозвратно теряется, пока они играют Правосудием и тешатся своею бесконтрольною будто бы властью.

Не мог бы «любезный Михаил Петрович» ходатайствовать перед министром внутренних дел Петром Александровичем Валуевым и

⁴³² Носенко, Дм., ред. Сборник решений 4 департамента и общих собраний Правительствующего Сената по делам коммерческих судов империи с 1872 по 1 июля 1877 г. СПб., 1878. Т. 1. Вып. 1. С. 301–302; Свод законов Российской Империи, издания 1857 г. Т. 11, Устав Торговый. Кн. 2. Ст. 542 (за эту ссылку я благодарен Сергею Антонову); GeStA III НА. MdA. Abt. II. Nr. 442. Blatt 109r–110v (письмо фон Пирх (von Pirch) в МИД Пруссии, 8 июня/27 мая 1864 г.); Blatt 134r (письмо неизвестного в МИД, 28/16 февраля 1866 г.).

⁴³³ О законах против подделок см.: Antonov. Law and the Culture of Debt. P. 145–146, 177.

князем Василием Андреевичем Долгоруковым, который за несколько недель до того занимал пост шефа жандармов и начальника Третьего отделения собственной Е.И.В. канцелярии?⁴³⁴ Двумя днями позже, 8 мая, он писал, что «полиция с начала до конца принимает преступное участие в деле»⁴³⁵. 9 мая он умолял Погодина поговорить с генерал-губернатором, который «предупрежден против меня и полагает дело мое нечистым и кляузным»⁴³⁶. 13 мая Фридрих сетовал, что уже шестнадцать месяцев сидит под стражей бевинно; даже в отсталой Бухаре к людям относятся с большей справедливостью!⁴³⁷ Сестра Фридриха Анна разделяла его убеждение, что помочь ему могут лишь высокопоставленные заступники, и горько плакалаась Погодину, что помоши от них не дождаться. «Впрочем старая русская пословица говорит: сырый голодного не понимает. При таком правосудии чего ожидать? Ежели Бог не поможет то на людей кажется надежды мало»⁴³⁸. Вильгельм тем временем молил о заступничестве прусское министерство иностранных дел. Берлин, однако же, не желал быть замешанным в скандале и понуждал Фридриха отказаться от должности вице-консула; в конечном итоге 18 апреля 1866 года со своих консульских постов ушли и Вильгельм, и Фридрих⁴³⁹.

В поисках защиты Фридрих пытался прибегнуть и к объявлению банкротства. 27 июля 1865 года он писал Погодину, что намеревается просить губернское правление передать его имущество под конкурсное управление⁴⁴⁰. Ходатайство Фридриха было удовлетворено, и 10 февраля 1866 года губернские власти объявили Розенштрауха несостоятельным — по документам непонятно, имелся ли в виду один Фридрих или и Вильгельм тоже. Что до претензий Фейгина, конкурсное управление признало законным долгом лишь капитальную сумму, но не 75 000 рублей пени, набежавшие с момента истечения срока займа; Фейгин обжаловал это решение в судебной палате Московской губернии, но его апелляция была отклонена. Конкурсное управление по-

⁴³⁴ НИОР РГБ. Ф. 231/II. 28–23. Л. 13 об. (письмо от 6 мая 1865 г.).

⁴³⁵ Там же. Л. 15.

⁴³⁶ Там же. Л. 16–16 об.

⁴³⁷ Там же. Л. 19–19 об. (письмо от 13 мая 1865 г.).

⁴³⁸ Там же («Розенштраух, [Анна Васильевна] письма к Погодину, Мих. Петр.»). Л. 3 об. — 4 (письмо от 27 декабря 1865 г.). Пунктуация оригинала.

⁴³⁹ GStA III НА. MdA. Abt. II. № 442. Blatt 109r–110v (письмо Пирха в МИД, 25/13 апреля 1864 г.); Blatt 115r–116r (письмо Пирха в МИД, 23/11 июня 1864 г.); Blatt 134r–134v (письмо неустановленного автора в МИД, 28/16 февраля 1866 г.); Blatt 139r–140r (прошения об отставке Вильгельма и Фридриха Розенштраухов).

⁴⁴⁰ НИОР РГБ. Ф. 231/II. 28–23. Л. 24.

шло дальше: ввиду (в то время рассматривавшегося уголовным судом) утверждения Фридриха о том, что вексель был поддельным, 28 октября 1866 года оно признало вообще всю претензию Фейгина спорной и 19 мая 1867 года претензию Фейгина со счета долгов исключило. Фейгин обжаловал все эти решения вплоть до Сената — высочайшего в империи апелляционного суда, который постановил, что Фейгин пал жертвой неприемлемых судебных уловок:

4-го сентября 1867 г. уголовный суд признал извет Розенштрауха, не подлежащим уголовному преследованию до разрешения существа претензий Фейгина судом коммерческим, а 15-го мая 1869 г. ком. суд отказался от рассмотрения существа претензий Фейгина, под предлогом подсудности уголовному суду. Ясно, что в настоящее время преграждены все пути к правосудию.

В 1871 году Сенат отменил решение Московской судебной палаты о том, что Фейгин не имеет права на пеню по займу. 17 августа 1872 года Сенат объявил возведенные Фридрихом на Фейгина обвинения в подлоге беспочвенными и приказал коммерческому суду вынести решение по существу претензий заимодавца; в результате 2 августа 1873 года коммерческий суд вынес решение в пользу Фейгина. Наконец, 23 апреля 1874 года Сенат отклонил последнюю апелляцию других кредиторов Розенштрауха, вероятно, опасавшихся, что претензии Фейгина будут удовлетворены за их счет⁴⁴¹.

Между тем все попытки Розенштраухов поправить свое финансовое положение проваливались одна за другой. 1 июня 1865 года Вильгельм продал свой магазин за 104 000 рублей серебром купцу Карлу Эдмунду Мазингу. Так же как и с Погодиным, с Мазингом Розенштраух связывали отношения как деловые, так и личные. В своем некрологе Погодин отмечал, что Мазинг был «воспитанник [Вильгельма] который с мальчиков служил ему в продолжении тридцати лет, и к которому он имел полную доверенность»⁴⁴². Впрочем, под управлением Мазинга магазин не смог принести доход, достаточный для погаше-

⁴⁴¹ Носенко, ред. Сборник решений. С. 302–304; С. Дело купца Фейгина с Конкурсным управлением по делам Розенштрауха (определение Общего собрания 1 и 3 Д-в и Д-та герольдии // Юридический вестник. 1873. Октябрь–ноябрь. Год 5-й. С. 23–32, здесь: 28, 36; Думашевский, А., ред. Систематический свод решений кассационных департаментов Сената 1866–1873 г. СПб., 1874. Т. 1. Изд. Второе. С. 358–359.

⁴⁴² Погодин, М. Некролог. Пунктуация оригинала.

ния долга нового владельца старому. 1 марта 1869 года, внеся всего 13 831,91 из 36 500 рублей — предусмотренной договором суммы взносов за период с момента совершения сделки, т.е. с 1865 года, — Мазинг прекратил выплаты. Пытаясь вернуть себе проданный Мазингу товар, Вильгельм обратился в суд; в июне следующего года, когда Вильгельм умер, судопроизводство все еще шло⁴⁴³. 24 июня 1870 года судебный документ резюмировал существо дела и не без пафоса описал его развязку: «Ныне же оказывается, что в продолжении предсмертной болезни скончавшегося 3го сего Июня кредитора Розенштрауха, должник Мазинг торговлю свою прекратил, существовавший в Москве 60 лет магазин закрыл и товар вывез неизвестно куда»⁴⁴⁴.

⁴⁴³ НИОР РГБ. Ф. 231/IV. 1-64 («Купчая на магазин Розенштрауха, В.И. на имя Мазинга, К.Э.»). Л. 1–2 об.

⁴⁴⁴ НИОР РГБ. Ф. 231/IV. 1-63 («Записки по делу коммерции советника В.И. Розенштрауха с купцом К.Э. Мазингом»). Л. 3–3 об.

Эпилог

После смерти Вильгельма воспоминания Иоганна-Амвросия Розенштрауха о событиях 1812 года оставались в семье. В конечном итоге они оказались в руках московского историка М.С. Корелина. В статье, опубликованной в 1896 году, Корелин излагал краткое содержание мемуаров, не называя их автора⁴⁴⁵. Знал ли он с самого начала или сумел ли установить впоследствии, что неизвестным автором воспоминаний был Розенштраух? Вероятно. Насколько мне известно, в России записки сохранились в двух рукописных экземплярах: один хранится в Отделе письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ), другой в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Документ из ОПИ ГИМ — это авторский оригинал, который и лег в основу данной публикации. Текст вписан в сброшюрованную тетрадь, почти не содержит исправлений или подчисток, в нескольких местах (Л. 4 об./6 об.; 12 об./14 об.; 18/20; 37 об./39 об.) последние слова предыдущей страницы повторяются на последующей⁴⁴⁶, исходя из всего этого можно заключить, что это чистовик. Исторический музей унаследовал рукопись от музея «Старая Москва», основанного в 1919 году⁴⁴⁷. По причинам, установить которые ныне не представляется возможным, сотрудники «Старой Москвы» приписали авторство записок «А[ндрею] Я[ковлевичу] Ауербаху, владельцу фаянсового з-да в с. Кузнецово Тверской губ.»⁴⁴⁸. Оши-

⁴⁴⁵ Корелин. Новые данные о состоянии Москвы в 1812 году.

⁴⁴⁶ Каждый лист пронумерован дважды — к примеру, один и тот же лист значится как 4 об. и 6 об.

⁴⁴⁷ На эту тему см.: Петров Ф.А. Обзор фонда музея «Старая Москва». М., 1991. С. 5–21.

⁴⁴⁸ Там же. С. 49.

бочность этой аттрибуции очевидна: автор воспоминаний сообщает, что русские называли его Иван Иванычем, а не Андреем Яковлевичем и что он владел магазином в Москве, а не заводом под Тверью. Внимательно прочитавший рукопись Корелин не мог так ошибиться. Очевидно, он работал со вторым экземпляром, ныне входящим в состав коллекции дневников и воспоминаний в РГАЛИ. Похоже, этот документ был копией рукописи из ГИМа, сделанной — возможно, по поручению Корелина, — скорее всего (судя по бумаге и почерку), русским переписчиком в конце XIX века. После того как переписчик закончил копирование текста, кто-то приписал вверху титульной страницы имя: «Розенштраух»⁴⁴⁹.

Корелин обещал предоставить «сведения о личности автора и вообще подробный комментарий к его мемуарам» в «полном их издании как в подлиннике, так и в русском переводе»⁴⁵⁰. Обещание свое он сдержать не успел: в 1899 году он скончался в возрасте всего сорока четырех лет, и его план по публикации записок Розенштрауха умер вместе с ним.

XX век не слишком нежно обошелся с Розенштраухами. Некоторые из них успели эмигрировать вовремя. Внук Вильгельма В.А. Болин в 1916 году уехал в Швецию, и компания, носящая его имя, сегодня одна из ведущих ювелирных фирм в Стокгольме⁴⁵¹. Правнучка Вильгельма Эрнестина Штраус уехала из России в Германию на одном из последних поездов перед началом войны в 1914 году. Она также владела копией мемуара Иоганна-Амвросия, но, вероятно из-за опасных ассоциаций с Россией, противником Германии в двух мировых войнах, она никогда никому не говорила о мемуаре вплоть до переезда в дом престарелых в 1980-х годах. Машинописная копия этого текста находится ныне в собственности внучки г-жи Штраус, Эльке Бриуэр (Виксбург, штат Миссисипи, США)⁴⁵².

Оставшимся в России потомкам Иоганна-Амвросия довелось пережить тяжелые времена. Российским немцам пришлось ассимилироваться, отправление религиозных обрядов было запрещено, капитализм разрушен. Одна из внучек Вильгельма, Софья Рудольфовна Герман, унаследовала несколько семейных портретов, в том числе

⁴⁴⁹ РГАЛИ. Ф. 1337. Оп. 2. Ед. хр. 49 («Записки Розенштрауха (Rosenstrauch) о пребывании врага в Москве в 1812 г.»).

⁴⁵⁰ Корелин. Новые данные о состоянии Москвы в 1812 г. С. 57.

⁴⁵¹ W.A. Bolin: History. <<http://www.bolin.se/en/about-wa-bolin/history/>>, последнее посещение 04.04.2014.

⁴⁵² Сообщено в личной беседе г-жой Эльке Бриуэр (Elke Briuer).

портрет Иоганна-Амвросия Розенштрауха кисти Лампи, и развесила их в своей московской квартире. Во время Первой мировой войны на картины покушались «патриоты-погромщики», а после революции Софья Рудольфовна прятала портреты на чердаке. Перед смертью, в 1930-х годах, она оставила семейные реликвии своей бывшей жилице Зинаиде Александровне Мамонтовой с условием, что та отдаст их знакомому Софии Рудольфовны, молодому человеку по имени Григорий Диомидович Душин. К тому времени уже окончательно забылось, кого именно изображал портрет пастора; знакомые Софии Рудольфовны считали, что это ее дед, то есть Вильгельм Розенштраух. Осенью 1941 года, когда войска вермахта наступали на Москву, а картины все еще находились у Мамонтовой, она получила открытку от высокого немецкого чина с благодарностью за сохранение портретов. Открытка эта могла быть подлинной, но гораздо вероятнее она была жестокой шуткой соседей Мамонтовой — завуалированным политическим доносом. Как бы там ни было, в 1949 году, когда Мамонтова наконец-то отдала картины Душину, память об испытанном ею по получении открытки ужасе была еще свежа. Душин был актером в Малом драматическом театре в Ленинграде и собирателем картин. Он завещал переданные ему портреты Государственному Эрмитажу, который и получил их по смерти Душина в 1990 году⁴⁵³.

Правнук Вильгельма Георгий Эрнестович Розенштраух (1909–1970) обнаружил, что для него единственный способ выжить — это отречься от семейного прошлого. Он вырос в детском доме, и в 1930 году, так же как его прапрадед Иоганн-Амвросий Розенштраух за 140 лет до него, сменил фамилию (на девичью фамилию матери, Кольцов) и стал актером. Его карьера в Московском художественном театре (МХАТ) прервалась в 1938 году, когда его приговорили к 10 годам в исправительно-трудовом лагере, но в 1956 году он вернулся во МХАТ и в 1963 году получил звание народного артиста РСФСР. Кольцов выступал не только в театре, но и в кино и на телевидении⁴⁵⁴.

Конец советской эпохи повернул колесо фортуны еще раз. Приход Розенштрауха в Харькове был распущен в 1938 году. Однако между 1989 и 1993 годами в городе сложилась новая лютеранская общи-

⁴⁵³ Епатко, Ю.Г. Неизвестные портреты кисти К. Лаша и И.Б. Лампи-младшего // Памятники культуры, новые открытия; письменность, искусство, археология. Ежегодник 1996. М., 1998. С. 423–431.

⁴⁵⁴ Кольцов, Георгий Эрнестович // Немцы России <http://www.rusdeutsch-panorama.ru/jencik_statja.php?mode=view&site_id=34&own_menu_id=5023>, последнее посещение 12.03.2013.

на⁴⁵⁵, и в 2011 году, когда Харьков посетил один мой знакомый, он обнаружил, что имя пастора Розенштрауха как одного из основателей их церкви знакомо всем прихожанам, с которыми ему довелось познакомиться⁴⁵⁶. В 1998 году отчет Розенштрауха о его пастырской работе с умирающими был переиздан российским протестантским издательством⁴⁵⁷; отрывки из этого текста в аудиозаписи доступны в Интернете⁴⁵⁸.

Таким образом, жизненный путь Иоганна-Амвросия Розенштрауха и его потомков дает некоторое представление о человеческом измерении русской истории последних двух столетий. Первая мировая война и революция положили конец истории этого преуспевшего в России иммигрантского рода. Чтобы понять, как она — эта история — начиналась, во время другой войны, столетием с небольшим ранее, обратимся к воспоминаниям Розенштрауха о событиях 1812 года.

⁴⁵⁵ Сергеев Иван, Володимир Вардашко, Ольга Савченко. Немецкая евангелическо-лютеранская община г. Харькова. Харьков, 2003. С. 41–42.

⁴⁵⁶ Устное сообщение Майкла Уэстрейта (Michael T. Westrate), посетившего общину.

⁴⁵⁷ Розенштраух, И.А. У одра умирающих. СПб., 1998.

⁴⁵⁸ <<http://video.yandex.ru/users/scyoa-com/view/48/>>, последнее посещение 07.09.2013.

GESCHICHTLICHE EREIGNISSE
IN MOSKAU
IM JAHRE 1812.
ZUR ZEIT, DER ANWESENHEIT
DES FEINDES
IN
DIESER STADT

Ein und derselbe Gegenstand, aus verschiedenen Gesichtspuncten betrachtet, wird, je treuer die jedesmalige Zeichnung ist, auch eine andre Ansicht darstellen; darum würde es eben so viele Beschreibungen von der Anwesenheit des französischen Heeres in Moskau — 1812 — geben können, als sich Personen damals in der Stadt befanden; und jede hätte irgend etwas Besonderes, weil der Beobachter sie aus seinem Standpunkte auffaßte, und darstellte. Ich weiß nicht, ob die Ereignisse dieser merkwürdigen und sehr einflußreichen Zeit, von irgend jemanden veröffentlicht worden sind? Mir ist kein solches Buch zu Gesichte gekommen, und darum theile ich nur das mit, was ich selbst sah, hörte, und zu bemerken Gelegenheit hatte. Zur Zeit, als die Begebenheiten vorfielen, dachte ich freilich nicht daran Notizen zu sammeln, um sie Andern mittheilen zu wollen. Deshalb kann ich nun nach 23 Jahren weder genau für chronologische Ordnung, noch für Zahlen, und für alle solche Dinge einstehen, was etwa dem Politiker, Staatsmann, Krieger, und Gerichtspersonen in dieser Zeit merkwürdig, und der Aufzeichnung werth gewesen wären. Ich war damals nur eine Privatperson, und beurtheilte alles was geschah, vorerst in der nächsten Beziehung auf mich selbst, und dann erst für das Vaterland und meinen Mitmenschen. Da ich aber seitdem gelernt habe, alle zeitliche Ereignisse in genauesten Zusammenhänge mit der Ewigkeit zu stellen, blicke ich auch Rückwärts, auf alles damals Geschehene, in dieser einzig richtigen Beziehung um folgenden Mittheilungen, auch für Christen ein Interesse zu geben.

Ich kann, ohne Schwärzmerey, mit Gewißheit behaupten, daß es des Herrn Wille war, daß ich Moskau nicht verlassen sollte, und Gott es so fügte, daß ich meine schon beschlossene Abreise aufgeben mußte, ohnerachtet ich bereits alle Anstalten getroffen, und sogar die Pferde schon angespannt waren, um nach Petersburg zu meinen Kindern zu fahren. Aber ein falsches Gerücht — als ob der Feind schon zwischen Moskau und Klin stände — bewog mich, dem Fuhrmann das Handgeld zu seiner Entschädigung zu überlassen, und obgleich ich noch an demselben Tage von dem Ungrunde des Gerüchtes überzeugt ward, konnte ich doch nachher, um keinen Preis

mehr Pferde erhalten, und mußte in Moskau bleiben, weil — wie ich nun klar einsehe — davon mein und meiner Kinder zeitliches Wohl, und wie ich von der Barmherzigkeit Jesu hoffe, auch unser ewiges Loos dadurch befördert ward. Kein Christ wird zweifeln, daß der Allmacht Gottes alles möglich ist; aber wie Jesus in den Tagen Seines Fleisches keine Wunder verrichtete, als wenn die natürlichen Mittel unzulänglich waren, und auch in der Geschichte des alten Bundes, Gott nur dann Beweise Seiner unmittelbaren Einwirkung gab, wenn es auf bekannten Wegen unmöglich war, so handelt die göttliche Weisheit auch noch jetzt, in den Schicksalen ganzer Völker, und einzelner Menschen, und benutzt, oder füget, die vorhandenen Hülfsmittel, um diejenigen Wirkungen hervorzubringen, die Ihm, dem Herrn wohlgefällig sind. So weit menschliche Einsichten reichen, kann ich mit Sicherheit behaupten, daß ich in Petersburg; ohne ein auffallendes Wunder, weder zu dem Grade des Wohlstandes, durch unser, an diesem Orte beschränktes Handelsgeschäfts, — noch zu einer völlig veränderten Geistesansicht — welche durch die Leiden, und Gefahren in Moskau in mir hervorgebracht wurde — noch zu einer solchen Vorarbeit, in kirchlichen, und Schulangelegenheiten — durch thätigen Antheil an den Geschäften des Kirchenraths — gelangen konnte; welches alles vorangehen mußte, bevor ich den Entschluß Prediger zu werden, nur mit einiger Wahrscheinlichkeit des Gelingens fassen, vielweniger ausführen konnte. Ich hatte auch schon vor 25 Jahren, aus dem ungewöhnlichen Leidensgange meines Lebens, so viel gelernt, daß ich alle mich betreffende Lebensereignisse nicht für zufällig, sondern, für weise Fügungen der Barmherzigkeit Gottes hielt. Sobald ich also Moskau nicht verlassen könnte, ergab ich mich dem Willen des Herrn, und war so ruhig, als es nur immer in gefahrvollen Lagen, dem einem Gott vertrauenden Menschen möglich ist, der gleichwohl, wie alle seine Brüder, ein Herz im Busen trägt, welches zu Zeiten eben so trotzig, als verzagt ist. Ich komme nun zur Sache. Bis zum Ende des Augustmonates, ward das volkreiche Moskau beynahe Menschenleer, und die Gefahr, für die wenige Ausländer welche freywillig, oder nothgedrungen zurückblieben, mit jedem Augenblick größer, wie die auf den Straßen, und in den Häusern durch das verbitterte Volk verübten Excesse bewiesen. Vorzüglich war die Schmiedebrücke — eine Straße wo die meisten französischen Magazine sich befanden, und welche fast nur von Ausländern bewohnet war — dem Volke, ein Dorn im Auge, und in andern Stadttheilen gingen Gespräche im Umlauf „als ob in der verflossenen Nacht, alle Ausländer, die auf der Schmiedebrücke wohneten, umgebracht worden wären“ welches ich dadurch erfuhr, daß mehrere Herrschaften, die mich kannten, zu mir geschicket haben und mich fragen ließen „ob ich noch am Leben sey“? Der damalige Generalgouverneur Herr

Graf von Rostoptschin, erließ zwar Proklamationen an das Volk, worin ihm vorgestellet ward, wie wenig es ihm zur Ehre gereiche, wenn sie gleich einem ausgetrockneten Hering magere Franzosen, oder Deutschen mit der Perücke todtschlügen; aber diese scherhaften Bületins waren wenig geeignet das Volk zu schrecken. Darum verließ ich auch am 30sten August gegen Mitternacht, meine Wohnung an der Schmiedebrücke, da es in dieser Nacht, wie bisher noch nie auf dieser Straße, so geräuschvoll und unruhig war, wie ich es seit meiner Ankunft in Moskau noch nie bey Tage gehöret hatte, obwohl die Schmiedebrücke eine der frequentesten Straßen in Moskau ist. Mit meiner 16 jährigen Tochter an der Hand floh ich zu dem Kaufmann Schilling; welcher entschlossen war wegen seiner zahlreichen Familie, und der vielen Waaren die er in Commission hatte, und nicht bergen konnte, gleichfalls in Moskau zu bleiben. Auf dem Hinwege wurden wir vom Pöbel verfolgt, und es war ein Glück, daß der Dwornick im Schillingschen Hause uns gleich beym ersten Anklopfen die eiserne Hofthüre öffnete, und eben so schnell hinter uns schloß, als er unsere Verfolger sah, vor denen wir einen kleinen Vorsprung hatten, weil sie erst aus dem Zimmer, wo sie uns vorbeigehen sahen, und uns zuriefen: Ihr verfluchten Ausländer, wir wollen euch todtschlagen: erst über den Hof ihres Wohnhauses gehen mußten, dessen Ausgang erst in eine Nebenstraße führte. Dieser kleine Vorsprung den wir durch schnelles Laufen benutzten, und daß der Dwornick noch um Mitternacht sich grade der Pforte so nahe fand, um uns gleich einlassen zu können, rettete uns das Leben. Die Schillingsche Familie nahm uns sehr freundlich auf, und luden uns ein, bey ihnen zu bleiben, und alle kommenden Ereignisse gemeinschaftlich mit einander zu tragen. Die Laden an den Fenstern und der Eingang des Hauses, waren so feste und wohl verwahret, der Anwesenden, meist junge und kräftige Männer so viele, daß ein mäßiger Sturm leicht abgeschlagen werden konnte. Am Sonnabend — den 31sten August — liefen so viele Nachrichten von der Lebensgefahr der noch in Moskau sich befindenden Ausländer, von allen Seiten ein, daß es die Schillingsche Familie für Pflicht hielt, um jeden Preis lieber die Stadt zu verlassen, als umgebracht zu werden. Die ältern Söhne waren auch so glücklich, für ungewöhnlich hohes Fuhgeld Pferde zu bekommen. Nun baten mich alle, (so sehr beenget auch ihre Wagen waren) sie zu begleiten. Ich sah aber die Unmöglichkeit ein, wenn ich nicht zu Fusse nebenhergehen wollte; und bat sie, nur meine Tochter mit sich zu nehmen, und am Abend um eilf Uhr fuhren sie ab. Bey unserm beyderseitigen Abschied, konnten wir nur hoffen, uns erst in der Ewigkeit wieder zu sehen; da sie auf der Reise nicht mindern Gefahren entgegen gingen, als ich in der Stadt zu erwarten hatte. Ein kräftiges, gläubiges, und gemeinschaftliches Gebet, welches ich

mit meiner Tochter, etwa zwey Stunden vor der Abreise hielt, hatte sie, und mich so gestärkt, daß wir im entscheidenden Augenblick, uns ein ebenso schmerzloses Lebewohl sagten, als wenn wir uns in wenigen Stunden wiedersehen würden.

Die abreisende Familie nahm nur die allernöthigsten Bedürfnisse mit, weil kaum Platz für die Personen im Wagen war; alles andre blieb zurück. Deshalb bat mich Herr Schilling, in seinem Hause wohnen zu bleiben, und die Aufsicht, sowohl über seine Effecten, als zurückgelassenen Commissions-Waaren zu übernehmen.

Ich muß noch einen, und zwar den Hauptgrund anführen, weßhalb ich in der Nacht vom Freitag auf den Sonnabend, meine Wohnung an der Schmiedebrücke verließ. Der Graf Rostoptschin hatte mehrere gedruckte Aufforderungen an das Volk ergehen lassen, sich zu bewaffnen, und beym ersten Ruf, sich auf den Sperlingsbergen zu versammeln, und jedem Ausbleibenden ward die härteste Strafe angedrohet. Mein Kutscher, ein junger verwegener Kerl, mit einer Satansphysiognomie, brachte daher alle Tage eine Menge ihm gleichgesinnter Kerle, auf unsren geräumigen Hofe zusammen, mit denen er exercirte, lärmte, und sie harangirte. Er sagte ihnen oft, daß nun endlich das Blatt sich gewendet hat, die Leibeigenen, Herren, und die bisherigen Herrschaften entweder todgeschlagen oder Bauern werden müssen. Schweigend mußte ich dieses Unwesen dulden, und mein nothgedrunges Schweigen, machte den Kutscher mit jedem Augenblick frecher, so daß er endlich meine Tochter in die Backen kniff sie küssen wollte, über ihr Sprödethun spottete und sich zu sagen erfrechte: Sie werde bald anders denken, und ihm danken, wenn er ihr Beschützer seyn würde. Als ich in der Nacht vom Freitag erfuhr, daß der Kutscher und sein Anhang nicht zu Hause sind, benutzte ich die Zeit zur Flucht in das Schillingsche Haus. Kaum war aber meine Tochter mit dieser Familie abgereist, so fiel es mir ein, wie grimmig und erbittert der Kutscher seyn wird, wenn er weder meine Tochter, noch mich bey seiner Rückkunft im Hause finden würde. Jetzt stieg in mir die Besorgniß auf, daß dieser verwegene Kerl, unsren Aufenthalt entdecken, und welche Gefahr — nicht sowohl für mich — denn ich trug, wie man zu sagen pflegt, die ganze Zeither mein Leben in meiner Hand — sondern dem Schillingschen Hause, an Effecten und Waaren durch die Bosheit dieses Menschen gebracht werden könnte. Daher dachte ich auf einen Zufluchtsort, damit ich nicht im Schillingschen Hause gefunden würde, wenn der Kutscher mich dort suchen sollte, und denken muß: ich sey mit der ganzen Familie abgereiset. Daß unsere Armee eine Schlacht verloren habe, und Napoleon schon auf russischem Gebiet stehe, wußte man in Moskau, und sah es an den vielen Verwundeten, welche durch die

Stadt zogen, aber ich zweifle, ob jemand, außer dem Generalgouverneur, und seinen vertrautesten Freunde, nur an die Möglichkeit gedacht habe; daß Napoleon bis Moskau vordringen könne? Noch am 31sten August erschien ein kurzes Buletin, worin im Namen des Feldmarschalls Kutusow, bekannt gemacht ward, daß er am gestrigen Tage die Franzosen total geschlagen habe, und wenn er — woran er nicht zweifle — sie den andern Tag wieder so besiegen würde, so soll kein Einziger von den eingedrungenen Feinden lebendig über die russische Gränze kommen und heimkehren. — Den Datum der Schlacht, und den Ort, habe ich vergessen. Ich weiß nicht, was die Landeseinwohner von der wahren Lage der Dinge wußten, und dachten, da mein, wie alle Magazine an der Schmiedebrücke geschlossen waren, und niemand kam, von dem man etwas gewisses erfahren konnte. Aber die Ausländer suchten gegenseitig bey einander Rath und Trost, so oft sie in dieser ganzen Zeit ohne Gefahr zusammen kommen konnten. Bey einer solchen Gelegenheit, sagte mir der Theatermaler Herr Czermack — der den Muth hatte, für die ersten gefangenen Franzosen, welche sehr abgerissen waren, aus reinem Gefühl der Menschlichkeit, ohne an der Nation Anhänglichkeit zu haben, eine Collecte — nicht ohne Gefahr für sich — zu sammeln, und in dieser Absicht auch zu mir gekommen war. Ich wohne bey einem russischen Geistlichen, in der Pereulock Lawrentie Nawrasche, nahe an der Twerskoy, u. dieser hat mir versprochen, mir, und einigen meiner Freunde, einen geheimen, sehr sichern Aufenthaltsort, unter dem Altare seiner Kirche anzusegnen, wo kein Mensch uns finden, und wir für alle mögliche Gefahr gesichert seyn sollen. — Herr Czermack, foderte mich daher auf sogleich zu ihm zu kommen, wenn ich in meiner Wohnung nicht mehr bleiben könnte, und gab mir die genaueste Beschreibung seines Hauses, um es sogleich finden zu können. Hätte ich an diesen Zufluchtsort früher gedacht, so würde ich ihn dem Schillingschen Hause vorgezogen haben, dann aber wäre meine Tochter mit dieser Familie nicht abgereiset, hätte nachher in größere Gefahren gerathen können, alle Angst und Gräul während dem Brände und nachheriger Plünderung mit ansehen müssen; endlich aber, was die Hauptsache für sie, und mich war, wir beyde keinen so überzeugenden Beweis, von der tröstenden Kraft eines gläubigen Gebets erhalten, wie der Herr uns zwey Stunden vor ihrer Abfahrt gnadenreich gewähret hatte.

Sonntag ganz früh (den 31sten August) fiel mir das Anerbieten des Herrn Czermacks plötzlich ins Gedächtniß, und mit dem Beginn des Tages suchte ich seine Wohnung auf, und ward auf das Herzlichste, von ihm und seiner Frau aufgenommen. Ich fand seinen Hauswirth den Geistlichen, beschäftiget, seine junge, schöne Frau aus der Stadt zu schicken. Auch er hieß mich recht freundlich willkommen, und sagte, daß er es für gut halte,

lieber seine Frau, zu ihren in der Nähe Moskaus wohnenden Eltern abzufertigen, als hier zu behalten, und sobald sie abgereiset seyn würde, wolle er desto ruhiger mit Herrn Czermack, und mit mir, dessen Freunde, recht brüderlich leben, alle Gefahr theilen, uns mit seinem Ansehen schützen etc. Kaum war aber die Frau eine viertel Stunde abgefahren, als der Priester sich wie ein Wahnsinniger zu gebärden anfing. Er warf sich auf die Erde, raufte sich Kopf und Barthaare aus, zerschlug sich das Gesicht, schrie und heulete darüber, daß er seine Frau habe allein wegfahren lassen etc. Ich rieh ihm, ihr so schnell als möglich nachzueilen, da sie noch nicht bis zur Sastawa gekommen seyn konnte. Kaum hatte er mich begriffen, so eilte er, ohne Hut, so wie er sich von der Erde aufgerafft hatte, spornstreichs, seiner Frau nach, die er auch noch einholete, — wie ich nach einigen Monaten von ihm erfuhr. Der versprochene geheime Verbergungsort in der Kirche, blieb uns daher unbekannt. Der Sonntag verging uns ohne merkwürdige Ereignisse, da wir im Zimmer blieben, niemand fremdes sahen, und also auch nichts erfahren konnten, was in der Stadt vorging. So viel sahe ich jedoch einige Stunden nach meiner Ankunft bei Hr. Czermack ein, daß diese Straße noch weniger Sicherheit gewähre, wie die Schmiedebrücke; weil, erstens der Hr. Czermack der einzige Deutsche war, der in dieser Quergasse wohnete, und weil seine Wohnung von lauter Hurenhäusern umringt war. Auch Hr. Czerm. sah endlich ein, wie unsicher unsere Wohnung war, und darum foderte er mich auf, mit ihm zu einem in der Nähe wohnenden Lampenfabrikanten, namens Knauf zu gehen, dessen Haus einer kleinen Festung glich, und dessen zahlreiche Fabrikarbeiter, angeblich ihren Herrn sehr ergeben waren. Wir baten Herrn Knauf uns in sein Haus aufzunehmen, weil wir in unserer Wohnung Vogelfrey wären, und er für seine Person, an zwey deutsche gesunde Männer, theils Beystand, theils Aufseher, über seine Arbeiter erhalten würde. Er schlug es hartnäckig ab, und versicherte uns, daß er sich auf seine Leute verlassen könne. Nun so wird uns Gott schützen, sagte Hr. Cz. mir aus der Seele gesprochen. Montag Morgens ward es sehr lebhaft auf der Straße, und wir sahen Männer, Weiber und Kinder, mit Flinten, Säbel, und Pistolen bis zum Erdrücken bepacket, nach ihren Wohnungen eilen, auch zum Theil vor ihren Thüren hinwerfen, und wieder forteilen, welches wir uns nicht erklären konnten, da es den ganzen Vormittag fortduerte, und wir doch auch wieder nicht auf die Straße gehen, u. fragen wollten. Nachher erfuhren wir, daß noch am Sonntage ein Bulletin erschienen war, welches befahl: Am Montag früh sollten alle männliche Einwohner Moskaus nach dem Arsenale eilen, sich dort zu bewaffnen, und dann auf die Sperlingsberge rücken sollten. Dieser Aufforderung zu folge, fanden sich viele im Kreml ein, und fanden

zwar das Arsenal offen, aber niemanden der ihnen sagte, was sie nehmen, und wo sie sich versammeln sollten? Jetzt griff jeder zu, nahm was ihm gefiel, eilte nach Hause, sagte dieses den Seinigen, und allen die ihm auf dem Heimwege begegneten; nahm Alle, selbst Kinder mit, die nur etwas tragen konnten, und so vermehrten sich die Nehmer und Träger mit jeder Stunde, bis zum Augenblick, wo die Franzosen in die Stadt zogen. Der Herr Graf Rostoptschin wußte natürlich vorher, daß das Arsenal dem Feinde in die Hände fallen wird, und rettete auf diese Weise viele Waffen, welche die Einwohner während der Invasion, versteckt, und verborgen hatten, nachher aber wieder abgeben mußten, als die russische Behörden in Moskau eingezogen waren. Zum Glück hatte das Volk kein Pulver, sonst würde viel Blut geflossen seyn, da alle Kabacken ohne Eigenthümer und geöffnet waren, die Polizey bereits dem Grafen aus der Stadt gefolget war, diese große Stadt, ohne Obrigkeit blieb, jeder ungescheuet thun konnte, was er wollte, und ein großer Haufe Volks schon versammelt war, als der junge Weretschagin durch die Straßen geschleifet, und der Volkswuth — als ein Landesverräther übergeben worden war, welchen der Graf, (im Augenblick seiner Abreise) der Polizey nicht mitzunehmen befahl. Es wäre allerdings zu wünschen, daß die Franzosen nie bis Moskau vorgedrungen wären; aber es war auch gewiß eine gnadenreiche Fügung Gottes, daß sie noch an diesem Tage kamen, weil in dem Zustand der Anarchie, und noch durch Brandtwein erhitzten Köpfen bey aller Freyheit zu ungestörter reichlicher Plünderung, und dem allgemeinen Hasse gegen die Ausländer, wäre vielleicht kein einziger Fremder am Leben geblieben; und sie würden sich auch an ihren Landsleuten vergriffen und in ihrer Trunkenheit unter einander viel Blut vergossen haben.

Etwa um halb zwey Uhr Nachmittags, sprengten drey russische Cavalerie-Offiziere, von verschiedener Waffengattung, im gestrecktesten Gallop, von der Twerskostraße kommend, vor unsren Fenstern vorbey, die aber kaum einige Minuten nacher, eilig zurückflohen; und als Hr. Czermack und ich uns vor die Hausthür wagten, um ihnen nachzusehen, hörten wir sehr deutlich den Schall französischer Trommeln, deren Ton ihm aus Wien, und mir vom Rheine her bekannt war, doch zweifelten wir noch, ob dem so sey? als wir links Grenadiere zu Pferde, von eben daher langsam einziehen sahen, wohin die ersten 3 Offiziere eileten, und bald zurück kehrten; und fast in demselben Augenblicke höreten wir auch von der Seite der Twerskostraße einen französischen Marsch von Blasinstrumenten gespielt. So voll unsere Gasse bis dahin, von bewaffneten Einwohnern war, so leer ward sie im Nu. Alles warf die Waffen von sich, oder eilte mit denselben ins Haus, so daß in der ganzen Gasse, nur Hr. Czermack und ich allein dastanden.

Bey dem gänzlichen Mangel aller Nachrichten vom Kriegsschauplatze, bey den öftern Siegeskunden über die Feinde, konnte wohl schwerlich jemand nur ahnen, Napoleon in Moskau zu sehen; am allerwenigsten aber, daß dieses so bald geschehen würde, da man ihn und seine Armee sich noch an der russischen Gränze dachte. Wie Hr. Cz. und ich so an unserer Haustüre standen, und keiner wagte, dem Andern mitzutheilen, daß er den Einzug der Franzosen, für gewiß hielt; mußten wir beyde, auf ein Geräusch in der Luft, aufmerksam werden, welches uns aus unserm Nachdenken aufweckte. Wir blickten in die Höhe, und sahen eine ungewöhnlich fast Baumähnliche Raquette, zu den Wolken dringend. Unwillkürlich entfuhren mir die Worte: „Das ist Groß“! Und erst als ich diese Worte gesprochen hatte, ward es mir in der Seele klar, was ich damit sagen wollte. Herr Czermack deutete meinen Ausruf, auf die Größe der Raquette, und sagte: Ja, eine so große Raquette habe ich selbst in Wien, bei den schönsten Feuerwerken nie gesehen. Ich erwiederte: Nein, das meyne ich nicht, ich finde die Idee groß: daß Moskau verbrannt werden soll. Ich betheure es bey Gott, daß ich diesen Gedanken nie nur entfernt gedacht habe, und wenn ich mir ja die Möglichkeit vorstellte, daß die Franzosen bis nach Moskau kommen könnten — obwohl ich mich auch dessen kaum erinnere, und gewiß meinem vertrautesten Freunde nicht mitgetheilt haben würde; so konnte ich mir im schlimmsten Falle dennoch höchstens eine große Contribution vorstellen, aber weder Brand, noch Plünderung denken, sondern alles so, wie es bei ihrem Einzuge in andre Residenzen geschehen war. Daher ist es mir noch bis zum heutigen Tage unbegreiflich warum der Anblick dieser Raquette — welche allerdings ein Signal seyn mußte, das weithin gesehen werden sollte — in mir den nie gehabten Gedanken hervorbrachte, und mir in diesen Augenblick sogleich alle guten Folgen vorschwebeten, die für Russland aus dem Brände Moskaus entstehen werden. Nach 23 Jahren, in welcher Zeit ich mich vielfach geprüft, mehreremal mein Gedächtnis, gleichsam auf die Folter gespannt habe, um irgend etwas aufzufinden, wodurch ich meinen damaligen Ausruf, und alles was sich plötzlich, aber sehr lebhaft, bey diesem Gedanken mir aufdrängte, und meiner Seele vorschwebete, in einem Zusammenhange mit dem Anblick der Raquette zu bringen, aber immer vergeblich, und ich muß die Lösung dieses Räthsels, auf die Zeit meines Eingangs in die Ewigkeit, verschieben. Nun füllte sich unsere kleine Straße mit französischen Infanteristen, welche sehr höflich naheten, und um etwas Brodt batzen, welches sie nach ihrer Aussage seit 3 Tagen, nicht gesehen, noch weniger genossen hatten. Madame Czermack, welche gut französisch sprach, und auch in Wien in Häusern wohnte, welche Franzosen in ihrer Wohnung aufnehmen mußten, lud die Soldaten, die uns umgaben, ein,

näher ins Haus zu kommen, und es traten acht Personen ein, so wie die übrigen sich in andere Häuser vertheiletten. Jetzt zeigten sich die in unserer Gasse wohnenden Huren, und thaten mit diesen fremden Gästen so vertraut, als ob sie mit ihnen von jeher befreundet gewesen wären, obgleich sie mit ihnen nicht sprechen konnten. Die ganze Gasse war plötzlich so belebt, daß es schien, als ob es immer so gewesen wäre. Alles dieses geschah in minder als einer Stunde. Jetzt erscholl auf einmal der Ruf: Feuer, Feuer, welches man auch alsbald sehen konnte. Es kletterten mehrere auf hohe Häuser, und sagten, daß es in der Fischstraße brenne. Da diese ziemlich weit von unserer Gasse war, so nahmen wir, Hr. Cz. und ich weiter keinen Theil daran, und bewirtheten unsere Soldaten mit allem was wir hatten; in der Meynung, am andern Tage, wieder neue Vorräthe kaufen zu können; denn wir dachten „Wenn auch 100000 Mann in Moskau eingezogen wären, doch Alle in Moskau unterkommen, und satt werden könnten, da wir allein in unserm Häusgen deren 8 gespeiset hatten[“]. Wir irreten uns aber; denn kaum hatten uns die 8 Soldaten zufrieden und dankend verlassen, als wieder Andre, und wieder Andre kamen, und dasselbe foderten. So lange es jedoch noch Tag war, ging es erträglich; denn zwey Offiziere, und ein Unteroffizier, waren in dieser Zeit zu uns ins Zimmer gekommen, und jedesmal befragten sie die anwesenden Soldaten: Ob sie sich auch dem Befehle des Kaisers N. gemäß gut und bescheiden betragen? Uns aber foderten sie auf, daß wir bey der mindesten Unzufriedenheit, sogleich in der ganz in der Nähe, auf der Twerskoy befindlichen Wachtstube Hülfe suchen sollten, damit die Unartigen — dieses war der bezeichnende Ausdruck — exemplarisch bestraft werden könnten. Unsere letzten Vorräthe, waren bis 10 Uhr des Abends völlig erschöpft, und in dem Maasse, mehrten sich nun Eindringende, die schon nicht mehr Bittende, sondern gebieterisch fodernde Soldaten waren. Wir gaben ihnen Geld, und suchten ihnen begreiflich zu machen, daß es nicht an unserm guten Willen, sondern an dem Mangel aller Vorräthe liege, die wir in der Nacht auf keine Weise ergänzen konnten. Wir stellten ihnen vor, daß wir seit 8 Stunden so Viele gespeiset hatten, und sie leicht einsehen könnten, daß in einem so kleinen Häusgen keine große Vorräthe seyn konnten. Es ging hart her, doch droheten sie nur uns zu mißhandeln, ohne einen von uns persönlich anzurühren. Die letzten 4 Soldaten nahmen Geld, und Sachen die ihnen gefielen; schwuren aber, uns umzubringen, wenn sie nicht zum Frühstück Ommlets, und Schinken erhalten. Wir versprachen ihnen dieses auf das Gewisseste, in der Meynung, mit Tagesanbruch das Benötigte kaufen zu können. Gegen Morgen, als es noch dämmerte, ward Generalmarsch geschlagen, und unsere Gäste, die uns nun verlassen mußten, fluchten und schwuren, das keiner von uns am

Leben bleiben sollte, wenn nicht bey ihrer Rückkunft der Tisch gedeckt, und alles von ihnen Verlangte im Ueberfluß vorhanden seyn würde. Wir hatten die ganze Nacht keinen Augenblick ruhen können, viel Angst, und Mühe gehabt, besonders ich, der ich in zwey russischen Familien, deren Eine über uns, und die Zweyte im anstoßenden Hause wohnte, der Mißhandlung und der Plünderung mit Gottes Beystand steuern konnte, und einen russischen Protopop, der sich in unser Zimmer geflüchtet hatte, und den die bey uns seyenden Soldaten auf alle Weise zu kränken suchten, zu schützen vermochte; wozu ich nächst dem Vertrauen auf Gottes Beystand, durch die Mahnungen jener Offiziere, welche uns sagten, daß wir in der Hauptwache Hülfe gegen Mißhandlungen finden würden; war so muthig geworden, nichts zu fürchten, weil ich meynte, ich dürfte nur nach der Twerskoy eilen, um sogleich Hülfe zu finden. Ich brachte den alten Protopop endlich zur Ruhe, sobald die Soldaten uns verlassen hatten, und schlug Hr. und Mad. Czermack vor, Thüren u. Fenster zu öffnen, um die Zimmer von der übeln Luft zu reinigen, die sich in dieser Nacht durch die vielen, vom Marsch kommenden Soldaten gesammelt hatte; Wir traten vor die Hausthüre und hatten noch nicht lange da gestanden, als eine starke Kavallerie Kolonne mit einem Staabsoffizier an der Spitze vorüberzog. Madame Czermack redete den Anführer an, klagte, daß wir diese Nacht über so viel hätten leiden müssen, da wir doch gestern eine dreymalige Versicherung hörten, daß es nicht des Kaisers Napoleons Wille sey, daß die Einwohner mißhandelt werden sollen, und den Uebertratern, mit harter Strafe gedrohet ward. Mit einem sehr freundlichen Gesicht, u. mit französischer Höflichkeit, rief ihr der Staabsoffizier zu: Madame, es sind gestern 80000 französische Kinder in diese Stadt eingezogen, und da werden Sie leicht einsehen, daß unter so Vielen, sich auch unartige Kinder befinden müssen. Trösten Sie sich, das bringet der Krieg so mit sich. Er warf ihr noch eine Kußhand zu und ritt vorüber. Nun blickten wir auf die ihm folgenden Reiter, welche bis zum Kopfe, mit allerley Sachen, Kleider, Bündel, Decken, Teppiche, etc. gleichsam eingepackt waren; und wir konnten daraus schließen, daß es in den Häusern, wo diese französische Kinder übernachtet hatten, noch viel ärger, als bey uns zugegangen seyn müsse. Dieses bewies uns die Nothwendigkeit desto ämsiger, für das Frühstück besorgt zu seyn, welches die uns verlassenen Soldaten unter so viele schreckliche Drohungen bestellet hatten. Darum schickten wir aus, Speisen zu kaufen, konnten aber nirgend etwas selbst für zehnfache Bezahlung erhalten. Dieses machte uns nicht wenig Kummer, welcher dadurch auf das höchste stieg, als derselbe Herr Knauf, der uns am Sonntage in seinem Hause nicht aufnehmen wollte, fast nackend mit seiner Frau zu uns kamen, und baten, wir möchten ihnen erlauben, nur

einen Augenblick bey uns eintreten zu dürfen, da sie in der verflossenen Nacht, rein ausgeplündert worden, wozu ihre Fabrique arbeiter das Meiste dazu beygetragen hatten. Sie hatten ihr ganzes ansehnliches Vermögen verloren, und waren mit einigen nur alten Lumpen umhüllt. Hr. und Madame Czermack nahmen sie mitleidsvoll und sehr freundlich auf, und geleiteten sie ins Zimmer. Ich blieb noch draussen, um über die gnadenreiche Fügung Gottes nachzudenken, welche Knaufs Herz so verhärtet hatte, unsern Bitten zu widerstehen, ohnerachtet er früher mit Hr. Czermack befreundet, und auch mit mir bekannt war. Wie ich so da stand, trat ein wohlgekleideter französischer Proviantcommissair zu mir, und bat mich, ihm ein Hemd zu verschaffen, weil er von Ungeziefer hart geplagt wäre. Ich sagte ihm, daß ich hier nicht wohne, dem Wirthe des Hauses fast alle seine Hemden abgenommen wären; daß ich aber erst Sonntag Morgen zwey weiße Hemden angezogen hatte, von denen ich ihm das Obere, Beste gern geben wollte; wenn es ihm keinen Ekel verursachte, daß ich es schon zwey Tage getragen habe. Er dankte mir, und da ich ihn einlud ins Zimmer zu treten, bat er mich, mit ihm in das offenstehende Appartement auf dem Hofe zu gehen, und ihm dort mein Hemd zu geben. Ich that dieses, und wartete auf ihn, um ihn nachher ins Zimmer geleiten zu können. Als er zu mir kam, dankte er mir mit einer Umarmung, und wollte mir eine russische Banknote von 100 Rubel geben, mit der Versicherung, daß dieses noch zu wenig sey für das Vergnügen, welches er empfände, sein altes Hemd in den Abtritt werfen und ein reines auf seinem Leibe anziehen zu können. Ich nahm durchaus das Geld nicht an, und bezeugte ihm meine Freude, ihm mit etwas dienen zu können, was mir die verflossene Nacht, unter Mißhandlungen, mit Gewalt hätte abgenommen werden, und auch mein Leben zu gefährden vermocht hätte. Nun trat er ins Zimmer und da er hörte daß wir alle Deutsch sprachen, sagte er: Ich bin auch ein Deutscher. Vermuthlich mußte er mich für einen Russen gehalten haben; weil er mit mir französisch sprach; denn an meinem Sprechen konnte er wohl merken, daß ich mit dem Französischen sehr wenig bekannt war. Unsere Angst stieg mit jedem Augenblick, in dem wir unsere fluchenden Soldaten erwarten konnten; und da dieses der Commissair bemerkte, fragte er nach der Ursache unserer Aengstlichkeit. Es ward ihm mitgetheilt; daß wir die Rückkunft der Soldaten fürchteten; worauf er Kreide foderte, und hinausging, ohne daß wir wußten was er dort gethan hatte. Kurz darauf kamen dann auch die Soldaten, und als sie bey ihrem Eintritt den Tisch noch nicht gedeckt fanden, fluchten sie fürchterlich, und es würde uns gewiß übel gegangen seyn, wenn Gott nicht diesen Obercommissair — dessen Namen ich leider vergessen habe — für uns zu einem Engel der Rettung herbeygeführt hätte. Die

Soldaten bemerkten ihn bey ihrem Eintritt nicht, da ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Tisch gerichtet war. Nun erhob er sich, und fragte in einem sehr strengen Ton, von welchem Regiment sie wären? — da sie Feldmäntel anhatteten — auf die Erwiederung: Was dieses ihm anginge? antwortete er: Damit ich euch belangen kann, daß ihr es wagt, auf so unverschämte Weise, in mein Quartier einzudringen. Nun fragte er sie „ob sie nicht an der Thüre gelesen hätten, daß dieses das Quartier des Obercommissairs NN sey?“^[“] So grob die Soldaten früher waren, so höflich bewiesen sie sich jetzt gegen den Commissair, sie baten um Verzeihung, entschuldigten sich mit ihrer Unwissenheit, und verließen uns mit wüthenden Blicken, über die getäuschte Erwartung, ihre leere Magen füllen zu können. Kinderchens, sprach der Commissair, ich bleibe bey Euch; denn es stehen Euch noch größere Gefahren bevor; und dieser gute Mann, ward Augenscheinlich noch in der darauf folgenden Nacht — durch Gottes Fügung — der Retter der Czermackischen, und noch einer russischen, in demselben Hause, wohnenden Familie, wie ich später erzählen werde.

Nicht lange nachher, stand ich in der Küche am offenen Fenster, und sah einen Obristen vorübergehen, der mehrere Leute auf der Straße fragte: Ob sie ihm nicht ein gutes Quartier in der Nähe des Kremmels anweisen könnten? Er ward aber von niemanden verstanden, obgleich er wechselseitig, bald französisch, bald deutsch fragte. Schon war er vorüber, als mir einfiel, daß sich das Haus an der Schmiedebrücke dazu eignen würde, welches ich bis jetzt bewohnet hatte, welches dem reichen Demidow, in Petersburg gehörte, und eben so geräumig, als gut meubliert war. Sogleich eilte ich ihm nach, holtete ihn noch in derselben Straße ein, und erbot mich, ihm ein Quartier nachweisen zu können, wie er es wünschte. Er dankte mir, und wir gingen mit einander der Schmiedebrücke zu. Da aber der Weg dahin sich in die Länge zog, verlor er die Geduld, wollte mich mehreremale verlassen, indem ich ihn nach seiner Meynung immer weiter vom Kreml abführte, in dessen Nähe er wohnen wollte. Es kostete mich Mühe ihn begreiflich zu machen, daß diese vermeintliche Entfernung nur eine Folge, von den Krümmungen der Straßen herrührte, aber dennoch das Haus welches ich ihm zeigen würde, von der Hinterseite, durch eine bequeme Pforte, ganz nahe zum Kreml führete. Noch auf der Schmiedebrücke wollte er zurückkehren, wovon ich ihn nur dadurch abzuhalten vermochte, daß ich eine solche Versicherung, wie ich sie ihm mehreremale gegeben hatte, nicht wagen würde, wenn ich meiner Sache nicht gewiß wäre, da er sich ja auf den ersten Blick selbst überzeugen könnte, ob ich ihn irre geführt habe? Ich fand bey unserer Ankunft auf der Schmiedebrücke, alles Menschenleer, aber die Häuser unversehrt. Ich zeigte dem Obristen das Haus schon in der

Ferne, welches ihm zwar dem äussern nach gefiel, aber dennoch nach seiner Meynung zu entfernt vom Kreml läge. Die Pforte des Dimidowschen Hauses, war nicht wie alle übrigen (an denen wir vorübergingen) verschlossen, sondern nur angelehnt, so daß wir in den Hof gehen konnten. Mein erster Blick fiel auf sieben Bauren, welche mit arme Sünder Mienen kniend auf den Boden lagen — unter denen ich mehrere Dwornicks erkannte — und umringt von vielen französischen Soldaten, von denen Einige ihre Gewehre im Anschlag hielten, sie zu erschießen. Sogleich bat ich den Obristen auf das Flehentlichste, der Sache Einhalt zu thun. Nun fragte er die Soldaten, warum sie diese Leute erschießen wollten? und erhielt zur Antwort: Sie wären im anstoßenden Hofe gewesen, und als einige aus Neugierde über die Mauer sahen, hätten diese Leute auf sie geschossen. Jetzt gab ihnen der Obrist recht, und befahl die Leute zu erschießen. Ich verdoppelte meine Bitten, so viel ich nur vermochte, und ersuchte den Obristen flehentlich, mir zu erlauben, daß auch ich die Leute befragen dürfte, warum sie so unsinnig gehandelt haben? Ganz treuherzig erzählten sie mir, daß Grigori Iwanitsch, der Oberuprawitel — den die Leute mehr wie Demidow fürchteten — ihnen die Bewachung des Hauses anbefohlen, und ihnen gesagt habe, sie möchten jeden, der hineindringen wollte, sogleich erschiessen, wozu er ihnen auch Flinten und Pulver gab. Aber nach dem Abzuge des Uprawitels, war das Erste was die Wächter thaten, daß sie die Vorrathskammer, und den Keller, welche reichlich gefüllt waren, erbrachen, hier fraßen und soffen sie drey Tage, und erst am vierten (Dienstage) kam einer von ihnen aus dem Keller in den Hof, grade im Augenblick als die Soldaten über des Nachbars Mauer sahen. Sogleich rief er seinen Cameraden zu, und wie sie herbey gekommen waren, legten sie ihre Gewehre auf die Fremden, ihnen unbekannten Gäste an, gaben Feuer, ohne jedoch jemanden zu beschädigen. Der Obrist lachte, dieses hielt ich für ein gutes Zeichen, meine Bitten zu erneuern, und endlich befahl er, die Leute auf die nächste Wachtstube zu bringen, damit sie ordentlich gerichtet werden könnten. Einen der ältesten Dwornicke machte ich jedoch gleich frey, weil er die Gelegenheit des Hauses, und die Schlüssel kannte, die, wie ich recht vermutet hatte, sich in des Uprawitels Wohnung befanden. Der befreyte Dwornick erhielt Befehl nach den Schlüsseln zu suchen, welches er freudig übernahm, und ich führte vor allen Dingen den Obristen durch alle drey Höfe hindurch, hinaus auf den damaligen Aepfelmarkt, ganz nahe an der Nikolsky Pforte, nun sah er den Kreml so nahe vor sich, als wäre er nur durch eine Mauer von ihm geschieden. Meine Wohnung, ein hölzerner Flügel, dicht am steinernen Hauptgebäude befindlich, war nicht verschlossen, und ich fand noch alles genau auf derselben Stelle, wie ich es Freitag in der Nacht verlassen

hatte. Der Kutscher muß also nicht mehr zurückgekommen seyn, und die Trinklust der Wächter rettete meine zurückgelassenen Haabseligkeiten. Der Obrist trat mit mir zugleich in meine Wohnung, befahl mir die verschlossenen Laden zu öffnen, und ohne noch den Dwornick mit den Schlüsseln abzuwarten, wollte er davon eilen, seine Kameraden zu suchen. Ich machte ihm bemerklich, daß ich Vogelfrey allein zurückbleibe, und leicht seine Rückkunft nicht erleben könnte; nun foderte er Kreide, und schrieb an das Hofthor, welches sowohl zum steinernen, als hölzernen Hause führte, — „Wohnung für die Adjutanten des Marschalls Bertier [“]. — Nun sind Sie sicher, sagte er, es wird kein Mensch wagen ins Haus zu kommen, oder Ihnen etwas zu leide zu thun. In demselben Augenblick aber, ritt ein Piquet Gensdarmes vorbey. Der Obrist rief den Offizier ans Fenster, nannte seinen Namen, und bat ihn zwey Mann zur Sauve Garde, bey diesem Hause stehen zu lassen, bis er und seine Cameraden Besitz davon genommen haben würden. Sogleich befahl der Offizier zween Gensdarmes, hier Posto zu fassen. Sie führten ihre Pferde in den Hof, stiegen ab, und stellten sich an der Pforte hin. Ueber eine Weile, kam einer derselben ganz krumm gebückt, und sich den Unterleib haltend, zu mir ins Zimmer, und bat mich: Ob ich ihm nicht etwas zu essen geben könnte, indem er dem Hungertode nahe sey. Ich suchte im Hause umher, und fand nichts als eine Schüssel Fizebohnen, die fast unberühret am Freytage vom Mittagessen nachgeblieben war; aber in den vier Tagen, war beynahe Handhoch Schimmel darauf gewachsen, da sie bis dahin in einem verschlossenen, und dumpfichten Küchenschanke gestanden hatte. „Der Hunger ist der beste Koch“ behauptet ein Sprüchwort; welches sich, mindestens diesesmal vollkommen bewährete. Der hungrige Soldat verzehrte alles was in der Schüssel vorhanden war; versicherte gesättigt zu seyn, da ich in meiner Wohnung von bereyten Speisen nichts mehr finden konnte, da unsere zurückgelassene Leute, während meiner Abwesenheit alles verzehret hatten. Zur ihrem Lob muß ich sagen daß dieses das Einzige war was sie sich zugeeignet hatten, bevor sie sich aus dem Hause entfernten, da sie, wenn sie gewollt hätten, alles was vorhanden war, und unverschlossen in den Zimmern lag, mitnehmen konnten. Genug, es fehlte nicht das Mindeste in meiner Wohnung, wie ich sie wieder betrat. Der Gensdarms war voll Dankbarkeit, da er einsah, daß er wohl noch länger ohne Speise hätte bleiben müssen, wenn ich nicht glücklicherweise, die verschimmelten Bohnen gefunden, u. ihm geben konnte. Ich wagte es daher, ihn zu bitten, einer Person sicheres Geleit zu geben, die ich mit der Kunde von meinem Leben, zu einem meiner besten Freunde, schicken wollte, falls er dieses thun könne. Er sagte „Mein Camerad und ich, sind Sauwe Garden, und keine Schildwachen. Schon die Schrift an der

Pforte würde genügen, aber, wenn nur Einer von uns Beyden hier bleibt, so ist dieses für die Sicherheit des Hauses hinlänglich.“ Ich schrieb sogleich an Herrn Czermack, lud ihn ein, mit den seinigen unter Schutz des Commissairs, oder Begleitung des Gensdarmes zu mir zu kommen, da meine Wohnung mehr Bequemlichkeit, und Sicherheit als die seinige gewähre; und wir noch den Vortheil hätten vereint seyn zu können. Im Hofe fand ich eine alte Bäuerin, welche gegen ein gutes Trinkgeld bereit war, unter diesem sichern Geleite, das von mir geschriebene Billet Hr. Cz. zu überbringen; da der Gensdarmes allein, nie die Straße und die Wohnung des Hr. Cz. aufgefunden hätte; und beyde machten sich auf den Weg. Mittlerweile kam der von mir befreyste Dwornick und sagte mir „Er habe den Hauptschlüssel zum großen steinernen Hause nicht finden können,“ aber einen Andern, der zur obern leer stehenden Etage, des hölzernen Hauses führte brachte er, und wir konnten nun in das große Haus kommen. Wir machten sogleich den Versuch, fanden alle Zimmer offen, und konnten von Innen auch den untern Eingang öffnen. Bald darauf trafen die Adjutanten des Marschalls Bertier, die Herren Obristen Flahau, Noail, Bongard, Couteil ein. Sie fanden das Haus, groß, bequem, gut meubliret, und dankten mir, als hätte ich sie aus Gnaden aufgenommen. Daß ein solches Haus nicht leer bleiben konnte, vermochte ich mir leicht zu denken. Es kam aber darauf an, wer es in Besitz nehmen würde; und da der Obrist Noaill, welchen ich dahin führte, gut Deutsch sprach, hoffte ich, bey ihm doch mehr Einfluß gewinnen zu können als bey einem Anderen, und also auch mehr zum Schutz als zum Verderben des Demidowschen Eigenthums zu thun vermögen. Ausser den Obristen Bongard, sprachen alle übrigen Adjutanten sehr gut Deutsch. Ich ward von allen Monsier le Maitre genannt; und ward wie ein Haase gehetzet, da der Eine bald dieses, ein Andrer jenes foderte. Am meisten machten mir die Bedienten zu schaffen, deren jeder von mir verlangte, ich sollte ihm anweisen, wo er das Ausgepackte hinstellen sollte. Wohl mehr als 100mal mußte ich die Treppen hinauf, und hinab, in den Stall, Wagenremisen, allen drey Höfen, Küchen, etcr. rennen. Ich hatte selbst den ganzen Tag über nichts gegessen, und fiel um halb zwey Uhr nach Mitternacht, ohnmächtig, und angekleidet wie ich war auf ein Sopha in meinem Zimmer hin; hatte aber meiner Berechnung nach nicht lange so gelegen, als ich meinen Namen rufen, und an der Hauspforte klopfen hörte. Ich erkannte sogleich Herrn Czermacks Stimme, eilte hinaus, fand ihn, seine Frau und Kinder, seine Magd, und Bedienten, und den edlen Commissair, der ihnen Pferde vor ihren Wiener Reisewagen geschaffet, und sie hieher geleitet hatte. Schon früher hatte ich von Herrn Czermack auf mein an ihn geschriebenes Billet die Antwort erhalten: Da ihn Gott so

wunderbar mit den Seinigen, in seiner bisherigen Wohnung geschützt habe, und es des Herrn Fügung war, daß ihn Knauf nicht aufnahm; er es jetzt für seine Pflicht halte, ferner in dem Hause zu bleiben, wo er sich jetzt befände, und sich ganz dem alleinigen Schutze Gottes zu übergeben. Ich gestehe, daß dieser Glaubensmuth mir Freude machte, u. mir selbst nicht wenig zur Ermunterung gereichte. Doch der Mensch denkt, und Gott lenkt. Es war die Fügung des Herrn, daß die 2½ Tage die ich in Hr. Cz. Hause seyn mußte, das Mittel werden sollten, ihm und den Seinigen viele Monate einen sichern und sorgenlosen Aufenthalt in meinem Hause zu bereiten. Nachdem diese spät angekommenen, und eine aus sechs Personen bestehender russischen Familie — die ich in der vorigen Nacht von der Plünderung gerettet hatte wie ich früher erzählt habe — bey mir eintraten, und die Sachen aus den Wagen hereingetragen waren; ermunterte der gute Commissair Hr. Cz., sobald als möglich zurück zu eilen, um noch so viel als möglich aus der verlassenen Wohnung zu retten, der sich, das immer weiter sich verbreitende Feuer, — welches am Montag Nachmittage, in der Fischgasse ausbrach — schon so sehr genahet hatte, daß Czermacks ohne Gefahr nicht dort bleiben konnten. Wie hatte aber die Vorsorge Gottes, die Hülfe auf wunderbare Weise schon früher vorbereitet. Hätte der Commissair nicht Pferde geschafft und die Fliehenden begleitet, so hätten sie den Wagen, und ihre besten Sachen zurücklassen müssen, und sie wären auf der Straße leicht nackt ausgeplündert, und mißhandelt worden. Auf alle Fälle aber in der nachfolgenden bösesten Zeit, dachlos, und ohne Nahrungsmittel bleiben müssen. Eben so würde es mir gegangen seyn, wenn ich den Obristen Noaille, nicht gesehen, um ihn ins Demidowsche Haus bringen zu können. Nun hatten wir Alle, durch Gottes Gnade, Wohnung und Speise, Sicherheit der Personen, und mindestens die nötigsten Bedürfnisse. Bald kehrte Hr. Cz. und der Commissair unverrichteter Sache zurück. In der kurzen Zeit, wie die Fahrt nach meiner Wohnung dauerte, hatte das Feuer schon beynah das Ende der Gasse erreicht, in deren Mitte das Haus des Geistlichen stand, bey welchem Hr. Cz. sich eingemietet hatte, welches damals noch unversehrt war. Dieses scheinet unglaublich, und ist doch wahr. Es ist kaum möglich, sich eine Vorstellung zu machen, mit welcher Schnelligkeit ein ganzer Stadttheil in vollen Flammen stand, wie ich nachher mich selbst zu überzeugen Gelegenheit hatte, wenn ich mich des Nachts, oben in dem Thürmchen befand, welches über meinem Hause war, von wo aus man weit umher sehen konnte. In stockfinstrer Nacht, lagen die Stadttheile umher, bis plötzlich auf viele Dächer zugleich, kleine Flämmchen sichtbar wurden, u. nun dauerte es nicht lange, so glich der ganze Stadttheil, wo diese feuerigen Vorbothen sich zeigten, einem ganzen Feuermeere; denn, die ganze Zeit

als es in Moskau brannte, wehete ein heftiger Wind, als ob er sich zum Verderben der Stadt verschworen hätte, die aufsteigenden Flammen wurden von dem starken Winde horizontal niedergedrückt. Er fuhr über sie hin, und so glich das Ganze mehr einem feurigen Meer, als einem gewöhnlichen Brände von Häusern. An Retten, u. löschen, war nicht mehr zu denken, obwohl Napoleon beym Beginn des Brandes, den er für zufällig hielt, die strengsten Befehle zum Löschen gab, und auch persönlich auf mehreren Brandstellen erschien. Da er aber erfuh, daß die vorhandenen Sprützen abgeführt waren, und mehrere Stadttheile zu gleicher Zeit zu brennen anfingen, gab er das vergebliche Bemühen, dem Feuer Einhalt zu thun auf. Nur auf diese Weise war es möglich daß 4/5 oder 5/6 Theile einer so weitläufigen Stadt wie Moskau es war vom Montage bis Sonnabend — in fünf Tagen abbrennen konnte. Unser gute Comissair, wählte sich am andern Morgen in dem einem grade überstehenden Hause, welches dem Obristen Tolbuchin gehörte, eine Wohnung, und blieb noch mehrere Wochen, unser Freund und Wohltäther. Ich bedaure es schmerzlich, seinen Namen vergessen zu haben, welches aber daher kam, daß wir ihn, von dem Augenblick an, da er sich uns als Landsmann zu erkennen gab, nur immer Herr Obercomissair, und nicht bey seinen Namen nannten. Wie die im Demidowschen Hause einquartierten Obristen am Mittwoch Morgen erwachten, ging mein Laufen und Rennen wieder an, doch hatte ich großen Beystand von Hr. u. Mad. Cz. die mir willig abnahmen, was sie verrichten konnten. Besonders kam die Sprachkunde der Mad. Czermack uns sehr zu statthen, welche dolmetschen u. übersetzen konnte, wo meine wenigen Kenntnisse der französischen Sprache nicht ausreichen konnte. Mittwoch Vormittag foder-ten mich zwey Obristen auf, ihnen den nächsten Weg nach dem Kreml zu zeigen. Ich gehorchte und führte sie durch die sogenannte Nikolsky Woro-ta. Als wir bey Gastinnoi Dwor, oder den Buden, ankamen, erblickte ich eines, gewiß in seiner Art, einziges Schauspiel. Tausende von Soldaten aller Waffengattung, und fast eben so viele gemeine Leute in russischer Tracht, waren bemühet, die geöffneten Buden auszuleeren, und die noch Verschlos-senen, in eben der Absicht zu erbrechen. Alles ging dabey so friedlich und freundschaftlich zu, obwohl sich die beyden Nationen nicht besprechen konnten. Jeder nahm, was ihm gefiel, keiner hinderte den Andern, da genug für Alle vorhanden war. Nur sah man oft, von einem, einen früher gesam-melten Bündel Waaren auf die Erde hinwerfen, sobald er in einer andern Bude etwas fand, was ihm mehr gefiel, oder er besser zu gebrauchen meyn-te. Das Hingeworfene, ward sogleich von Andern aufgenommen, davon getragen, oder später mit etwas besserm verwechselt. Der ganze Anblick glich einem Gabelfrühstücke, bey welchem jeder der eingeladenen Gäste,

sich das wählet was seinem Gaumen am meisten behaget. In den geöffneten Buden, wo sonst eingemachte Früchte verkauft wurden, griffen die Plünderer mit schmutzigen Händen, ohne Ekel, der Reihe nach hinein, und ob ich wohl nahe an zwey Stunden herum ging, hörte ich keinen Wortwechsel, vielweniger Zank. Nur einmal sah ich, daß ein französischer Soldat, einem Russen ein Stück Tuch wegnahm, welches er nur mit großer Anstrengung vermochte, weil der Bauer es nicht lassen wollte. Als aber dennoch der Soldat das Tuch in seine Gewalt bekam, lief ihm der Bauer nach, und machte Versuche, es ihm wieder zu entreissen. Da warf ihm der Soldat einen Sack von etwa 3/4tel Arschin in die Länge, und etwas weniger breit zu, und eilte davon. Der Bauer öffnete den Sack, blickte hinein, und fing ein so gräßliches Geschrey an, von dem man nicht wußte, ob es Freude, oder Jammer bedeuten sollte, wodurch er die Augen der Umherstehenden, auf sich zog. Der Bauer schrie immer lauter, und fing endlich so schnell als möglich zu laufen an, den Sack mit beyden Händen an die Brust drückend, bis ich ihn aus dem Gesichte verlor, obgleich ich ihn aus der Ferne noch hören konnte. Vermuthlich war der Sack mit Banknoten gefüllt, deren Werth der Soldat nicht kannte, der Bauer aber auf den ersten Blick zu schätzen wußte, und daher seine sich durch Lachen und Weinen geäusserte Freude über diesen unerwarteten großen Fund. Auch der Obrist Couteil nahm einem mit Safianstiefel beladenen Soldaten ein paar Grünfarbige ab, welche dieser ihm willig überließ, und als er bald darauf einem Andern, mit Zobelfellen sah, bat er sich Eines aus, welches er zerschneiden, und als äusserre Verbräm an den obern Rand der Stiefern heften lassen wollte, weil er — wie er scherzend sagte — im kalten Rußland wäre. Sobald die Obristen in den Kreml gingen, besuchte ich das Schillingsche Haus, wo ich lange klopfen mußte, bis ich eingelassen ward. Ich fand den zurückgelassenen Comptoirdiener Settermeyer wohlgemuth, weil noch kein Franzose ins Haus gekommen, und niemand ihn beunruhiget hatte. Eigentliche Plünderung, wie sie nachher befohlen, und 17 Tage mit aller Oeffentlichkeit gedauert hatte, fand damals im Allgemeinen noch nicht statt. Alle Excesse geschahen nur, wenn sich eben eine gute Gelegenheit dazu fand, und sie entweder heimlich verübet, oder bey Nacht vollbracht werden konnten, und so kam ich auch an diesem Tage glücklich nach Hause. Am Abend kamen die Obristen, und sagten uns, Napoleon habe kurz vor ihrer Entfernung aus dem Kreml, die Stadt verlassen, und sich nach Petrowsky begeben, weil er erfahren habe, daß in dieser Nacht, der bereits unterminirte Kreml in die Luft gesprengt werden sollte. Sie riethen uns, in ihrer Begleitung gleichfalls nach Petrowsky aufzubrechen; welches ich aber aus folgendem Grunde zu thun verweigerte. Erstens, weil ich — dem Schutze

Gottes vertrauend — meine Wohnung nicht eher verlassen wollte, bis es die höchste Nothwendigkeit durchaus gebieten würde. Dann hielt ich uns — nehmlich Hr. Cz. Familie, und alle die bey mir eingekehrt waren, mit den Kindern, im freyen Felde bey Petrowsky — denn auf eine Wohnung war dort nicht zu rechnen — weniger sicher wie in der Stadt; und endlich, war es leichter, mein Haus zu verlassen, als wieder dahin zurückkehren zu können. Als aber der Obrist Couteill sah, daß mein Entschluß fest stand, so ließ er die übrigen drey Obristen (seine Kameraden) nach Petrowsky abziehen, und blieb allein bey uns, um uns zu schützen, und befiehlt mehrere Diener, Soldaten, und einen großen angespannten Proviantwagen zurück, um im Falle der Noth, die Kinder und Personen, die nicht gehen konnten, nach Petrowsky führen zu können. Die ganze Nacht brachten wir auf dem Hofe zu, und hatten genug zu thun, die fliegenden Feuermassen, sogleich zu löschen, die immerwährend auf unsere Dächer, und andere zündbare Dinge niederfielen, da grade einer der nächsten Stadttheile an der Schmiedebrücke, in dieser Nacht abbrante. Am andern Morgen zog Napoleon wieder in die Stadt, weil sich das Gerücht von untermirung des Kremls nicht bestätigte, und eine deßfallsige Untersuchung bewies, daß keine Gefahr dieser Art vorhanden war. Das Feuer wütete Tag und Nacht fort, und wie ich eben sagte „Es brannte planmäßig[“], nehmlich so daß in jeder Nacht (trotz der nunmehrigen Wachsamkeit der französischen Behörde) irgend ein Stadttheil in Asche gelegt ward; abgerechnet, wozu der immerwährende Wind seinerseits that, das Feuer weiter zu verbreiten, ohne das es einer besondern Ansteckung bedurfte.

Man kam endlich den Ansteckern auf die Spur, und so wie man Einen ergriff, ward er auf dem Twerskoy Boulevard an einem Laternenpfahle aufgehängen. Auch auf unserm Hinterhofe ward einer festgenommen, bey dem man Zündstoffe, sowohl in trockenen, und liquiden Inhalt fand, die ihm von dem Obrist Couteill abgenommen und zu Napoleon gebracht wurden. Der Mann aber ward zur Pforte hinausgeführt, und sogleich erschossen. Der freye Raum hinter unserm Hause war der eigentliche Executionsplatz, darum standen immerwährend einige Compagnien Füsliers auf dem sogenannten Apfelmarkt, auf den man durch den hintern Hof des Demidowschen Hauses hinaustrat. Ich bin wenig in andere Straßen gekommen, aber die Schmiedebrücke, Petrowka, der Kirchhof und die enge Straße, die zur Hauptwache, und zum Hause des Generalgouverneurs führte—welches jetzt vom Marschall Berthier bewohnet war—lagen voll todter Menschen, und crepiter Pferde, über deren schon in Verwesung übergegangene Ueberreste man hinwegsteigen mußte, wenn man seinen Weg fortsetzen wollte. Nur einmal hatte Einer, oder Mehrere den frevelhaften Schert gemacht,

die Todten von der Straße aufzunehmen, und in jeder Nische, des Eckhauses, (rechts von der Schmiedebrücke, nach der Petrowka) einen, oder zwey Leichen, in lächerlicher Stellung hingesetzt, so daß in jeder Nische sich eine komische Gruppe von Todten befand. Ich ging meinen Versprechen gemäß, täglich nach dem Schillingschen Hause, u. hielt dies für eine heilige Berufspflicht, zu welcher mich meine Zusage, und die Dankbarkeit verband, daß diese Familie meine jüngste Tochter mit sich genommen hatte. Diese große Wohlthat empfand ich nun verzehnacht stark, da ich jetzt erst alle Gefahren erkannte, welchen meine Tochter durch ihr bleiben in Moskau, ausgesetzt worden wäre. Muthig, und vertrauend auf Gottes allmächtigen Beystand ging ich darum so wohl nach dem Schillingschen Hause, wie überall hin, wo ich es für Berufspflicht hielt. Dagegen that ich keinen Schritt, den ich nicht Pflichtmäßig machen mußte; und so habe ich — was kaum glaublich scheinet — Napoleon nicht einmal gesehen, obgleich er jeden Tag, um 3 Uhr Nachmittags, dicht an unserm Hinterhause vorbey ritt, und ich nur in die Hofspforte treten durfte, ihn mindestens einmal zu sehen. Die bey uns im Quartier stehenden Obristen, nahmen mir diese Gleichgültigkeit sogar übel, und gaben mir dieserhalb mehrmal Verweise, die ich aber jedesmal entweder mit Mangel an Zeit zu entschuldigen, oder mit dem Versprechen, es nächstens zu thun, wieder zufrieden zu stellen suchte. Genug, ich habe Napoleon nicht gesehen. Desto muthiger ging ich aber überall hin, wo ich es Pflichtmäßig thun mußte. So kam es denn auch, daß ich ohne Begleitung, nicht einmal nach meinen Waaren und Effecten zu sehen wagte, die ich an 5 verschiedenen Orten für Plünderung und Brand wohl verwahret zu haben glaubte, als ich sie 8 bis 10 Tage vor dem Einrücken der Franzosen bey — von einander entfernt wohnenden Freunden — verborgen, und theils vermauert, theils in die Erde vergraben hatte. Erst am sechsten Tage nach Ankunft des Feindes gab mir der Obrist Cuiteill eine sauve Garde die mich begleitete, und an vier Orten, fand ich entweder alles verbrannt, wie in der Apotheke des Findelhauses, wo das Feuer wegen der vielen brennbaren Materialien, auch in den untern — für Feuerfest gehaltenen — Keller eingedrungen war, theils aber die Kästen erbrochen, u. ausgeplündert. Am fünften Orte, konnte ich an diesem Tage nicht hinkommen; hörte aber bald darauf von dem Musicus Suck, der mir, beym Hinbringen und Vergraben meiner Sachen geholfen hatte; daß die Keller, im Hause des ehemaligen Schneiders — jetzt Kaufmann Beckers, gleichfalls erbrochen sind, u. offen stehen, in welchen ich einen Theil meiner besten Waaren, und besonders meine Koffer verwahret hatte. Suck versicherte, er sey im Keller gewesen, habe meine erbrochenen Koffer, und mehrere umhergestreute Sachen gesehen, auf welchen ein todter französischer Soldat gelegen habe.

Es dauerte aber mehrere Tage, bis ich wieder ein sicheres Geleit erhalten konnte. Als dieses endlich geschah, begab ich mich in Begleitung eines Gensdarmes dahin u. fand, wie es mich Suck versichert hatte, die Kellerthür erbrochen, ging aber nur sehr behutsam die Kellerstufen hinab, weil ich die dort liegen sollende Leiche, schon in Verwesung vermuthen konnte, da sie nach meiner Berechnung schon über 8 Tage dort war; ich spürete jedoch nicht den mindesten Geruch, ob ich schon dem dort liegenden Soldaten ganz nahe kam. Meine Koffer und Kisten standen wirklich leer da, und viele Pud rohe Seide lag im Keller umher zerstreut — weil diese Waare vermutlich keinen Werth für die Plünderer hatte. Auf dieser Seide lag auch der Soldat, und unter seinem Kopfe, erblickte ich mein Tagebuch, welches ich im Jahre 1788 angefangen, und 24 Jahr fortgeführt hatte. Meine Freude über diesen wichtigen Fund war groß, und ich bückte mich, um es dem Todten unterm Kopfe wegzunehmen, welches mir auch leicht gelang; aber in diesem Augenblick, fing der vermeintliche Todte, in einem ärgerlichen Tone zu brummen an, wie jemand den man im Schlafe stören will. Ich erschrack, rief den Gensdarmes, und sagte ihm, daß dieser Soldat schon über 8 Tage hier liege, und noch am Leben sey, und bat ihn, es gehörigen Ortes zu melden; zweifle aber, ob es geschehen sey; denn ich hatte Gelegenheit, eine ähnliche Begebenheit zum zweitenmale zu sehen. Ich begleitete später wo man schon mit mehr Sicherheit — obwohl nie ganz sicher — über die Straße gehen konnte; den Schauspieler Haltenhof in seine Wohnung; und nahe an der rothen Pforte, sagte er: Wir müssen Seitwärts biegen; denn im Durchgang der rothen Pforte, sah ich vor mehreren Tagen, einen todten Husaren in voller Uniform liegen, der jetzt schon ganz in Verwesung übergegangen seyn muß. Mehr wie Haltenhof an solche Scenen gewöhnt, ging ich grade auf die rothe Pforte zu, und immer näher, als ich nicht den mindesten Geruch spürete, bis ich endlich dem Husaren ganz nahe war, und noch Spuren des Lebens an ihn fand. Man kann sich von der Unordnung des damaligen Armeekorps, welches in Moskau war, und welches aus so vielen verschiedenen Völkern und Nationen bestand, gar keinen Begriff machen. Die Disciplin war so gut wie aufgelöst, und Napoleon war zu klug, oder zu schwach, sie mit seiner gewohnten Strenge, wieder herzustellen. Man denke sich die grobe Täuschung einer Armee, die mit der größten Anstrengung bis Moskau vordrang, der große Mangel den sie auf dem Wege dahin leiden mußte, da Städte und Dörfer nicht so dicht an den Straßen liegen, wie in andern Ländern. Nun sollte sie Moskau für alle ausgestandenen Beschwerden vollkommen entschädigen; und was fanden sie hier? Eine brennende Stadt, zerstörte Magazine, und Vorräthe nicht einmal Brodt hatten sie. An Fourage fehlte es gänzlich. Weder Fleisch noch Speck war zu

sehen. Nicht einmal ein Obdach fanden die Meisten. Der verpestende Gestank, von übelriechenden Dingen die in großen Massen verbrannt waren, von todten Menschen, u. crepirtem Vieh war unausstehlich, und selbst die siebzehntägige Plünderung die Napoleon erlaubte, gab nur den Allerwenigsten einen kleinen Ersatz. Gold und Silbermünzen fanden sie wenig. Assignationen, besonders wenn sie alt und unscheinbar waren, wußten sie nicht zu schätzen — und erst später ward ein Handel mit russischen Banknoten getrieben, die nicht nach dem Werthe, sondern Paquetweise gegen Gold und Silbermünzen verkauft wurden, wobey manche Einwohner, die sich mit diesem Handel abgaben, große Summen gewannen. Die reich meublirten und gut eingerichteten Häuser welche nicht abgebrannt waren, bewohnten die unzähligen Generäle u. Staabsoffiziere; daher fanden die plündernden Soldaten, ob sie gleich mit Aexten, Brechstangen, und mit Zimmerleute an der Spitze immer in Masse gingen, wenig was sie fortbringen, und sie bereichern konnte. Bey Tage hatte ich in meiner Wohnung wenig Beunruhigung zu befürchten. Die Aufschrift an der Pforte, die vielen Bedienten, und Soldaten welche immer auf dem Hofe waren, verscheuchten die Plünderer. Aber es ging fast keine Nacht vorüber in der nicht ein ganzer Schwarm Plünderer durch die Fenster meiner Zimmer drang, welche im Erdgeschoß des Hauses lagen, und ohne den unermüdlichen Beystand des guten Obristen Couteill, dessen Schlafzimmer sich gerade über den Meiningen befand; wäre ich mindestens großen Mißhandlungen nicht entgangen. Sobald ein solcher Schwarm nahete, schlug ich mit einem dazu bereitgehaltenen Staabe, an die Decke meines Zimmers, und sogleich eilte der Obriste, Degen, und Pistole in der Hand, zur Hülfe herbey, und wenn er nicht in Uniform erschien, hatte auch er manchmal einen harten Stand, weil sich die Plünderer auf die Erlaubniß Napoleons beriefen. Ich sah in den meiner Wohnung gegenüber liegenden Häusern, während des Tages, oft förmliche Scharmützel, zwischen plündernden Soldaten, u. Offizieren zu, die nicht in den Magazinen selbst, sondern im hintern Gebäude der Häuser wohneten, deren vordere Flügel von Modehändlerinnen in Miethe genommen waren und mehrere Soldaten verloren ihr Leben dabey, weil bey solchen Gelegenheiten, sogleich viele Offiziere herbey eiletten, die auf der Schmiedebrücke in Quartier standen, um den schönen Modehändlerinnen beyzustehen, die Soldaten aber bestanden darauf nur die Häuser verschonen zu dürfen, die von Offizieren wirklich bewohnet wären. Dieses dienet zum Beweis, wie schwach die Subordination zu dieser Zeit war, und wie wenig Werth ein Menschenleben hatte. Die Offiziere verstanden jedoch ihren Vortheil besser wahrzunehmen. Wenn sie in einem wohl und reich eingerichteten Hause wohnten, und die geheimen Vorraths, oder Verbergungsorte entdeckten,

eigneten sie sich das Theurste und Beste davon zu, und luden auch ihre Bekannte und Freunde ein, zu nehmen, was sie selbst nicht mehr brauchten, oder nicht fortbringen können vermeyneten. Auf diese Weise, brachten auch unsre vier Obristen fast täglich, die Schönsten, und theuersten Sachen nach Hause, die sie aus der Wohnung ihrer Freunde, mit deren Bewilligung, nahmen. Dagegen gaben sie nicht zu, daß ihre Bedienten im Demidowschen Hause, die verschlossenen Ambaren, und Kladawoyen öffnen durften, und eben sowein im Hause, nach verborgenen Dinge suchen durften. Ich zeigte der russischen Behörde, gleich nach ihrer Ankunft in Moskau, sogleich an, daß sich — nach der Schätzung der französischen Offiziere — mehr als für 16000 Franken, kostbare Sachen in ihrer innegehabten Wohnung befänden; welche sie mir bey ihrem Abzuge zwar geschenket hatten, die ich mir aber weder mit Recht zueignen könnte, weil es fremdes Eigenthum war, und auch als gestohnes Gut, nicht zueignen wollte. Der Major unseres Stadttheils Grandjean, nahm diese Dinge von mir in Empfang, und die fremden Meublen wurden nach der Wohnung des Herrn Grafen Rostoptschin auf der Lubianka gebracht, da man natürlich nicht wissen konnte, aus welchen Häusern sie weggenommen waren. Demidow hatte durchaus keinen Schaden gelitten, vielmehr ist noch manches im Hause geblieben, was die Polizey, in den damaligen Umständen, nicht der Mühe werth hielt, fortnehmen zu lassen. Es hatte sich auch oft ereignet, daß unsre Einwohner, bey ihrer Nachhausekunft von Besuchen bey ihren Freunden, mir Geschenke mitbrachten — welche ihnen freylich nichts gekostet hatten. Ich betheure vor Gott, daß ich trotz allen Zureden, mich nie bewegen ließ, etwas anzunehmen, ob es gleich Sachen von Werth waren. Meine Entschuldigung war stets — da ich den wahren Grund meiner Weigerung — daß es gestohlenes Gut sey — nicht gut angeben konnte: Wenn einst der frühere Eigenthümer diese Sachen in meiner Wohnung fände, könnte er leicht denken, oder sagen: Wo dieses eine Stück meines geraubten Eigenthums sich befindet, muß, oder kann auch alles Andre seyn was mir verloren ging. Durch solche Weigerungen verlor ich nicht das Mindeste in den Augen dieser braven Offiziere, stieg vielmehr sichtbar in Achtung bey ihnen. Einst widersetze ich mich, nicht ohne Gefahr einem verabschiedeten Kapitain — von Geburt ein Pole — mit aller Anstrengung, da er mehrere Dwornicks von Demidow mitnahm und gemeinschaftlich mit ihnen in der Stadt plünderte, und endlich die geraubten Sachen in unser Haus bringen wollte. Ich hatte diesen Mann, und ein Weibsstück das er bey sich hatte, in meine Wohnung aufgenommen, die zur Tischzeit jedem offenstand, der kommen wollte, und in welcher so viele unter Dach kamen, als Platz vorhanden war. Nach einigen Tagen sah ich ihn, und die obengenannten

Personen schwere Bündel tragend auf das Haus zukommen. Sogleich eilete ich der hintern kleine Pforte zu, stellte mich im Eingang und fragte die Dwornicks: Was sie trügen? Ich erhielt zur Antwort: Was wir in den Buden holeten. Nun schalt ich sie Diebe, und Räuber, daß sie sich an dem Guthe ihrer russischen Brüder so sündlich vergriffen haben, und erklärte ihnen, daß ich es nie zugeben würde, solche Sachen ins Haus zu bringen, welches ich zwar französischen Soldaten nicht, aber ihnen als Russen, und Demidows Leibeigene, verbieten könnte. Nun mischte sich der Capitain drein, wollte mich von der Thüre verdrängen und befahl den Leuten, ihre Bündel in den Hof zu tragen. Ich stemmte mich dem Capitain, als dem Voranstehenden entgegen, und überhäufte ihn mit gerechten Vorwürfen; sagte ihm daß er die Offiziersuniform schände, wenn er sie zum Rauben entweihet; und gewiß wäre es für mich übel abgelaufen, wenn nicht Gott in diesem Augenblick den Obristen Couteill herbey geführet hätte; welcher sogleich näher kam, und nach der Ursache unseres Streites fragte. Voll Indignation, stellte ich ihm das schändliche Betragen dieses Mannes vor, welches der Obrist auch vollkommen fühlte, weshalb er dem Capitain befahl sich Augenblicklich zu entfernen, wenn er nicht auf der Stelle füsiliert werden wollte. Der Capitain bat voll Angst „man möchte ihm nur erlauben, seine im Hause noch befindlichen Dulcinää, und seine Sachen mitnehmen zu dürfen. [“] Der Obrist schickte mich hin, das Weib und die Sachen herbringen zu lassen, und Beydes ward zur Hinterpforte hinaus geworfen. Die Dwornicks erhielten Befehl, die Sachen wieder dahin zu tragen, wo sie solche genommen hatten. Ich habe aber Grund zu vermuthen, daß sie die Sachen irgendwo verbargen, um sie zur gelegenen Zeit wieder ins Haus zu bringen; denn die Polizey fand nachher bei vielen Demidowschen Leuten, mehreres geraubtes Gut, welches ihnen abgenommen ward, und wofür sie gebührende Strafe erhielten. Vermuthlich hatte sich der genannte Capitain auf irgend eine Weise den Schutz der französischen Behörde zu verschaffen gewußt; denn er trug russische Uniform, die er aber durch solchen Gebrauch entehrte. Die andern drey Obristen — denen der Obrist Couteill diesen Vorfall erzählte — lobten mich, und bewiesen mir von dem Tage an auszeichnende Achtung, welches mir recht kenntlich ward, als ich von den vielen Anstrengungen erschöpft aufs Krankenlager sank. Sie befahlen ihren Leuten, kein Geräusch weder im Hofe, noch beym Hinauf- oder hinuntergehen der Treppen zu machen; und wenn sie auch noch so spät in der Nacht, nach Hause kamen, gingen sie niemals hinauf in ihre Wohnung, ohne sich vorher recht theilnehmend nach meinem Befinden erkundiget zu haben. Ja sie brachten mir einmal ein Schulterblatt von einem Reh, aus der kaiserlichen Küche mit, welches für Napoleon geschossen ward, um mir eine Suppe

kochen zu lassen. Ende September, an einem heitern Abend, erblickte ich am Horizonth drey große, sehr hohe feurige Säulen, die ein regelmäßiges Dreyeck bildeten. Sie waren sehr hoch, und schön proportioniret. Ich betrachtete und bewunderte diese majestätische Naturerscheinung, mehr mit Andacht, als Schrecken, und ohne mir etwas besonderes dabey zu denken. Endlich kam auch der Obrist Couteill auf den Hof, und als ich ihn auf diese Erscheinung aufmerksam machte, schrie er voll Schrecken, als ob er die Hölle geöffnet sähe. Er rief seine Cameraden herbey, und auch diese äusserten sich auf gleiche Weise. Diese vier tapfern Krieger thaten so ängstlich, deuteten diese Säulen mit so viel Furcht für Unheilbringend, und sprachen so viel, daß auch mir bange ward, und mir endlich sich alle meine Haare aufrichteten. Ich gerieth gleichfalls in Angst, als ob mir das größte Unglück bevorstünde, ob ich gleich eigentlich nicht wußte, was ich eigentlich zu befürchten habe? Schwerlich wurden die Aeusserungen anderer Menschen, bey einer ähnlichen Gelegenheit, eine solche Wirkung bey mir hervorgebracht haben; aber das Benehmen dieser vier tapfern Krieger, war so auffallend, daß ich unwillkürlich mit hingerissen ward, und die Erfahrung machen mußte; wie ansteckend die Furcht Eines, für viele Menschen, werden kann. Ich sagte vorhin, daß alle Tage gleichsam offene Tafel bey mir war, an welcher jeder Antheil nehmen konnte der kommen wollte; und dieses verhielt sich also. An Vorräthen von Roggenmehl, Grütze, geschärftem Kohl, und Salz, hatte ich Ueberfluß; weil diese Dinge von den Franzosen nicht angerühret, vielweniger gegessen würden. Ich ließ also Brodt backen, große Kessel Grütze und geschärften Kohl kochen; da aber weder Fleisch, Speck, noch Oehl zu haben war, würzte ich diese Speisen mit Pfeffer, und goß sehr guten Estragonessig hinzu — dessen ich wohl an 500 Bouteillen im Keller hatte. Der Hunger that freylich das Beste. Wer aber den Apetit sah, den die Tischgesellschaft groß und klein hatte, mußte glauben, wir genössen die leckersten Speisen. Der Geruch von Estragonesseig durchdrang das ganze Haus, wenn die Speisen aufgetragen wurden. Dieses reitzte die Forschbegierde unserer Obristen, und nachdem sie den Essig gekostet hatten, nahmen sie eine Bouteille davon mit nach dem Kreml. Napoleon versicherte, er hätte in Paris keinen bessern Essig genossen; und des andern Tages kam der Präfect du Palais Marechall Duroc zu mir, und nachdem er mir viel Complimente, über das Gute, was ihm die Adjutanten von Berthier von mir gesagt haben, gemacht hatte, sprach er „der Essig, welchen die Herren gestern brachten, habe Napoleon so gut geschmecket, daß er befohlen habe, meinen ganzen Vorrath für die kaiserliche Küche zu kaufen. Er fragte daher nach dem Preis, und wie viele Bouteillen ich noch habe?“ Ich antwortete: Früher hätte ich die Bouteille zu fünf

Rubel verkauft, welches nach französischen Cours fünf Franken beträgt, und meinen Vorrath gab ich nur zu 200 Bouteillen an, weil ich den Rest für unsere Speisen bedurfte, und darum verschwieg. Der Marechal sagte „Gut, die 200 Bouteillen sind für den Kaiser.“ Ich faßte mir ein Herz, und fragte: Und wann bekomme ich dafür die mir zukommenden 1000 Franken? Duroc blickte mich sehr gutmüthig an, und indem er mich freundlich auf die Schulter klopfte, sagte er: Behalten Sie Ihren Essig. Der Kaiser wird Essig, aber Sie kein Geld kriegen; Ich werde sagen, daß Sie keinen Vorrath mehr haben.

Ein Anderesmal, wäre ich nicht so gut abgekommen, wenn mich nicht eine Frau aus der Verlegenheit gezogen hätte, die eben kein Tugendspiegel war. Sie wohnte schräg gegen mir über, war sehr schön, und stand nicht im besten Rufe. Eines Vormittags, kam sie zu mir, und bat, ob ich nicht eine Scheere habe, die ich ihr käuflich überlassen könnte? Ich suchte nach, fand eine solche, die aber etwas verrostet war, und die ich darum zurückließ weil ich sie der Mühe des Einpackens nicht werth hielt. Sie fragte nach dem Preis, und ich weigerte mich durchaus von ihr Bezahlung anzunehmen, da die Scheere verrostet ist, und kaum der Rede werth sey. Indem wir aber noch miteinander nicht einig werden konnten, sie durchaus bezahlen und ich nichts annehmen wollte, trat ein Hofcommissair herein, und fragte „Ob ich Dinte zu verkaufen habe, und was die Flasche kostet?“ — Dieses war gleichfalls ein Artikel, den ich nicht einpacken wollte, wie überhaupt alle Flüssigkeiten, die ich im Keller hatte, weil sie schwer zu packen, und zu transportieren waren; welche mir nachher aber viel Vortheil brachten, ohnerachtet ich sie zu der Zeit verloren gab, als ich meine bessern Waaren und Sachen an fremde Orte verbarg, die ich nachher nicht wieder sah. — Ich zeigte dem Commissair meine Dinte, das Fläschgen zu einem Frank, und er befahl 100 Fläschgen einzupacken, die ich auch sogleich in einen großen Korb legte. Der Commissair trat ans Fenster, und rief zwey eben vorübergehende Soldaten und befahl ihnen, den Korb wegzu bringen. Als ich aber nach Geld fragte, ward der Commissair bitter böse, fand es unverschämt, daß ich von einem Hofcommissair Geld zu fodern wagte, da die Dinte für die kaiserliche Canzelley bestimmt sey. Ich wollte mich schon um dieses Arguments willen in meinen Verlust ergeben, und dachte, besser 100 Fläschgen Dinte, als 200 Bouteillen Estragonessig ohne Geld weggeben zu müssen. Da trat meine anwesende Nachbarin mit heroischem Anstand dem Commissair entgegen, und sagte gebieterisch: Bezahlen Sie die Dinte, oder unterstehen Sie sich nicht den Korb anrühren zu lassen. Der höfliche Franzose fragte, Madame wer sind Sie? Sie antwortete, als ob es die größte Ehre brächte: Ich bin die Maitresse jenes Generals, der hier gegenüber

wohnt, und eben jetzt zum Fenster hinaus siehet, und den ich sogleich herüberrufen werde, damit er Sie lehre, daß es dem großen Kaiser Schande macht, wenn seine Hofcommissaire in seinem Namen plündern, denn was er seinen Soldaten erlauben muß, wird der große Napoleon gewiß nicht für sich durch seine Hofcommissaire thun lassen. Der Commissair machte einen Bückling, zog den Beutel, legte 5 halbe 40 Frankenstücke auf den Tisch, befahl den Korb zu nehmen, machte ein höfliches Compliment, und ging davon. So war meine Scheere wirklich bezahlt, und die Dame sagte mit dem Anstand einer Königin ihre fernere Potection zu, u. gebot mir, in ähnlichen Fällen, nach ihren Beystand zu suchen, den ich aber Gottlob nicht bedurfte. In der dritten Woche nach Napoleons Einzug in Moskau, befahl er, daß 3000 Unteroffiziere von der ganzen Armee, nach Frankreich marschieren sollten, um die Cadres zu der Complettirung des Heeres zu bilden. Diese Gelegenheit benutzten die meisten Generäle, Offiziere etc. um ihre Kostbarkeiten, die sie in Rußland sich zugeeignet hatten, unter diesen — wie sie meynten — sichern Geleite nach Frankreich abzuschicken. Auch schlossen sich an diesem Zuge, Alle an, die mit der Armee aus dem Auslande bis Moskau, als Bediente, Marquetender, überhaupt alle die als freye Leute gekommen waren, nicht länger bleiben wollten, und wieder aus Rußland gehen konnten. Endlich auch entschlossen sich mehrere Franzosen, Italiener, und andere Ausländer, die viele Jahre in Rußland ansäßig waren, zur Mitreise, welche bey dieser Gelegenheit, ohne Pässe, über die russische Gränze zu kommen hofsten. So sammelten sich mehrere hundert Wagen aller Art zusammen, und der Zug war unübersehbar lang. Aber ihre Hoffnung ward schrecklich getäuscht; denn der ganze Zug fiel den Kosacken in die Hände, die unsägliche Reichthümer aller Art bey diesem Fange erbeuteten; besonders fanden sie viel Silberbarren, von eingeschmolzem Kirchengeräthe, welche die Kirchenräuber einschmelzen, und zum bequemern Transport in Barren verwandeln ließen; wobey sich viele Moskauer Einwohner bereichert, indem sie das feine Silber beym Schmelzen mit andern Metallen legiereten, so daß sie zwar, das Gewicht, aber nicht den Werth, der eingeschmolzenen Sachen ablieferten; ohne daß ihr Betrug nur geahnet ward; weil sie mit ihrem Munde sich als die eifrigsten Franzosenfreunde bezeugten. Von den Mitgereisten Einwohnern Moskaus kamen nachher mehrere in den allerkläglichsten Umständen, krank, nackend, und so elend zurück, daß die Meisten bald darauf starben. Besonders traf dieses traurige Loos französische Damen, mit denen die Kosaken nicht am gelistenten verfuhrten. Bey dieser Gelegenheit gewann ich eine milchende Kuh, die mir mehr Dienste leistete, wie 1000 Rubel Geld mir gebracht haben würden.

Diesen Gewinn machte ich auf folgende Weise: Gleich in den ersten Tagen, als noch keine allgemeine Plünderung erlaubt war, kam ein Kaufmann Namens Larmé zu mir — welcher gleichfalls Schutz von Offizieren genoß, die in seinem Hause wohneten — und fragte mich: Ob ich nicht mit ihm gemeinschaftlich zwey Kühe kaufen wollte, die jemand für 80 Rubel abgeben wollte, weil er bange ist, daß sie ihm mit Gewalt abgenommen würden. Die Kühe sollten nach seinem gemachten Plane geschlachtet werden, damit wir zu gleichen Hälften daß Fleisch theils frisch theils gesalzen genießen könnten. Ich gab ihm 40 Rubel u. rieth ihm, nicht beyde Kühe zugleich, sondern nur Eine vorerst zu schlachten, damit wir auch später, frisches Fleisch hätten. Dieses leuchtete ihm ein. Er bat mich aber, die noch lebende Kuh in mein Haus zu nehmen, weil es ihm nicht nur an Futter fehle, sondern auch niemand sey, der nach dem Thiere sehen könnte. Ich war es zufrieden. Noch in derselben Nacht, brachte er die Kuh, und den andern Tag einige Pud frisches Fleisch, womit ich sehr sparsam umging, aber dennoch bald fertig ward. Nun kam die Zeit der allgemeinen Plünderung, und ich wagte, — wie ich oben bemerkt hatte — ohne Beruf nicht auszugehen, und sah, und hörte nichts von Larmé; bis er eines Tages kam, und sich entschuldigte, daß er mir nicht so viel frisches Fleisch gebracht hatte, als mir von der Hälfte einer Kuh zukäme, weil seine Einquartierten, sich alles was vorhanden war, zugeeignet hatten; welches vermutlich auch mit der andern Kuh geschehen würde, wenn wir sie jetzt schlachteten. Deshalb stellte er mir es frey, ob ich die bey mir sich befindende Kuh, nicht lieber in meinem Hause schlachten lassen wollte, und ihm so viel frisches Fleisch, als ich von ihm erhalten hatte, zurückgeben, oder die Kuh am Leben lassen wollte? Mit dieser Kuh hatte sich aber mittlerweile etwas sehr günstiges ereignet. Als sie auf den Hof gebracht ward, sagte eine alte Frau „sie wolle versuchen ob die Kuh nicht noch milchend sey, da sie nicht lange gekalbt haben muß.“ Der Versuch gelang, obgleich sie nicht mehr als ein Bierglas voll Milch gab; die sich jedoch in der Folge, durch gute Wartung und Pflege vermehrte. Für mich ward dieses ein großer Fund, da mir unter allen möglichen Speisen und Getränken, aus langjähriger Gewohnheit, eine Tasse Caffee immer der liebste Genuß war; auf welchen ich aber jetzt verzichten mußte, weil ich Caffee ohne Milch nicht trinken mogte. Ich erhielt aber auch Gelegenheit, dem guten Commissair gefällig zu werden, der uns so viele Liebesdienste erwiesen hatte. Er wohnte — wie ich schon bemerket habe — gegen uns über, und da auch er fast nur von Caffee sich nährte, u. ebenso wie ich, nur mit Milch schmackhaft fand, so theilte ich redlich mit ihm, was die Kuh täglich an Milch gab. Der Kaufmann Larmé kam endlich von mir Abschied zu nehmen, da er gleichfalls mit obengenannten Transport über die Gränze

gehen wollte, und verzichtete bey dieser Gelegenheit auf seinen Anteil an der noch lebenden Kuh, in aller Form, welches mir um so lieber war, da ich einen so guten Gebrauch machen konnte von ihrem Leben. Bey diesem Larmé hatte ich fünf Kisten von meinen besten Waaren verborgen, welche alle verloren gingen. Dagegen brachte er kurz vor Ankunft der Franzosen mir drey Reiseapotheiken, um sie (da schon alles bey ihm vermauert war) irgendwo in meiner Wohnung unterzubringen, weil er sie nur eben von einem Kaufmanne, dem er sie in Commission gegeben hatte, zurück erhalten hatte, und nicht nach seinem Hause bringen wollte. Diese Reiseapotheiken blieben in meinem Hause unangerühret, und ich konnte sie ihm unversehrt zurückgeben, als er später wie alle Uebrigen die mit den Franzosen aus Moskau gingen, nackt, und ausgeplündert zurück kam. Jetzt kamen diese Apotheken dem Larmé sehr zustatten, er konnte sie sehr theuer verkaufen, da an Medicamenten ein großer Mangel war.

Hätte ich Alles was ich besaß, in meinem Hause behalten, und nicht an andern Orten verwahret, so würde ich nicht nur nichts verloren haben, ich hätte große Summen an meinen Waaren gewinnen müssen, da Alles ungeheuer theuer war, und nicht nur Offiziere, sondern gemeine Soldaten viel Geld hatten, welches sie nicht brauchen konnten, da es nichts zu kaufen gab. Unter dem Schutz unserer im Quartier stehenden Obristen, hätte ich frey handeln können, und sie hätten mir bey ihrer ausgebreiteten Bekanntschaft, und in der allgemeinen Achtung in welcher sie standen, Käufer genug zugeführt, da sie mich liebten. Es war aber ein großes Zeichen der göttlichen Gnade für mich Unwürdigen, daß ich alles was ich hatte, verlieren mußte; denn, nie hätte man es glauben können, daß ich nur der Fügung günstiger Umstände die Erhaltung meines Eigenthums zu verdanken hatte; es mußte vielmehr den kaum zu beseitigenden Verdacht gegen mich erregen, daß ich nur darum im November vorigen Jahres, Petersburg verlassen, und in Moskau ein neues Etablissement angeleget habe, weil ich — wie es leider so Viele gethan hatten — mit den Feinden des Vaterlandes im geheimen Einverständniß stand, und nur diesem Umstande, die Rettung meiner Person und Eigenthumes zugeschrieben werden konnte. Ich kann mit Wahrheit behaupten; daß mir der Verlust meiner Haabe, keine einzige Thräne, nicht einmal einen einzigen Seufzer ausgepreßt hat. Ich hielt mich vielmehr für überreich, wenn ich täglich Personen nackt, und nur in einer Bastmatte gehüllt, ohne Obdach und hungernd, umherirren sah, die früher Besitzer großer Häuser, und von bedeutendem Vermögen gewesen waren. Ich besaß zwar damals nicht mehr, als nur das, was ich der Mühe des Einpackens, und des Verbergens nicht werth hielt; ich glaubte aber, weil ich schon solche Erfahrungen gemacht hatte, daß die Allmacht Gottes nicht verkürzet

sey, und aus Wenigen viel machen kann. Es war schon ein unberechenbar großer Vortheil, meine Wohnung und die Einrichtung meines Magazins unversehret zu behalten, wodurch ich wieder früher, mit den Waaren, die mir mein Sohn wöchentlich aus Petersburg zuschickte, sogleich zu handeln anfangen konnte, wie nur der Feind aus Rußland vertrieben war, während andere Kaufleute — welche aus Moskau geflüchtet waren, wenn sie auch ihre Waaren nicht verloren hatten, aus Mangel eines Locales lange kein Magazin eröffnen konnten. Darum achte ich es für eine gnadenreiche — obwohl unverdiente — Fügung Gottes daß ich, jene falsche Nachricht im Augenblick erhielt, als ich eben Moskau verlassen wollte, später nicht mehr reisen konnte, und bleiben mußte; wodurch mein Glaube, durch die vielen erhaltenen Beweise der Rettung aus Gefahren, gestärket, mein Vertrauen, auf Gottes allmächtige Hülfe befestiget, meine Erfahrungen bereichert, und der Grund zu meinem nachherigen größern Wohlstande geleget worden ist. Wodurch denn es auch möglich ward, nach 8 Jahren in das Predigtamt zu treten, und bis zum heutigen Tage mit Gottes Hülfe, das Evangelium kostenfrey zu verkündigen, nehmlich ohne Besoldung, oder Vergütung, für verrichtete Amtshandlungen annehmen zu müssen, um leben zu können. Hätte ich, wie ich damals schon Reisefertig war, Moskau verlassen, so wäre ich entweder nie mehr dahin zurückgekehret, oder höchstens nur, um zu erfahren, daß meine zurückgelassene Waaren verloren gegangen sind; und hätte alsdann weder Lust, noch Mittel gehabt, ein zweytes Etablissement zu machen, da das Erste so übel ausgesfallen war.

Ich kehre von dieser Abschweifung zum Gange der damaligen Begebenheiten zurück. Um der Plünderung zu entgehen, kleidete sich jeder, so einfach und ärmlich als er nur konnte, und ich erinnere mich in der ganzen Zeit, nur einen Moskauer Einwohner ganz so wie früher in anständigen Civilkleidern, den Vladimir-Orden vierter Klasse, an der Brust tragend, frey umhergehen, gesehen zu haben; Wahrscheinlich muß er eine Sicherheitscharte gehabt haben, die ihn für Plünderung geschützt hat; welches ich daraus schließe, daß er nach der Rückkehr des Grafen Rostoptschin, sehr hart vom Grafen behandelt ward; obgleich er ein Wohlthäter und rettender Engel für viele hundert Personen gewesen ist, die ohne seiner Hülfe dachlos, und ohne Brod geblieben wären, wenn er ihnen nicht Beydes verschafft hätte. Er hieß — wenn ich mich nicht irre — Wischnewsky. Er suchte die Umherirrenden selbst auf, nahm Alle an, die zu ihm kamen, gab ihnen Wohnung und Speise in dem Stift, oder Krankenhause, oder Hospital, denn ich weiß nicht wie das lange, einstöckige Gebäude heißt, welches jenseits zur rechten Hand der rothen Pforte liegt, wenn man von der Mäßnitzkoi her durch dieselbe geht. — Mehr als dreyhundert Personen fanden dort

Schutz und Nahrung. Ein gleiches Asyl war im kaiserlichen Findelhause für viele Menschen. Auch mir leistete Herr von Wischnewsky einst einen nicht geringen Dienst. Eines Morgens, etwa nach 8 Uhr, ward ein junger kranker Mensch, nur mit einem weißen sehr feinem Hemde bekleidet, auf einem kurzen Schubkarren, den ein alter Diätschock führte, unter Begleitung von 3 bewaffneten Soldaten vor unserm Hause vorbeygeföhret. Mich dauerte sowohl der kranke junge feine Mann, als der Greis, der ihn fortschieben mußte, und höchst ermüdet schien. Etwa um 11 Uhr kam ich aus dem Schillingschen Hause, wohin ich alle Tage ging, und als ich aus der Queergasse in die Lubiänka treten wollte, kamen die Soldaten mit dem Kranken, und dem vor Schweiß triefende Greise, wie ich sie am Morgen gesehen hatte, von der Stadtseite einher. Die Soldaten schrien mich sehr hart an, und bevor ich noch recht verstehen konnte, was sie eigentlich wollten, hörete ich dicht hinter mir in deutscher Sprache: Sie suchen ein Hospital, zeigen Sie ihnen das nächste Haus, sonst müssen Sie den Karren mit dem Kranken fortschieben: Es war der obengenannte Herr von Wischnewsky, den ich nie gesprochen hatte, und auch nicht kannte, der aber eben dicht hinter mir, die Worte der Soldaten hörete, und mir diesen Rath gab. Sogleich wies ich auf das ganz in der Nähe stehende gräflich Rostoptschinsche Haus hin, und sagte: Hier ist ja ein Hospital, so gut Sie es nur finden können. Die Soldaten dankten, und ermunterten den Führer, durch Gebärden u. Worte — die er nicht verstand — noch die wenige Schritte zu thun, um seine Bürde los zu werden. Nicht nur meine eigne Selbsterhaltung, sondern die Erhaltung so vieler Menschen, die bey mir im Hause wohneten, gab mir diese Notlüge ein. Denn hätte ich den Karren auch aufnehmen wollen so hätte ich meine Wohnung und meine Einwohner wahrscheinlich nie mehr wieder gesehen. Unruhe, mancherley Angst, schlechte ungewohnte Nahrung, Mangel an Zeit zum Schlafen, und eine immerwährende Thätigkeit, hatten meinen Körper so geschwächet, daß ich den Schubkarren mit dem Kranken keine 50 Schritt hätte vorwärts bringen können, wozu gewiß auch nicht einmal die Kolbenstöße der begleitenden Soldaten, mich gestärket, wohl aber noch mehr unfähig gemacht haben würden. Sobald sich der Zug mit den Kranken wieder in Bewegung setzte, lief ich was ich vermochte, meine Wohnung auf der ganz nahe liegenden Schmiedebrücke zu erreichen, welches mir auch gelang. Ich würde meinem Retter auch nie den Namen nach kennen gelernt haben, wenn Herr von Wischnewsky, bei seiner Nachhausekunft, diesen Vorfall nicht dem Schauspieler Haltenhof erzählt hätte, der mir später sowohl dieses, wie auch den Namen des Hr. v. W, und das viele Gute, was er täglich für alle that, die in dem dortigen Hause wohneten, mittheilete. Noch spät am Abend kam der Kranke, den

ich schon zweymal an diesem Tage gesehen hatte, in derselben Begleitung vor meinem Fenstern, der Schmiedebrücke entlang vorüber.

Auch das Schillingsche Waarenlager ward endlich doch geplündert, so lange es auch verschonet blieb. Der Anblick war recht schmerzlich. Auf dem Hofe lag der rohe Caffee Fuß hoch auf der Erden ausgeschüttet. Die Kisten, in denen feine Tischweine gepackt waren, an der schmalen Seite geöffnet, strömte die köstliche Flüssigkeit auf den Hof; weil bey jeder Bouteille, die auf diese unbequeme Weise herausgerissen ward, immer mehrere Bouteilles zerbrochen werden mußten. Die Plünderer hielten sich meistens in dem untern Geschosse auf, so lange noch Wein vorräthig war. Die obern Stockwerke blieben unbewohnet, nur der Commiß Settelmayer, war allein von Schillings nachgeblieben; welcher eine gute Art hatte die Plünderer zu behandeln, und so lange der gute Wein nicht zu Ende ging, auch persönlich nicht mißhandelt ward. Ich fand ihn eines Tages aber dennoch fast ohnmächtig von erlittenen Schlägen, auf einem Kanapee liegend. Er klage mir seine Noth, verlor aber noch immer nicht den Muth, länger im Hause zu bleiben. Grade an diesem Tage — aber auch nur dieses eine mal — hatte ich im Schillingschen Hause zwei Abentheuer nach einander zu bestehen. Als ich an diesem Tage von Settelmayer weggehen wollte, taumelte ein halbetrunkener Soldat auf mich zu, und wollte mein Hemd, welches ich am Leibe trug, von mir haben. Glücklicherweise geschah dies in einem Zimmer, wo ein halb geöffneter Wäscheschrank stand, in welchem einige weiße Betttücher lagen. Ich öffnete den Schrank, schlug zwey Betttücher noch einmal zusammen, in der Quadratform, wie gewaschene Hemde gelegt zu werden pflegen; und sagte zu dem ungestürmen Foderer „Hier haben Sie ein halbes Dutzend, welche rein gewaschen, und besser sind, wie das schmutzige Hemd welches ich auf dem Leibe habe.“^[4] Es wäre mir sehr übel gegangen, wenn der Soldat den ihm dargebrachten Bündel, auseinander geschlagen hätte. Er that es aber Gottlob nicht, sondern eilte freundlich dankend davon. Kaum war ich diesen Soldaten los, als ein Anderer, — in demselben Zustande wie der frühere auf mich zukam, mich an der Brust packte, und mich fragte: Wo sein zweyter Handschuh sey, den er hier verloren habe? Dabey zeigte er mir den andern, den er noch in der Hand hatte. Ich bat ihn mir den Handschuh einen Augenblick zu erlauben, damit ich den verlorenen suchen könnte. Nicht ohne Mühe gab er mir den, und als ich sah, daß dieser Handschuh, ohngefähr, von der Farbe der meinigen war, die ich in der Tasche hatte, gab ich ihm nach einigen Augenblicken, meine beyden Handschuh, und ohne zu merken, daß die meinigen etwas mehr grünlich waren, nahm er sie, dankte, und eilte davon. Dieses war das erste, und auch das letzte mal, daß ich unmittelbar am Leibe angepaket worden war, obgleich ich oft,

durch ganze Haufen plündernder Soldaten, mitten hindurch ging, wenn ich plötzlich in eine Queerstraße auf sie stieß, und nicht mehr zurück, oder entfliehen konnte, ohne von ihnen eingeholet zu werden.

Nach siebzehn Tagen, ward endlich alle öffentliche Plünderung bey harter Strafe verboten; obwohl des Nachts, an abgelegenen Orten, und wo es nur heimlich geschehen konnte, die Plünderung so lange fortduerte, wie es noch Franzosen in der Stadt gab. Es ward eine Munizipalität eingerichtet wozu Ausländer gewählet wurden, welche französisch sprechen konnten. Eine dreyfarbige Schärpe um den Arm, machte die Beamten kenntlich, und jedes Quartal hatte seine eigene Aufseher, welche angewiesen waren, jedem beyzustehen der ihre Hülfe bedarf.

Ich danke Gott, daß keine Wahl auf mich fiel; denn absagen durfte niemand. Der Director dieser polizeylichen Anstalt war ein Professor der Moskauer Universität, namens Willers. Ich weiß nicht, ob er ein geborener Franzose oder Sachse war, aber das ist mir bekannt, daß er mit einer Dresdnerin verheyrathet war, welche nachher, bey Gelegenheit einer Anwesenheit des Hochseligen Kaisers Alexander in Dresden, die Befreyung ihres Mannes, und seine Rückkehr nach Deutschland, von dem Monarchen erflehet, und auch erwirket hatte. Ich habe Herrn Professor Willers nie gesehen und kann nicht wissen, ob er das Amt eines Polizeymeisters gern, oder nothgedrungen annahm; weil er doch einmal durch einen besondern Zufall, gleich im ersten Augenblick mit Napoleon bekannt ward, wie dieser in Moskau einzog. Napoleon war bis zur Moskauer Sastawa gelangt, wo er Halt machte, in der Meynung „Es werde ihm eine Deputation aus der Stadt entgegen kommen, die Schlüssel der Stadt überreichen, und um Schonung bitten etc [“] — wie es in andern Residenzen, und Städten zu seyn pflegte. Als aber von alle dem nichts geschah, und er vergeblich eine kleine Weile gewartet hatte; sandte er einen seiner Adjutanten in die Stadt, um sich nach der Ursache dieses sonderbaren Benehmens zu erkundigen, wobey er sich äusserte; ob denn die Einwohner nicht wüßten, daß von ihm, dem Sieger, das Schicksal der Stadt abhinge? Der Adjutant, ritt eine ziemliche Strecke in die Stadt hinein, fand die Straßen Menschenleer, und nur sehr wenige ganz gemeine u. arme Leute, die seine Fragen nicht beantworten konnten, weil er sie in französischer Sprache that. Endlich erblickte der Adjutant, in der Nähe des Universitätsgebäudes, den Professor Willers, den er anrief, und befragte. Von welchem er auch verstanden ward, und seine Fragen beantwortet erhielt. Willers sagte ihm, daß sowohl die Behörden, wie alle nur einigermaßen wohlhabende Leute Moskau verlassen hatten, und nur die Hefe des Volkes, und sehr wenige Ausländer in der Stadt zurückgeblieben sind. Der Adjutant nahm Willers mit sich, damit er dasselbe Napoleon selbst

sagen sollte. Auf dieser Weise ward er mit Napoleon bekannt, und die Wahl zum Polizeymeister war also schon in diesem Umstande begründet, auch wenn Willers nachher nie in den Kreml gegangen wäre.

Napoleon zog nach Anhörung dieser Aussage, mit getäuschter Erwartung ohne Sang und Klang gegen halb drey Uhr, am Montag, den zweiten September, des Nachmittags in Moskau ein, und begab sich gleich nach dem Kreml, wo er bis zum 13ten October, eben so still und geräuschlos lebte, wie er gekommen war. Erst später fing er an sich zu amusieren. Aber womit? Es wurden französische Comödien zu seiner Unterhaltung von Diletanten im Kreml aufgeführt, welche von einigen nachgebliebenen Modehändlerinnen, Aufsehern bey Kindern — die sämtlich nie Schauspieler waren — gespielt; und sollte man es glauben, Napoleon — der doch das schönste und glänzendste gesehen hatte, was die Bühne leisten konnte, fand, oder schien doch an diesen jämmerlichen Vorstellungen Geschmack zu finden, und soll mit der größten Aufmerksamkeit Stundenlang zugehört haben, als ob er sich wirklich daran ergötzte. Dieses haben mehrere Augenzeugen versichert. Eben so schlecht war sein Tisch so lange bestellt, bis russische Bauern aus der Umgegend anfingen Indianische Hühner, Gänse, Butter etc. nach der Stadt zu bringen — wiewohl nur in sehr geringer Quantität. Schon an der Sastawa ward ihnen ihr Vorrath sehr theuer von Aufkäufern für die kaiserliche Küche, abgenommen und mit enormen Preisen bezahlt. Dieses brachte den Obrist Flahau auf den Gedanken; einen Contorschick Demidows, der in unserem Hause war, mit einigen 100 Franques, auf die nächsten Demidowschen Güter zu schicken, um dafür Victualien zu kaufen. Der Contorschick war auch willig dazu, hatte das Geld schon erhalten, und der Obrist ließ mich nur rufen um den Menschen genau zu bedeuten, was er vorzüglich bringen sollte. Ich erschrack über die Gefahr, welche für mich bey ertheilung dieser Instruction entstehen könnte, wenn es heissen würde: daß ich die Leute auf die Demidowschen Güter geschicket habe, um den Feinden des Vaterlandes, Nahrungsmittel zu bringen. Ich zwang mich zu einem Lächeln, und sagte dem Obristen in deutscher Sprache: Das wäre schön! Wie würde dieser russische Schreiber lachen, wenn er mit ihre 200 Fr. in seinem Dorfe angelaget ist, und mit Recht über Sie spotten, daß Sie ihm das Geld anvertrauet haben, da er ja in seinem Dorfe sicher ist, von Ihnen weder gesuchet, noch für sein Ausbleiben bestrafet zu werden. Der Obrist lachte laut, sagte „Da hätte ich bald einen recht albernen Streich begangen, welchen ich mir nie vergeben könnte, daß ich auf diese Weise mein Geld verloren hätte.“ Er dankte mir daß ich ihn gewarnet, nahm den Contorschik das Geld wieder ab, und die Sache unterblieb zu meiner großen Zufriedenheit.

Als nun die öffentliche Plünderung aufgehört hatte, und die obengenannte Polizey eingerichtet war, kamen sehr viele Bauern aus der Umgegend nach der Stadt, aber nicht um Lebensmittel zu bringen, sondern Kupfergeld, in Säcken zu 25 Rubel, u. Salz in Tschetwerten zu kaufen, und sowohl in den abgebrannten Buden, als Häusern nach allem zu suchen, was sie auf ihren Telegen fortbringen konnten. Ein Sack Kupfergeld von 25 Rubel (dessen sehr vieles in den Kellern des Kremls lag) kostete, eben so wie ein Tschetwert Salz — (von dem gleichfalls große Vorräthe vorhanden waren) 4 Rubel oder einen Silberrubel. Eben so konnte man ganze Paquete alte Banknoten für einige Silberrubel kaufen. Täglich mehrten sich die Käufer, in dem Maaße, als Bauern mit ihren Ladungen von Kupfergeld und Salz in ihre Dörfer unversehrt, aus Moskau zurückkamen.

Die Lage der Franzosen war warlich nichts weniger als beneidenswerth. Die Lebensmittel mangelten, weder Tuch, Leder, Leinen etc war zu haben. Kleider und Schuhe waren abgerissen, die Kiwer und das Riemenzeug der Cavalleristen unbrauchbar geworden. Nur unter der stärksten Bedeckung konnte man fouragiren, weil kleine Escorten, in den Dörfern, oder auf den Feldern von den Bauern überfallen, und völlig aufgerieben wurden. Der Obrist Couteill kam einmal von einer solchen Expedition in der Nacht, und ohne Hut zurück. Er versicherte; nur seinem braven englischen Pferde habe er die Rettung seines Lebens zu danken. Es überstieg seine Begriffe, und als wahrer Krieger konnte er nicht Worte finden, die Tapferkeit der russischen Bauern zu loben, welche die ganze französische Mannschaft aufgerieben, die zum Fouragiren ausgezogen, und welche der Obrist aus freyem Antrieb begleitet hatte. Auf allen Feldzügen mit Napoleon, und sogar in Aegypten habe er nie so etwas gesehen. Das zum Fouragiren ausgesandte Commando war nehmlich in ein großes Dorf in der Nähe von Moskau gekommen, welches anscheinend von den Einwohnern verlassen war. Als aber die Franzosen bis zur Mitte des Dorfes vorrückten, strömten von beyden entgegengesetzten Eingängen des Dorfes, plötzlich, als ob sie der Erde entstiegen, eine unzählbare Menge bewaffneter Bauern herbei. Der kommandirende französische Offizier, ließ sogleich seine Leute nach beyden Seiten zugleich Feuer geben, und ununterbrochen mit Lebhaftigkeit unterhalten. Die Bauern ließen sich aber nicht entmuthigen, drangen über ihre gefallene Brüder hin — deren nicht wenige waren, da die Schüsse in ihre gedrängte Haufen fielen, und jeder seinen Mann traf — fielen dann mit Spießen, Stangen, Sensen, und auch kriegerische Waffen, über die von beyden Seiten in die Mitte gerathenen Franzosen her, von denen niemand, außer den Obristen Couteill entkam, welcher, als er den Muth der Bauern sah, seitwärts in einen offenen Hof sprengte, und dort über einen Zaun

setzte, (wobey er seinen Hut verlor) und so das freye Feld erreichte, um glücklich nach Moskau zu entkommen. In der Stadt selbst, und besonders in entlegenen Fabriken und Häusern, wurden eine unglaubliche Menge französischer Soldaten von den nachgebliebenen Fabrikarbeitern und Einwohnern erschlagen. Sogar im Demidowschen Hause, welches doch immerwährend von den Feinden zahlreich besetzt war, fand man nachher im Abtritte des internen Hofes, einen schon in Verwesung übergegangenen französischen Soldaten in voller Uniform. Geschah dieses in der Mitte der Stadt; so kann man sich leicht denken, wie leicht es in abgelegenen Gegenden möglich war, wo die schlafenden Soldaten in der Nacht überfallen, und meistens mit dem Tapor — Handbeile — erschlagen wurden, wie man an den gespaltenen Köpfen der Leichen sehen konnte, die später aus der Stadt gebracht, u. auf Verordnung der russischen Polizey Haufenweise verbrannt wurden, um die Stadt von dem verpesteten Gestank zu reinigen. Die in Moskau zurück gebliebenen Einwohner hatten sich allmählig, an diesen übeln Geruch, von crepirten Pferden, Hunden, verwesenden Menschen, und von den verbrann-ten empirevmathischen Dingen gewöhnet; aber als ich im November des-selben Jahres aus Petersburg nach Moskau zurückkehrte, spürete ich dieses ekelhaften Geruch schon viele Werste von Moskau, welcher immer stärker ward, je näher ich der Stadt, und in die Stadt kam.

Allmählig kamen einzelne Haufen bewafneter Kosaken in die Stadt, plänkelten mit den Chasseurs in entlegenen Straßen, die mit ihren ausge-hungerten Pferden, sie nicht verfolgen, und einholen konnten. Die Kosaken wurden immer dreister, wagten sich tiefer in die Stadt hinein, griffen sogar einzelne Wachposten an, und wenn die Schildwache die Mannschaft her-aus rief, sprengten die Kosaken auseinander, bevor die Soldaten noch zum Schusse kommen konnten. So kamen sie einst bis zum Marienhospitale, u. verwundeten den französischen Offizier und einige Soldaten, die sorglos vor der Wachtstube standen; hielten auch noch Stand, als die nicht zahlrei-che Mannschaft auf sie zu schießen anfing, und zogen erst dann ab, als von mehreren angränzenden Wachposten, Succurs herbey eilte. Bey dieser Gelegenheit ward ein Bekannter von mir, der Hospital-Arzt Wette schwer im Schenkel, und zwar von den Franzosen verwundet. Wette eilte, als er schießen hörte, aus seiner Wohnung, die am andern [sic] des Hospitals, der Wachtstube gegenüber lag, auf den Hof hinaus, um den Grund dieses Schies-sens zu erfahren. Unglücklicherweise für ihn, hatte der Kosak, welcher den französischen Offizier verwundete, eine gelbe Genille an; und da Wette in einer eben solchen an der Thüre erschien, glaubten die französischen Sol-daten in ihm den Kosaken zu erkennen, der ihren Offizier verwundet hatte, und Mehrere feuerten ihre Gewehre auf Wette zugleich ab, welcher aber nur

im Schenkel getroffen ward, und zur Erde sank. Er ließ mich zu sich bitten, und ich hatte dadurch wieder einen neuen Pflichtgang; auf welchen mich Gottes Gnade gleichfalls schützte, obgleich das Hospital sehr weit von der Schmiedebrücke lag, und ich durch öde Gegenden ging, wo ich oft Werste weit keine lebendige Seele fand, und höchstens nur Soldatenhaufen, die mich mit durchbohrenden Blicken ansahen, aber doch keine Hand an mich legten, so daß ich Gottlob jedesmal unversehret, hin und nach Hause kam. Plötzlich erscholl der Ruf: Wir haben Friede: Der Jubel war allgemein. Alles umarmte sich, als wäre es Ostermorgen. Statt des gewöhnlichen bon jours, begrüßten und küssten sich Bekannte und Unbekannte mit den Worten: Wir haben Friede. Alte Guardisten drückten fremden Vorübergehenden, ihre großen Bärte ins Gesicht, und küßten auch russische Bauern, mit dem Friedensgruß — die aber durch solche Umarmungen mehr Angst als Freude empfanden, weshalb ihr Benehmen oft sehr lächerlich anzusehen war. Die Franzosen hatten den Aufenthalt in dem abgebrannten Moskau herzlich satt, und sehnten sich herzlich aus dieser Wüste, nach den Fleischköpfen Aegyptens zurück; und daher die allgemeine Freude.

So wie mir die Adjutanten Berthiers erzählten, sollte Napoleon bey seinem Zuge nach Rußland folgende Pläne gehabt haben. — Relate reffero — denn verbürgen mag ich freylich die mir mitgetheilten Nachrichten nicht, die aber gleichwohl wahres enthalten können, da Berthier das ganze Vertrauen Napoleons genoß, so wie seine Adjutanten das seinige besaßen. — Also, Erstens, soll Napoleon an den Hochseligen Kaiser Alexander eigenhändig geschrieben haben: Der Kaiser soll zu ihm — Napoleon herüber kommen, er wolle ihn dann nach Rußland mit seiner Armee begleiten, um ihn nicht nur dem Namen nach, sondern zum wirklichen Selbstherrschер aller Reussen zu machen, und ihn von der Tyranny des Senates und der Synode befreien, die dem Kaiser nur den Namen, aber nicht die Macht eines Selbstherrschers liessen. Als dieser Plan Napoleons fehlschlug, wie er es denn mußte, weil Napoleon, weder den Kaiser, noch Rußland kannte, und von seinen Geschäftsführern ganz irre geführet war; entwarf er, zweytens, den Plan, den Adel aufzuwiegeln, um Rußland eine Constitution, mit Parlament und Kammern zu geben; und als auch dieser Plan an der Treue des russischen Adels für ihr angestammtes Kaiserhaus scheiterte, wollte er, drittens, die Volksmasse zur Empörung reitzen, und — wie er es nannte — frey machen. Als er aber, den Geist Rußlands, in Moskau besser kennen lernte, und seine grobe Täuschungen erkannte, sandte er einen seiner vertrautesten Generäle — ich glaube Lauriston, wenn ich mich nicht irre — zu dem Feldmarechall Kutusow, mit folgenden Friedensvorschlägen: Erstens, foderte er eine Contribution, deren Größe aber die Obristen nicht

anzugeben wußten. 2^{ten} Sollte ihm eine freye Militairstraße durch Rußland nach Persien gestattet werden, um von da aus nach Indien zu ziehen, um den Engländern von der Landseite beyzukommen, und 3^{ten} „Unbedingte Anerkennung von russischer Seite, für den König von Pohlen den Napoleon erst noch ernennen werde[“].

Der Feldmarechal Kutusow, soll — nach dem Berichte meiner Referenten — Thränen der tiefsten Rührung über diese gelinden, und großmüthigen Friedensbedingungen geweinet, da, Napoleon der Sieger, mehr, ja alles hätte fodern können, und gesagt haben: „Ich hielt bis hieher den Kaiser Napoleon für den größten Feldherrn, nun aber, verehre, und bewundere in ihm den großmüthigsten, und edelesten Menschen.[“] Darum zweifle er auch keinen Augenblick, daß der Kaiser Alexander gewiß mit der größten Bereitwilligkeit zu einem Frieden, unter solchen gelinden Bedingungen geneigt seyn werde, sobald er nur Kunde von Napoleons Großmuth erhalten werde. Von französischer Seite zweifelte niemand, daß dem wirklich so sey, nach dem Sprüchworte: Was man wünschet, glaubet man leicht; und daher entstand die allgemeine Freude, als wäre der Friede wirklich bereits geschlossen. Was der Kaiser Alexander und der Feldmarechall Kutusow, über den Frieden überhaupt dachten, bewies kurz darauf die Schlacht, in welcher Murat, (der König von Neapel) total geschlagen ward. Soviel kann ich mit Wahrheit behaupten, daß ich Murats Verlust drey Tage früher, als Napoleon erfuhr. Niemand wagte, ihm diese Hiobspost beyzubringen, da er von Stunde zu Stunde der Antwort über die Einwilligung des Kaisers Alexander auf seine Vorschläge entgegen sah. Da aber die gewünschte Antwort ausblieb, u. Napoleon endlich doch die Niederlage Murats erfuhr, dachte er auf seinen Abzug aus Moskau, und täglich marschirten Truppen aus. Napoleon aber blieb noch, und ließ sich jeden Abend von Stümpfern durch Comödien amüsiren. Endlich traf die Reihe des Abmarsches auch die junge Garde, von welcher auf der Männitzkoi im Hause der Fürstin Galizin ein Bataillon stand. Bey dessen Abzug stand der Marechall Neu mit seinem Staabe, an einer kleinen Pforte, durch welche die Soldaten einzel hinausgehen mußten, und nicht mehr mitnehmen durften, als jeder in seinem Tornister hatte, denn sie waren alle bis hoch an den Kopf mit geraubten Sachen bepackt, die sie aber auf den Hof hinwerfen mußten, weil sie vermutlich einen Eilmarsch zu machen beordert waren. Kaum waren die Soldaten abgezogen, so drang das zahlreich vor dem Hause versammelte Volk, meist Bauern, in den Hof, und eignete sich die da liegende Sachen, und alles was sie im Hause fanden zum Eigenthum zu, welches sie theils auf ihre Telegen, theils auf den Rücken fortbrachten. So erging es nach dem Abzuge der Franzosen den meisten Häusern, die nicht verbrannt, und von französischen Offizieren

bewohnt waren; wobey es nicht ohne Blutvergießen zging, da die Bauern ihre Tapore — Handbeile — im Gürtel trugen, und theils unter sich selbst uneinig waren, theils denen übel lohnneten, die ihnen Einhalt thun wollten.

Im Kreml ward die letzte Zeit niemand ohne Karte eingelassen. Die Schildwachen umherstanden mit geladenem Gewehre, und wer ihren Zuruf in französischer Sprache nicht verstand, ward sogleich niedergeschossen, wobey viele Bauern ihr Leben verloren, die wie früher in den Kreml gehen, oder fahren wollten, um Kupfergeld zu kaufen. Endlich merkten die Bauern dennoch, daß sie nicht in den Kreml hinein durften; aber sie fanden durch die äußere Mauer, den Eingang zu dem Orte wo das Kupfergeld lag. Diese brachen sie durch, ohne von den Franzosen daran gehindert zu werden. Nun vermogte jeder zu nehmen, so viel er wollte, oder besser gesagt so viel er konnte, weil sie sich untereinander wie die Fliegen todtschlügen; denn wenn einer durch das Loch in der Mauer heraus kam, wollten ihm andre seine Beute entreißen, welches oft einen Kampf bis aufs Blut gab, und nur der Ueberlebende behielt das Geld. Im Demidowschen Hinterhofe, lagen die Kupfersäcke und Salzkuhle hoch aufgestapelt.

Im Innern des Kremels ward die Explosion vorbereitet. Man hörte weithin das Schallen der Aexte, die das Holz zerhieben, um die Keller mit Brennstoff anzufüllen; obgleich damals niemand den eigentlichen Grund wußte, warum so viele Zimmerleute im Kreml beschäftigt waren.

Die Kosaken kamen öfter, und immer in größerer Anzahl nach der Stadt, und kein Tag verging, ohne mehrere Scharmützel in den Straßen, welches gleichfalls Napoleon verschwiegen wurde, bis am 13^{ten} Oktober, während N zu Tische saß, ein solches Gefecht auf der Twerskoy vorfiel, in welchem die Kosaken, bis zum Hause des Generalgouverneurs vordrangen, nahe wo die große Hauptwache stand. Auf N^e befragten: Was das Schießen bedeute? antwortete einer seiner Adjutanten: Es sind Kosaken, die sich mit unsren Chasseurs auf der Twerskoy herum schießen: In der ersten Aufwallung sagte N: „Sie sind betrunken; die Kosaken spuken in Ihrem Kopfe. Wo sollen hier in Moskau Kosaken herkommen?“] Man sieht daraus, wie übel er berichtet war. Der Adjutant sagte: Ueberzeugen Sie sich selbst. Das will ich, antwortete N. Befahl seinen Schimmel vorzuführen, ritt nach der Twerskoy und als er schon aus der Ferne sah, daß dem so sey, eilte er zurück nach dem Kreml, und in weniger als einer Stunde hatte er Moskau verlassen. Ich erfuhr dieses durch die Obristen (welche täglich an seiner Tafel speiseten) gleich nach ihrer Zuhausekunft, wo sie gleichfalls Befehl zum Einpacken gaben. Am andern Morgen zogen auch sie ab, waren jedoch der Meynung, bald wieder zu kommen; und falls dieses nicht geschehen sollte, schenkten sie mir — wie ich oben berichtet habe — alles was sie zurückließen; ich aber treulich der

Polizey-Behörde nachher überlieferte. Es lag auch warlich kein Segen auf dem geraubten Guthe. Ich kannte mehrere Personen, die theils selbst mit den Soldaten plündern gingen, theils geplünderte Sachen kauften, und sich dadurch ein bedeutendes Vermögen zusammen geraffet hatten; es ist aber keinem gediehen, der Fluch lag darauf, und in wenigen Jahren, hatten sie noch weniger, als sie vor der Ankunft der Feinde im Vermögen besaßen.

Von der bevorstehenden Explosion des Kremls, sagten unsre Einwohner kein Wort, so offenherzig sie sonst in vielen andern Dingen gegen uns waren, nehmlich gegen Hr Czermack und mich. Sie erzählten gewöhnlich, nach ihrer Nachhausekunft von der Tafel, alles was bey Tische gesprochen ward, und da sie viel Besuch von den vornehmsten Generälen bekamen, sprachen sie, auch wenn einer von uns gegenwärtig war, so unbefangen, als ob sie für uns keine Geheimnisse hätten. Besonders war es aber der Kammerdiener des Obristen Flahau, ein alter Holländer, der mir alles mittheilete was er erfuhr. Er hassete Napoleon grimmig, und konnte seiner ohne Flüche nicht gedenken; worüber er von seinem Herrn viel Verweise erhielt, ohne sich irre machen zu lassen; da er den Obristen und seine Mutter zur Zeit der Schreckensregierung in Frankreich verborgen, und ernähret hatte, nachdem der Vater — welcher damals holländischer Gesandter in Paris war — guillotiniret worden. Er liebte den Obristen mehr als einen Sohn, und betrug sich wie ein alter Freund, als wie ein Diener. Der alte Mann besaß auch so viel Klugheit, seiner Zunge nur in Gegenwart seines Herrn freyen Lauf zu lassen; und als ich ihm einst sagte, daß ich in Holland gewesen war, diese Nation sehr achte, und viele edle Wohlthäter dort gefunden hatte, sah er mich für einen lieben Landsmann an, und wie alte Leute gewöhnlich thun, plauderte er gern mit mir, theilte mir alles Gehörte mit, und ließ seine Galle über Napoleon in meiner Gegenwart freyen Lauf. Als er Murats Niederlage erfuhr, kam er mit freudefunkelnden Augen zu mir, und sagte: Kommen Sie geschwind auf mein Zimmer, wir wollen eine Flasche guten alten Rheinwein leeren — an welchen es seinen Herrn nicht fehlte, den er aber nicht gern trank. — Als ich nun kam, stieß er mit mir an, und sprach: Auf den Untergang Napoleons! Ich erschrak, denn in solchen Zeiten haben — nach dem Sprüchworte — auch die Wände Ohren. Er fuhr aber fort: Wir sind ganz sicher. Nun erzählte er mir Murats Niederlage, und sagte: Dies ist nur der Anfang, es wird schon noch ärger kommen. Auch mich verführte meine Unbesonnenheit einst zu einer Aeusserung, die mir bey andern Zuhörern theuer zu stehen kommen konnte; ich ward aber vom Obrist Flahau freundschaftlich gewarnt, solcher Bemerkungen mich in Zukunft zu enthalten. Ich sagte nehmlich in Gesellschaft unserer Einwohner einmal im Laufe eines allgemeinen Gesprächs. „Ich habe die französische Armee

in Holland unter Dumorieux als Kinder gesehen — wie sie damals nur aus abgelebte Greise, vielen frechen Weibern, die in Reihe und Glied fochten, und unbärtigen Jungs gesehen, die kaum die Kinderschuh ausgezogen hatten, eigentlich barfuß, und ohne ganze Hosen gingen. — Am Rheine 1795 als Jünglinge. In Moskau als Männer — denn man konnte keine schöneren Armee sehen, wie die 80000 Mann Garden, die in Moskau einzogen, von denen jeder alte Gardist ein Model zu einem Jupiter, oder Hercules, und jeder junge Gardist, zu einem Ganymed abgeben konnte. Nun habe ich nur noch zu erwarten, diese Männer, auch noch als Greise zu sehen["]; wie ich sie denn in denen zurückgebrachten Gefangenen wirklich später gesehen habe, und viele Andre haben sie als sterbende Greise am Niemen erblicket. Napoleon würde mir diese Prophezeiung gewiß nicht verziehen haben, wenn sie ihm zu Ohren gekommen wäre. Unsere Obristen lachten, und machten einen Scherz daraus; nur Flahau warnte mich freundlich, mich solcher Bemerkungen zu enthalten.

Donnerstag, den 13^{ten} October mit Tages-Anbruch zogen unsere Obristen ab, welche schon am vorhergehenden Abend Abschied von uns genommen hatten. Der Obrist Couteill hatte noch seinen Bedienten befohlen, mir 14 Bouteillen Rothwein, die er von mir genommen hatte, jede zu 5 Franken, zu bezahlen. Ich weigerte mich dieses Geld anzunehmen, weil uns der Obrist so viel Gutes erwiesen, und in den Nächten der allgemeinen Plünderung, sowohl seinen Schlaf geopfert, als mehreremal in persönliche Gefahr gerathen war. Der brave Leonhard ward aber recht böse, fragte: Ob ich seinem Herrn etwas schenken wollte, oder ihm zumuthete, die Befehle seines Herrn unerfüllt zu lassen? Ich mußte das Geld nehmen, und nun nahm er recht freundlich Abschied. Auch des Obristen Bongards Diener, war ein guter, stiller Mensch, und dienete uns, als ob wir Verwandte seines Herrn wären. Nur Noail hatte einen bösen Buben — leider einen Deutschen aus Berlin. Sein Herr liebte ihn wie seinen Sohn, war blind für seine Lüderlichkeiten, und böse Streiche, und hatte eine, mehr als menschliche Geduld mit ihm. Stundenlang ließ dieser Mensch seinen Herrn auf ein Glas Wasser, oder auf seinen Thee warten, und hätte ich ihn nicht in einer Krankheit — die ihn befallen hatte, gepflegt, er hätte verschmachten müssen. Wenn der Herr ihn aus dem Zimmer schickte, eilte Fritz sogleich zum Kartentisch, und ließ den Herrn allein, und Hülflos liegen. Der Bösewicht sagte mir einmal: Mein Herr läßt sich darauf todtschlagen, daß ihn niemand so sehr, wie ich liebe; weil ich in allen Schlachten, nahe, oder so dicht bey ihm bin, als ich nur kommen kann. Ich thue es aber nur, um es sogleich zu wissen, wenn er erschossen, oder gefangen genommen wird, und schnell zur Bagage eilen kann, mir sein Geld und Kostbarkeiten zuzueignen. Gleich

nach dem Abzuge unserer Einquartierung, kam jener Gensdarmes zu mir, den ich am Dienstage, den 3^{ten} September die verschimmelten Bohnen gegeben hatte, und bat mich, Moskau noch an demselben Tage zu verlassen; ohne mir jedoch einen Grund seiner sehr dringenden Bitten anzugeben. Ich stellte ihm die Unmöglichkeit vor, Herrn Czermack mit seinen Kindern zu verlassen, wenn auch ich aus Moskau gehen wollte, um so weniger aber, da ich keinen Grund für diese Flucht kenne; und er verließ mich sehr bekümmert. Gegen eilf Uhr kam er zum 2^{ten} mal wieder, und sagte mir, er habe mit seinem Offizier gesprochen, und dieser, böte Hr. Czermacks Frau Kindern [sic] Platz auf einen großen Packwagen an. Er drang sehr in mich, sein wohlgemeintes Anerbieten anzunehmen, und war sehr betrübt, fast trostlos, als ich bey meiner Weigerung beharrete. Endlich kam er nach 3 Uhr Nachmittags zum drittenmal wieder, erneuerte seine Bitten auf das Allerdringendste; und als er mir keinen Grund angeben konnte, oder wollte: Warum ich Moskau verlassen sollte, und ich deshalb bey meinem Vorsatze blieb, gab er mir zwei Bouteillen Rothwein, und bat mich, sie beyde um halb eilf Uhr vor Mitternacht, bis zum letzten Tropfen auszutrinken. Ich bemühte mich vergeblich, ihn begreiflich zu machen, daß ich von einer halben Flasche betrunk seyn würde. „Das will ich eben[“], sagte er und nahm aufs Gerührteste Abschied von mir. Ich sann noch über das unbegreifliche Betragen, dieses sichtbar mit mir gut meynenden Menschen nach; als mein gegenüber unserm Hause wohnender Nachbar, der Modehändler Armand, voll Verzweiflung zu mir kam, u. mir sagte: daß diese Nacht um eilf Uhr, ganz Moskau in die Luft gesprengt werden sollte. Dieses hielt ich für unmöglich, und suchte ihn zu trösten, wodurch er aber noch vezweiflungsvoller ward, und mich verließ. Jetzt konnte ich mir nun das Benehmen dieses guten Gensdarmes erklären, der vermutlich etwas Aehnliches gehört haben mochte, und darum so in mich drang, Moskau zu verlassen; und mindestens wollte, daß ich bewustlos — nehmlich, betrunken aus der Welt ginge. Am Abend versammelte ich wie gewöhnlich, alle meine Hausinwohner zum Gebet, und nach 10 Uhr begab sich alles zur Ruhe. Ich kleidete mich jedoch nicht aus; weil an den Gesprächen doch etwas Wahres seyn konnte; und legte mich im Oberrock und die Stiefeln an den Füßen, oben über die Decke aufs Bette, konnte aber natürlich nicht sogleich einschlafen. Genau als meine Stubenuhr — welche mit der Uhr im Kreml egal ging — eilf schlug, geschah die erste Explosion. Ich hatte schon etwas ähnliches, obwohl in viel verminderter Grade in Mainz gehört, als im Jahre 1795, das dortige Kriegslaboratorium in die Luft flog. Unser ganzes Haus zitterte, die Fenster klirrten, die Luft sausete wie im heftigsten Sturme, und die Schläge glichen dem stärksten Donner. Ich befahl meine Seele Gott,

jeden Augenblick den Einsturz des Hauses, und meinen Tod erwartend. Als es aber nach einigen Minuten wieder stille ward, sprang ich auf, und eilte ins Nebenzimmer, wo ich Hr. Czermack, über seine Frau und Kinder in gebückter Stellung mit ausgebreiteten Armen, gleichsam schützend, seiner ganzen Länge nach übergebogen erblickte: Geschwind hinaus in den geräumigen Hof, ehe uns das einstürzende Haus zerschmettert, rief ich. Wir flohen auf den Hof, wo wir bereits unsere Einwohner, unversehrt fanden. Da aber alles ruhig blieb, versammelte ich Alle in einer niedern steinernen Küche, wo wir auf die Knien sanken, und Gott für unsere Rettung dankten. Mittlerweile hatten Demidows eigne Bauern die Ambaren erbrochen — die doch die Franzosen verschonet hatten — und als ich aus der Küche wieder in den Hof kam, sah ich die Bauern ihres eignen Herrn Sachen plündern. Ich stellte ihnen ihr Unrecht, und die sie treffende Strafe, so lebhaft als möglich vor. Nun beschlossen sie, mich zu ermorden, um keinen Zeugen, ihrer That zu haben. Sogleich umringten mich mehr als 30 Bauern, und schnürten mich so dicht ein, daß ich meine Hände herabhängend, so fest am Leibe halten mußte, als wenn sie angebunden wären. Herr Czermack wollte sich zu mir drängen; aber ich rief ihm zu „Setzen Sie Ihr Leben nicht muthwillig in Gefahr, vielleicht werden Sie und die Ihrigen verschonet, wenn Sie sich nicht vergeblich in Gefahr setzen, da Sie mir doch nicht helfen können. Gott aber kann mich retten, wenn es Sein Wille ist.“ Es scheinet unglaublich daß die aufgebrachten Bauern sich während unserm Gespräche so ruhig verhielten; aber Gott hatte ihren Arm gelähmt[.] „Nun so will ich Sie doch nicht sterben sehn“ sagte Hr. Czermack und verbarg sein Gesicht, am Busen seiner Frau. Jetzt erwartete ich den Todesstreich, oder vielmehr viele Streiche, denn die Bauern waren zum Theil bewaffnet; da erfolgte die zweyte Explosion. Meine mich umringenden Bauern, sprengten auseinander. Ich rief ihnen zu: Geschwind, tödtet mich, so sterbe ich, ehe der dritte, und allerstärkste Schlag kommt, der ganz Moskau in die Luft sprengen, und keinen Stein lauf den andern lassen wird. Ihr Mörder, werdet dann einen qualvollern Tod sterben müssen, als ich jetzt von eurer Hand für meinen redlichen Rath den ich euch gab, sterben werde. Dann kommt ihr ewig in die Hölle als Räuber und Mörder, und ich in den Himmel, weil ich mich der Plünderung der Güter eures Herrn, wie ein rechtschaffener Mensch widersetzt habe. Ich muß mich noch jetzt wundern, daß ich alle diese Worte so gut in russischer Sprache vorbringen konnte, daß der Sinn von den Bauern vollkommen verstanden ward. Nun kamen die Bauern wieder näher, aber in demüthiger bittender Stellung, und einige warfen sich gar vor mir auf die Knien: die Wortführer hoben die Hände bittend auf und sagten: Väterchen Iwan Iwanitsch. Du Engel, du Weiser, (und dergleichen

Worte mehr) Rathe uns, was sollen wir thun, um unser Leben zu retten, und einem so fürchterlichen Tode zu entgehen? Ich antwortete ihnen: Wenn ich wie Ihr eine Telege — Bauerwagen — hätte, ich bliebe keinen Augenblick in der Stadt, um von Kugeln, und einstürzenden Häusern zerschmettert, oder lebendig begraben zu werden; denn es wird wohl noch eine halbe Stunde dauern, bis der dritte, stärkste, und letzte Schlag kommt. Kaum hatte ich dieses gesagt, als die Bauern auf den 2^{ten} Hof liefen, sich auf ihre Wagen warfen, und zur Hofpfoste hinausfuhren; die ich denn sogleich hinter ihnen schließen, und gut verrammeln ließ. Ich dankte Gott für meine Lebensrettung, und blieb auf dem Hofe, bis noch drey Explosionen — aber viel schwächer, wie die beyden ersten Schläge erfolgten, weil sie auf der andern Seite des Kremls geschahen.

Nach Napoleons Absicht, sollte der ganze Kreml mit einem Schlage in die Luft fliegen, und dann wäre der Schade, auch für die noch verschont gebliebenen Gebäude und Menschen unsäglich groß gewesen. Der ganze Kreml war wirklich unterminirt und brennende Lunten an verschiedenen Orten angebracht. Aber Gott hatte es anders beschlossen. Seit den letzten Tagen Septembers war kein Tropfen Regen gefallen; aber grade am 13^{ten} Oktober, den Tag des Auszuges der Franzosen, fing es so heftig, Wolkenbruchähnlich, mehrere Stunden anhaltend, zu regnen an. Das herabstürzende Wasser ergoß sich im Kreml in die Keller, und vernichtete die Communication der innere Vorbereitung zur allgemeinen Explosion so, daß jede gelegte Lunte, nur einen Theil zerstören, aber nicht aufs Ganze wirken konnte. Auch sollen mehr wie 100, gefüllte Pulverwagen, die auf dem Kremlplatze standen, mit ganzen brennenden Wachslichtern versehen gewesen seyn, die in den Deckel mit dem untern Ende eingebohret waren, und welche zu eben der Zeit bis zum Pulver herabgebrannt seyn sollten, wenn die Lunten das Pulver in den Kellern erreichen würde. Gesehen habe ich diese Lichter zwar nicht, aber es ist mir von mehreren Glaubwürdigen Personen erzählt worden. Aber die Pulverwagen habe ich später noch selbst gesehen. Durch den Regen, welchen Gott zur rechten Zeit sandte, sind diese Zerstörungsanstalten, alle unschädlich gemacht worden. Der Rest der Nacht ging ruhig vorüber; aber am Freitag Morgen, den 14^{ten} Oktober, kamen sehr viele Landleute aus der Umgegend von Moskau, zu Fuß und mit Wagen nach der Stadt, und hielten Nachlese, um sich alles zuzueignen, was in den, von den Franzosen verlassenen Häusern, nachgeblieben war, indem sie zu vergessen schienen, daß Alles, was sie an Meublen, u. solchen Sachen, welche die Soldaten nicht mitzunehmen vermogten, nicht den Franzosen, sondern den früheren rechtmäßigen russischen Eigenthümern zugehörten. Sie hielten alles was sie fanden für Franzosenguth, welches sie mit guten Gewissen

nehmen durften. Es ging dabey, um so weniger galant zu, als noch große Vorräthe gemeiner Brandwein in der Stadt waren — weil die Franzosen keinen tranken, oder nicht alles ausgetrunken hatten. Die Köpfe der Nachleser, waren daher ganz, oder doch zum Theil benebelt, geriethen unter sich selbst, oder mit den in den Häusern nachgebliebenen Leuten in Streit, wenn sie sich der Wegnahme der vorhandenen Sachen widersetzen, und es gab sehr viele schwer verwundete und Todte bey dieser Gelegenheit. Unsere Hofpfoste, war gut verrammelt, und von 2 starken russischen Männern, denen ich jeden einen Silberrubel des Tages gab, von innen bewachet. Auch thaten die übrigen Russen, welche die ganze Zeit bey mir gewohnet hatten, diesen Dienst freywillig. Nicht sowohl um Demidows Eigenthum zu erhalten, sondern ihr eignes, in dieser Zeit erworbenes Gut nicht zu verlieren. Wenn Bancknoten, oder sonst etwas auf unserem Hofe zum Verkaufe gebracht wurde, wies ich es stets meinen russischen Einwohnern zu — weil ich ja doch keine Macht hatte, es ihnen zu wehren, wenn ich es auch wollte. Besonders verdienten der Hutmacher und seine Frau viel Geld. Er wendete Offiziershüthe, daß sie wie neu aussahen für 20 Franken das Stück, und behielt noch die alte Goldbesetzung, wenn er neue aufsetzte; und seine Frau, die eine sehr gute Wäscherin war, reinigte das Weiszeug der vornehmsten Generäle, und erhielt für ein Hemd einen Frank, und alles so bezahlet, wie der Preis der besten Wäscherinnen in Paris ist. Von fremden Bauern blieb also unser Haus verschonet, und Demidowsche, die wir hätten einlassen müssen, kamen am Freitag Vormittag nicht. Etwa um ein Uhr Nachmittags, kamen, einige unserer russischen Einwohner ängstlich zu mir, und batn mich, mich so eilig als möglich irgendwo zu verbergen; da ein Bataillon Leibkosaken von der Petrowskaja herzöge, welche Nachsuchung nach Franzosen, und Deutsche hielten, um sie zu ermorden. Dem war aber nicht also, denn sie fragten nicht nach Bürgern, sondern nach Soldaten fremder Nationen, die etwa noch in Moskau verborgen blieben; welches sich später dadurch bewies, daß sie von allen Moskauer Einwohnern, die sich in der französischen Kirche, aus Furcht für einen solchen Ereigniß, versammelt hatten, auch nicht Einen beleidigten, nachdem sie sich überzeugten, daß keine Militairpersonen, unter ihnen befindlich waren. Die Wahrheit zu gestehen, traute ich meinen Warnern nicht ganz; denn ich dachte: Wenn es Befehl wäre, daß alle Ausländer ermordet werden sollten, meine Hausbewohner, auch mirch nicht retten könnten, und Einige von ihnen, vielleicht nicht einmal wollen würden. Genug, jemehr sie in mich drangen, desto mißtrauischer ward ich — welchen vielleicht ganz ungerechten Argwohn mir die Barmherzigkeit Gottes, wie so viele meiner Sünden, mit dem Blute Christi, gnädig bedecken, u. vergeben wolle. — Ich antwortete aber entschlossen:

Wenn es des Herrn Wille ist, daß ich heute sterben muß, so will ich es lieber unter freyem Himmel thun, als wie eine Maus in einer Falle gefangen, und dann getödtet zu werden. Sogleich befahl ich den Wächtern die Hofporte zu öffnen, trat mitten in die Straße, und rief den ankommenden Kosaken, in russischer Sprache, so laut ich konnte zu: Die Unsrigen, Gottlob, die Unsrigen! Der ganze zahlreiche Trupp Leibkosaken, immer ihre Frage wiederholend „Wo sind Franzosen? Wo sind Deutsche?“^[1] sprengten an mir und meinen Hausleuten vorüber, und nur Einer der letzten Kosaken, hielt an, und fragte sehr bescheiden: Väterchen, hast du nichts zu Essen? Mich hungrert sehr. Ich antwortete: Schtschy und Kasche habe ich, aber ohne Fleisch. Er hielt an, stieg ab, begleitete uns ins Haus, während der ganze Zug Kosaken nach der catholischen Kirche eilte, wohin man sie gewiesen hatte. Während dem Essen erzählte unser Gast, wie gut es mit der russischen, und schlecht mit der französischen Armee stünde, und jene 3000 Unteroffiziere, welche in der ersten Zeit des Einzugs in Moskau, mit den geraubten Schätzen nach Frankreich geschickt wurden, von den Kosaken aufgefangen, und ihnen die Beute abgenommen worden ist. Kurz, unser Leibkosak benahm sich so artig, fein, und gebildet, als wäre er in der besten Pension erzogen; und als ich ihm unaufgefördert ein Glas Brandtwein gab, nahm er so freundlich von mir Abschied, als wären wir alte vieljährige Bekannte. Den andern Häusern an der Schmiedebrücke ging es nicht so gut; denn, als die Kosaken aus der französischen Kirche zurückkamen, und alle Hofporten, außer der Unsrigen fest verschlossen fanden, vermuteten sie, daß in den Häusern Militairpersonen verborgen wären, erbrachen mit Gewalt die Thüren, drangen ein, durchsuchten alles, und dadurch entstanden natürlich mancherley Unordnungen denen unser Haus allein durch Gottes sichtbaren Schutz entging. Unser Kosak kam noch zweymal wieder und bat jedesmal um ein Glas Brandtwein für einen guten Offizier, welches ich ihm gern gab; aber es ist sehr merkwürdig, daß außer diesem Einen, keiner mehr in unser Haus kam, ob gleich alle Höfe neben, und gegenüber unserer Wohnung von Kosaken erfüllt waren; auch keiner seiner Kameraden, oder Offiziere neugierig wurden: Woher er den guten Brandtwein holte, und selbst kamen, um gleicher Gabe theilhaftig zu werden. Ja wahrlich, Gott kann schützen, und schützet wunderbarlich, wenn es Sein heiliger Wille ist. Sobald die Kosaken von der Schmiedebrücke gegen Abend abgezogen waren, und viele meiner Nachbarn mir ihre Noth klageten, die sie während dem kurzen Besuche erlitten hatten; ließ ich die Hofporte wieder fest zu machen; und ausser, daß sich die Zahl der Bauern in der Stadt vermehrte, fiel nichts besonders mehr an diesem Tage vor. Aber in der Nacht vom Freitag auf dem Sonnabend, hörte man stark schießen sowohl aus

Gewehren wie auch aus Kanonen. Man vernahm deutlich das Rufen russischer und französischer Feldposten, u. als mich die Reihe traf, auf dem hölzernen Thürmchen über unserm Hause die Wache zu halten — welches Tag und Nacht alle meine Einwohner thaten; und ich im Finstern ganz allein auf meinen Posten war; überfiel auf einmal eine solche Trostlosigkeit, und namenlose Angst, wie ich sie in meinem ganzen Leben, in den größten Gefahren, und allerschwierigsten Verhältnissen meines Daseyns nie empfunden hatte, welches mir um so schmerzlicher war, da ich in dieser ganzen Zeit mich ganz besonders von Gott gestärket gefühlet hatte, selbst in dem Augenblicke, als die Demidowschen Bauern mich umringten, hatte mir der Herr so viel Furchtlosigkeit geschenkt, als ob nicht die mindeste Gefahr zu befürchten wäre; aber das Schießen, Schreyen, Hundengeheull, Rasseln der Wagen, Galoppieren der Pferde, kurz die sehr grausige Umgebung meines einsamen Wachpostens hatte mich in eine wahre Verlassenheit von Gott versetzt. Meine Angst stieg mit jedem Augenblick, und alles, was ich mir selbst zu meiner Beruhigung sagte, vermehrte nur meine Trostlosigkeit. So fand mich Herr Czermack, der mich aufsuchte, gegen Morgen. Im Heraufsteigen zu mir berührte er zufällig, meine am Leibe schlaff herabhängende Hand, welche heftig zitterte. Auf sein Befragen: Ob ich nicht wohl sey? Bemühte ich mich ihm meinen Seelenzustand zu schildern. Er erschrock, und sagte: Mein Gott, wenn Sie den Muth verlieren, an dessen ruhiges gefaßtes Benehmen, wir uns alle stärkten, und aufrichteten, was sollen wir thun? Nun gab er sich Mühe mich zu beruhigen, indem er mir alle Wunder vorhielt, die Gott in dieser Zeit für uns gethan hatte, er wiederholte mehrere meiner eignen Aeusserungen, womit ich ihn und mehrere Andre, zum Vertrauen auf Gotte, dem Allhelfer in Stunden der Gefahr ermuthigte; aber alles vergeblich, denn alles that eine verkehrte Wirkung, und mir ward nur um so banger in der Seele. Er ging endlich auf mein dringendes bitten, mich allein zu lassen. Ich kämpfte, und rang mit wahrer Todesangst fort bis der Morgen graute. Da kamen zwey Reiter in Mäntel gehüllet langsam die Schmiedebrücke herauf. Die Neugierde überwand meine Angst, denn es kam alles darauf an, ob diese beyden Reiter, Russen, oder Franzosen waren; weil wir von letztern zu befürchten hatten, daß sie durch andre Mittel Moskau völlig zerstören würden, da ihre Absicht, dieses durch Sprengung des Kremls zu bewirken fehlgeschlagen war. Ich nahm eine solche Stellung, daß ich die Reiter, sie aber mich nicht sehen konnten. Es war aber noch so dunkel, daß ich ihre Uniform nicht zu erkennen vermochte. Wer beschreibt aber mein Erstaunen, oder vielmehr meinen Schrecken, als sie grade vor unserm Hause, an der entgegengesetzten Seite der Straße stille hielten, einer von ihnen abstieg, und sein Pferd, dem andern Reiter zu halten gab. Schon

glaubte ich, sie hätten mich wahrgenommen, da die Fenster meines Aufenthaltsortes sämtlich zerschmettert waren, und meine Angst kehrte verzehnfacht wieder. Ich wollte bereits ins Haus hinunter gehen, als ich sah, daß der abgestiegene Reiter nur ein natürliches Bedürfniß verrichten wollte. Ich blieb wieder auf meinem Platze, weil mir zuviel daran lag, die Uniform zu erkennen, welche diese Kavalleristen trugen. Es dauerte sehr lange, bis der Herabgestiegene wieder aufsaß. Auch bewiesen die Bewegungen seines Cameraden — was er sprach konnte ich nicht hören — seine große Ungeuld; denn er wollte mehrerermaß allein davon reiten. Mittlerweile ward es aber so weit helle, daß ich erkennen konnte „es seyen russische Polizeydragoner[“], und mit dieser Wahrnehmung schwand auch meine gehabte Angst, und ich kam völlig beruhiget hinunter in meine Wohnung. Im friedlichen bürgerlichen Leben, scheinen solche Ereignisse kleinlich, ja lächerlich; aber sie haben in solchen Lagen, wie die meinige damals in Moskau war, eine unbeschreibliche Wichtigkeit, scheint es doch, als ob dem Dragoñer bloß darum ein Bedürfniß nöthigen mußte, vor unserm Hause so lange still zu halten, damit ich erkennen sollte, daß die Russen im Besitze von Moskau sind, woran mir so unendlich viel lag. Am Sonnabend vermehrten sich die Bauern in der Stadt, welche viel Unfug trieben, und nur einzelne Kosaken, und Polizeydragoner sah man, die sich aber um die Bauern nicht bekümmerten. Von den Demidowschen Dorfbewohnern kam den ganzen Tag keiner, und auch von andern Bauern blieb unser Haus wunderbar verschont, ob sie gleich gegen uns über, und zu beyden Seiten unseres Hauses großen Unfug trieben, und wir sie so fürchterlich brüllen höreten, als ob sie bey uns auf dem Hofe wären. Sonntag früh füllete sich unser Hof mit Demidowschen Bauern, denn ich hatte befohlen, ihnen den Einlaß nicht zu wehren, weil wir ja ohnehin nicht stark genug waren, ihr Eindringen zu hindern, wenn sie ihn mit Gewalt erzwingen wollten. Gegen eilf Uhr Vormittags kamen diejenigen, welche mich in der Nacht am Donnerstag umbringen wollten, mit noch vielen Andern, angeführt von einem Schreiber, in mein Zimmer, und der Schreiber sagte: Nun sind wir gekommen dich todtzuschlagen, und nichts soll dich retten, wenn auch noch zehn solche Schläge kämen, wie der am Donnerstage war, der dich von unsren Händen befreyete. In diesem Augenblick gab mir mein treuer, erbarmungsvoller Gott, der mir im Laufe meines merkwürdigen Lebens, so viele Beweise Seiner wundervollen — von mir nicht verdienten — Durchhülfe gegeben hat; auch jetzt wieder so viele Geistesruhe, und besonnenem Muth, daß ich den Mördern, kalt und vollkommen furchtlos antworten konnte: Wenn es Gottes Wille ist, daß ich jetzt und von euren Händen sterben soll, und Er es euch zuläßt den Mord zu begehen; so bin ich bereit: Der Schreiber trat

auf mich zu, und Mehrere folgten ihm; da ritt eben eine starke Abteilung von Kosaken vor unserem offenen Fenster vorbey, und ich schrie Kraul, Kraul, worauf sogleich einige Kosaken ans Fenster sprengten. Da rief ich laut und befehlend, „Zurück Mörder! Ihr dürft mir nichts thun!“^[“] So wie die Kosaken dem Fenster naheten, nahmen meine Mörder die Flucht, einer drängte den Andern zur Thüre, auf den Hof, sie warfen sich auf ihre Wagen, und fuhren eilig zum Hofe hinaus. Ans Verfolgen und Zurückhalten dachte niemand von uns; aber nach einigen Wochen als die Ordnung ganz wieder hergestellt war, kamen mehrere dieser Bauern, warfen sich mir zu Füßen, und batn mich, sie nicht bey der Obrigkeit anzugeben. Auch der Schreiber kam, mit einem verbundenen, höchst schmerzhaften Auge, bat mich um Verzeihung, und sagte: Gott hat ihn gestraft, denn er wird nun wohl blind werden, solche Pein habe er im Kopfe und in den Augen, welche ihn schon am Sonntag so zu schmerzen angefangen haben, indem er zu mir gekommen war. Ich gab ihm ein Augenwasser, welches Gott segnete, und er kam nachher noch einmal um mir seine aufrichtige Reue, und ungeheuchelten Dank zu bezeugen. Fast gleich mit diesen Kosaken, die Gott zu meiner Lebensrettung herbey geführet hatte, brachte — kaum eine Viertelstunde nach der Entfernung der Mörder — ein Polizeydragoner, eine gedruckte Aufforderung des Polizemajors Hellmann; daß alle Eigenthümer oder Verwalter von Häuser, denen dieses zu Gesichte käme, sogleich, in einem auf der Twerskoy bezeichnetem Hause, vor den Herrn Major H. erscheinen, und Bericht von den Gebäuden geben mögen, in welchem Zustande die Häuser sich befänden die sie bis jetzt bewohnet hätten? Ich ging sogleich hin, und als ich befragt wurde über den Zustand des Demidowschen Hauses Bericht zu erstatten, sagte der Herr Major Hellmann zu mir: Sie haben dieses Haus bis jetzt bewachet, während die Franzosen in der Stadt waren, so müssen Sie auch ferner dafür aufkommen, und wenn Feuer auskommt, oder sonst ein Unglück darin geschiehet, so werden Sie an der Hausthüre aufgehänget. „Dann will ich lieber das Haus noch heute verlassen“ erwiederte ich. „Das dürfen Sie nicht[“], entgegnete der Major: haben Sie es für die Franzosen bewacht, so müssen Sie es für die Russen um so viel mehr thun. Ich sah die Nothwendigkeit dieser strengen Maasregel ein — denn nicht zu mir allein, sondern zu allen Anwesenden, der ein Haus besaß, oder ihm vorstand, ward dasselbe gesagt; daher bat ich Hr. Major in deutscher Sprache: Er möchte mir erlauben die Pforten des Hauses zu schließen, und bewachen zu lassen; besonders aber den Demidowschen Bauern den Eingang verbieten zu dürfen; weil ich von diesen alles zu befürchten, und selbst die Ansteckung des Hauses, erwarten könnte. Er gestand mir dieses zu, und versprach mir seinen Schutz, gegen jedes gewaltsame Eindringen, in meine Wohnung. Es

ist zum Bewundern, wie schnell der Hr. Major Hellmann die völlige Ordnung in dem weitläufigen Moskau herstellte, obgleich er nur wenige Polizeydragoner und Kosaken bey seiner Ankunft unter seinem Commando hatte. Den Demidowschen Bauern ging es von nun an übel, ohne daß ich irgendeine Klage gegen sie anhängig machte. Ihr großer Raub ward ihnen von den gesetzlichen Behörden entrissen, Viele kamen ins Gefängniß, und wurden bestraft, denn es geschahen mehrerermal Nachsuchungen in den Dörfern wo sie wohneten; und ich habe es schon oben bemerkt: das unrecht erworbene Gut gedieh niemanden. Für mich war diese schwere Prüfungszeit von unschätzbaren, und gesegneten Folgen; die noch bis zu den heutigen Tag, und wie ich von der Barmherzigkeit Jesu hoffe, auch noch in der Ewigkeit fortduern werden. Amen.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
В МОСКВЕ
1812 ГОДА
ВО ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ
В СЕМ ГОРОДЕ
НЕПРИЯТЕЛЯ

Один и тот же предмет, рассмотренный с различных точек зрения, будет представлять собой, чем изображение ближе к оригиналу, свой взгляд. Поэтому возможно столько же описаний присутствия французской армии в Москве в 1812 году, сколько людей находилось тогда в этом городе. И в каждом будет что-то *особенное*¹, ибо очевидец видел и представил их со *своей* точки зрения. Не знаю, опубликовано ли кем-нибудь описание событий этого необычайного и богатого последствиями времени? Мне не попалось ни одной такой книги, посему я сообщаю лишь то, что *сам* имел возможность видеть, слышать и заметить. Во время происходивших событий я, собственно, не думал собирать записки, чтобы рассказать *другим*. Поэтому теперь, по прошествии 23 лет, я не могу ручаться ни за точность хронологического порядка, ни за цифры и все прочее такого рода, что показалось бы любопытным и достойным запечатления политику, государственному мужу, воину или судье. Я был тогда лицом частным и судил обо всем происходившем прежде всего относительно себя самого и лишь потом уже в отношении отечества и своих близких. Поскольку же я затем приучился тесно связывать все происходящие во времени события с вечностью, то и *назад*, на все произшедшее *тогда*, я смотрю в этом, единственно правильном, свете, чтобы сообщить нижеследующим заметкам интерес и для *христиан*.

Без фанатизма могу утверждать наверное: в том, что я *не* покинул Москвы, была воля Божия, и Он расположил так, что я должен был отказаться от своего уже решенного отъезда, хотя все было приготовлено и даже запряжены лошади, чтобы мне ехать в Петербург к своим детям². Однако ложный слух о том, что неприятель

¹ Курсив в тексте соответствует курсиву в немецком оригинале. Звездочки помечены слова, написанные в оригинале на русском языке в латинской транскрипции. Пунктуация модернизирована, разбивка на предложения и абзацы частично изменена.

² Имеются в виду сын Розенштрауха Вильгельм и дочь Елизавета.

уже находится между Москвой и Клином, побудил меня дать ямщику отступного в вознаграждение его усилий. И хотя в тот же самый день я убедился в беспочвенности этого слуха, *впоследствии* ни за какую цену я уже не мог достать лошадей и принужден был оставаться в Москве. Поскольку — как я теперь ясно понимаю — это споспешствовало моему и детям моих благу временному и, питая надежду на милосердие Христово, равно нашему уделу в вечности. Никакой христианин не сомневается, что всемогуществу Божию подвластно все. Но как Христос, будучи во плоти, творил чудеса только тогда, когда *естественные* средства были недостаточны, а равно и в Ветхом Завете Бог лишь *тогда* представлял доказательства своего *непосредственного* вмешательства, когда *привычные* пути были исчерпаны, — так и до сего дня премудрость Божия действует в судьбах целых народов и отдельных людей, *используя или заимствуя наличествующие* подсобные средства, чтобы произвести то, что Ему, Господу, угодно. Насколько простирается человеческое соображение, я могу с уверенностью утверждать, что в Петербурге, не случись явного чуда, я не пришел бы ни к достатку при нашем *ограниченном* местными рамками торговом обороте, ни к совершенно *изменившимся* духовным воззрениям под воздействием страданий и опасностей в Москве, ни к заделу в церковных и школьных делах благодаря моему *деятельному* участию в заботах приходского совета³. Все это вкупе должно было случиться прежде, чем с некоторой надеждой на успех я смог принять решение сделаться *настором*, и тем более осуществить его.

Уже за 25 лет перед тем я столько почерпнул из необыкновенного пути страданий моей жизни, что все происходившее со мной в жизни считал не *случаем*, а мудрым промыслом милосердия Божьего. Итак, не имея *возможности* оставить Москву, я предоставил себя воле Господней, и был так спокоен, как может быть спокоен в опасных обстоятельствах лишь человек, надеющийся на Бога. У которого, однако, как и у всех его братьев, в груди бьется сердце, которое временами сколь лукаво, столь и испорчено⁴. Но перехожу к сути.

К концу августа месяца [1812 года] многолюдная Москва совсем почти опустела. Положение немногих иностранцев, которые остались [в ней] добровольно или вынужденно, становилось все более

³ Розенштраух был членом приходского совета лютеранской церкви Св. Михаила в Москве с января по сентябрь 1820 г. (см. с. 110). Речь идет о так называемой «старой кирхе» в Лефортово, снесенной в 1928 г.

⁴ Парафраз из Ветхого Завета (Иер.,17: 9).

угрожающим, что показали безобразия, чинимые озлобленным народом на улицах и в домах. Особенным бельмом на глазу для народа стал Кузнецкий мост — улица, на которой находилось большинство французских магазинов и которую населяли почти одни только иностранцы. В других частях города пошли разговоры, что «прошлой ночью убили всех иностранцев, которые жили на Кузнецком мосту». Я узнал об этом, так как несколько знавших меня господ посыпали спросить, «жив ли я еще».

Тогдашний генерал-губернатор граф Ростопчин издал, правда, прокламации для народа, в которых представлялось, сколь мало чести делает убийство *тощего*, как высохшая селедка, француза или немца в парике, но эти шутливые бюллетени мало годились для того, чтобы устрашить народ⁵. Посему около полуночи 30 августа я покинул свою квартиру на Кузнецком мосту⁶, ибо в ту ночь на этой улице было шумно и неспокойно как никогда раньше, как я не слыхивал и днем с моего приезда в Москву, хотя Кузнецкий мост — одна из

⁵ Розенштраух имеет в виду одну из знаменитых афишек, изданных московским главнокомандующим графом Федором Васильевичем Ростопчным. Первая часть той афиши, о которой идет речь, появилась в «Московских ведомостях» от 24 августа 1812 года. Согласно П.А. Карташову, полный текст этой и двух других афиш «были найдены французами в Москве, по их вступлении, и напечатаны вместе с французским переводом в “Процессе Московских зажигателей”». Пассаж, который имеет в виду Розенштраух: «Вы знаете, что я знаю все, что в Москве делается; а что было вчера не хорошо и побранить есть за что: два немца пришли деньги менять, а народ их катать; один чуть ли не умер. Вздумали, что будто шпионы, а для этого допросить должно; это мое дело. А вы знаете, что я не спущу и своему брату Русскому, и что за диковина! ста человекам прибить костянова француза, или в парике окurenova немца» (Ростопчинские афиши. /Под ред. П.А. Карташова. СПб., 1904. С. xiii, 52).

⁶ Как сообщает ниже Розенштраух, домовладельцем был некий Демидов. По всей вероятности, речь идет о строении, упомянутом в 1818 г. в Мясницкой части под № 411 «Демидова Григорья Александровича, Камер-Гера. На Кузнецкой улице, в 5. квартале» (Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, равно казенным зданиям, с показанием в котором квартале и на какой улице или переулке состоят. М., 1818. С. 7). Ср. также: «Выше Рождественки, по правой стороне, находились в конце XVIII века: дом Демидовых и при нем Артиллерийское Депо (теперь дом Захарына), дальше дом князя Николая Алексеевича Голицына до угла Большой Лубянки. Против дома Демидовых, по левой стороне, Тверское подворье и дом княгини Настасии Васильевны Долгоруковой-Крымской (с 1783 по 1813 год)» (Тастевен, Ф., Кузнецкий мост и прилегающие к нему улицы в конце XVIII столетия», // Старая Москва // Вып. 1. М., 1912 (репр. 1993). С. 21–33, здесь 30. Сорокин, В., Памятные места Рождественки и прилегающих к ней улиц и переулков (правая сторона) //Наука и жизнь. № 3 (1995). С. 48–53, здесь 49).

самых оживленных московских улиц. Подхватив за руку мою 16-летнюю дочь⁷, я бежал к торговцу Шиллингу⁸, — тот по причине своей многочисленной семьи и многих бывших у него комиссионных товаров, которые он не мог спрятать, также решил оставаться в Москве.

На пути туда нас преследовала чернь, но по счастью дворник* в Шиллинговом доме открыл нам железные ворота на двор по первому стуку и так же быстро затворил их за нами, увидев наших преследователей. У нас было перед ними небольшое преимущество, потому что из комнаты, где они увидели, как мы проходим, и закричали «Мы вас прикончим, проклятые иностранцы!», им нужно было сначала пройти двор своего дома, который выходил в переулок. Это небольшое преимущество, которое мы использовали, ускорив наши шаги, и то обстоятельство, что дворник* даже в полночь оказался так близко от ворот, чтобы впустить нас, спасло нам жизнь.

В семействе Шиллинга нас тепло приняли, пригласили остаться у них и вместе разделить все грядущие события. Ставни на окнах и вход в дом были такие крепкие и в таком хорошем состоянии, а присутствующих, в основном молодых и сильных мужчин, так много, что можно было отбить средних размеров штурм. Однако в субботу 31 августа стало приходить со всех сторон столько известий об угрозе для жизни все еще остававшихся в Москве иностранцев, что Шиллингово семейство посчитало за должное любой ценой лучше покинуть город, чем стать жертвой. За чрезвычайно высокую сумму старшим сыновьям удалось достать лошадей. Итак, несмотря на тесноту на их подводах, все упрашивали меня сопровождать их. Но я считал это невозможным, если только не идти рядом пешком, и попросил их взять с собой лишь мою дочь. Вечером в одиннадцатом часу они уехали. При нашем обоюдном прощании мы чаяли свидеться только в вечности, ибо и им в дороге следовало ожидать не меньших опасностей, нежели мне в городе. Живая, искренняя и общая молитва, которую объединила нас с дочерью за два часа до отъезда, так подкрепила ее и меня, что в решающий момент мы попрощались друг с

⁷ Имеется в виду младшая дочь, Вильгельмина.

⁸ Купеческая семья из Риги. Ее глава, Иоганн Петер (Петр Иванович), входил вместе с Розенштраухом в масонскую ложу в Москве и в церковный совет лютеранской церкви Св. Михаила. (См. выше, с. 96 и 110.) Шиллинг стал официальным членом Московской купеческой гильдии в 1817 г., умер в 1819 г. (*Найденов. Материалы*. Т. 7. С. 160). Его сыновья продолжили семейное дело, а один из них, Егор Петрович, получил в 1844 г. права потомственного почетного гражданина (Там же. Т. 8 (М., 1889). С. 179).

другом так же легко, как если бы должны были свидеться несколько часов спустя.

Отъезжающее семейство взяло с собой лишь самое необходимое, потому что людям в подводах едва хватало места; все же прочее было оставлено. Посему господин Шиллинг просил меня остаться жить в его доме и взять на себя надзор за имуществом и оставленными комиссионными товарами.

Я должен назвать еще одну и главную причину, почему я оставил в ночь с пятницы на субботу мое жилище на Кузнецком мосту. Граф Ростопчин издал несколько печатных воззваний к народу с призывом *вооружаться* и по первому зову собираться на Воробьевых горах — тому же, кто *останется*, угрожало самое суровое наказание⁹. Мой кучер, молодой дерзкий парень с катанинской физиономией, собираял поэтому что ни день на нашем просторном дворе толпу разделявших его взгляды молодцов, с которыми он занимался военными упражнениями, шумел и витийствовал перед ними. Он часто говорил им, что все, наконец, переменится, крепостные станут *господами*, а прежние господа или будут убиты, или должны будут сделаться мужиками. Я должен был молча сносить это безобразие, но мое вынужденное молчание делало кучера лишь все более и более дерзким, так что он наконец ущипнул мою дочь за щеку, хотел поцеловать, смеялся над ее стыдливостью, и нагло заявил, что, дескать, скоро она будет думать *по-другому* и будет благодарить его, когда он станет ее *защитником*. Когда в ночь на пятницу я узнал, что кучер и его приспешники не находят дома, я воспользовался этим для того, чтобы бежать в дом Шиллинга. Но едва лишь моя дочь уехала с этим семейством, мне пришло на ум, как разъярится и озлобится кучер, когда он не найдет по своему возвращении домой ни моей дочери, ни меня. Теперь меня заботило, что этот отчаянный парень может обнаружить мое убежище — и какую опасность может причинить злоба этого человека. Не мне, ибо я, как говорится, все это время носил «душу мою в руке моей»¹⁰, но Шиллингову дому, его пожиткам и товарам. Посему я думал об убежище, чтобы меня не *нашли* в Шиллинговом доме, а если кучер вздумает искасть меня там, он подумает, что я уехал вместе со всем семейством.

То, что наша армия проиграла битву, и Наполеон находится уже на Русской земле, в Москве знали и видели по многим раненым, которые следовали через город. Но я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь

⁹ См. ниже, сноска 15.

¹⁰ Парафраз Псалтири (118: 109).

кроме генерал-губернатора и его самых близких друзей мог даже по-мыслить о том, что Наполеон сможет дойти до *Москвы*. Еще 31 августа появился краткий бюллетень, в котором от имени фельдмаршала Кутузова объявлялось, что прошедшим днем он совершенно разбил французов и если — в чем он не сомневался — он снова разобьет их на следующий день, ни один из вторгшегося числа неприятелей не достигнет *живым* за русскую границу и не вернется домой¹¹. Дату битвы и местность я не помню. Не ведаю, что жители страны знали и думали об истинном положении вещей, поскольку мой магазин, как и все на Кузнецком мосту, был закрыт и не приходил никто, от кого можно было бы узнать что-то определенное.

Однако *иностранны* искали друг у друга совета и отдохновения всякий раз во все это время, как только они могли без опаски встретиться. При одной такой оказии театральный художник г-н Чермак¹², который имел мужество организовать сбор средств для первых пленных французов, не питая к этой *нации* никакой привязанности, из чистого человеколюбия и не без угрозы для себя, пришел с этим намерением и ко мне. Он сказал мне: «Я живу у русского духовного лица в переулке* Лаврентия на Вражке¹³, рядом с Тверской. Тот обещал мне и некоторым из моих друзей показать *тайное* и очень *надежное* укрытие под алтарем его церкви, где никто не сможет нас найти и где мы будем защищены от всех возможных опасностей». Г-н Чермак предложил мне затем перебраться к нему, если я не смогу больше оставаться на своей квартире, и оставил точное описание своего дома, чтобы

¹¹ По-видимому, имеется в виду афиша Ростопчина от 27.08.1812 на следующий день после Бородинской битвы, опубликованная отдельной листовкой и в «Московских ведомостях» от 28.08.1812: «Два курьера, отправленные с места сражения, привезли от Главокомандующего армиями следующие известия: Вчерашний день 26го, было весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощью Божией Русское войско не уступило в нем ни шагу, хотя неприятель с отчаянием действовал против него. Завтра надеюсь я, возлагая мое упование на Бога и на Московскую Святыню, с новыми силами с ним сразиться. <...> Когда сего дня, с помощью Божией, он отражен еще раз будет, то злодей и злодеи его погибнут от голода, огня и меча» (*Картавов. Ростопчинские афиши. С. XV, 57*).

¹² Леопольд (Леонтий Иванович) Чермак/Czermak, «брать» Розенштрауха по масонской ложе (см. с. 101–103).

¹³ Очевидно, название искажено. Ближе всего по описанию подходит ныне исчезнувший Леонтьевский переулок, названный по упраздненной к тому времени церкви Леонтия Ростовского на Вражке, между Большой Никитской и Тверской улицами, застроенный впоследствии зданиями университета. Близость Кремлевского арсенала в эпизоде ниже, где москвичи разбирают оружие, подтверждает эту версию.

я тотчас мог его найти. Если бы *ранее* подумал об этом убежище, я бы предпочел его Шиллингову дому, но тогда моя дочь не уехала бы вместе с этим семейством, подверглась бы впоследствии большим опасностям, должна была бы пережить все ужасы и жестокости во время пожара и последующих грабежей. И наконец, что было главным и для нее, и для меня, мы не получили бы столь убедительного доказательства утешительной силы искренней молитвы, какое Господь милостию сподобил явить нам за два часа до ее отъезда.

Рано утром в воскресенье (31 августа) предложение г-на Чермака внезапно всплыло у меня в памяти, с наступлением дня я отыскал его квартиру и был принят самым сердечным образом им и его женой. Его хозяина, священника, я нашел занятым отправкой своей молодой красивой жены прочь из города. Он также очень любезно приветствовал меня и сказал, что предпочитает лучше отправить свою жену к ее живущим под Москвой родителям, чем оставлять здесь, и коль скоро она отправится в путь, тем спокойнее ему будет по-братьски жить с г-ном Чермаком и со мной, разделя все невзгоды и защищая нас своим саном и т.п.

Но не прошло и четверти часа с отъезда его жены, как священник стал вести себя как помешанный. Он стал бросаться на землю, вырывать волосы на голове и из бороды, разбил себе лицо, кричал и рыдал, зачем он отпустил свою жену в путь одну и т.д. Я посоветовал ему как можно скорее нагнать ее, поскольку она еще не могла миновать заставу*. Едва уразумев мои слова, он поспешил, без шляпы, таким как поднялся с земли, стремглав за своей женой, которую и нагнал — как я узнал от него несколько месяцев спустя. Так обещанное тайное убежище в церкви осталось нам неизвестным.

Воскресенье мы провели без примечательных происшествий, поскольку оставались в комнатах, никого из чужих не видали и, следовательно, не могли узнать ничего из происходившего в городе. Однако же я успел понять спустя несколько часов по прибытии к г-ну Чермаку, что эта улица обещает еще меньше защиты, чем Кузнецкий мост. Потому что, во-первых, г-н Чермак был единственным немцем, который жил в этом переулке, и затем, вокруг его жилища были одни публичные дома. Г-н Чермак и сам, наконец, понял, насколько небезопасно наше жилище, и потому он пригласил меня пойти вместе с ним к проживавшему поблизости фабриканту ламп по имени Кнауф¹⁴,

¹⁴ Андреас (Андрей Андреевич) Кнауф, род. в 1765 г., сын сапожника из Киля. С 1784 г. приказчик в Санкт-Петербурге, с 1788 г. в Москве, по ревизиям 1795 и 1811 гг. записан купцом первой гильдии. Нажил состояние преимущественно на откупах железноделательных и медных государственных заводов на Урале.

дом которого был похож на маленькую крепость, а многочисленные фабричные рабочие, похоже, очень преданы своему хозяину. Мы попросили господина Кнауфа принять нас у себя в доме, потому что в нашем жилище мы были беззащитны, а он, со своей стороны, получал в лице двух здоровых немецких мужчин частью поддержку, частью помощников в надзоре за его рабочими. Он упрямо отверг это и заверил нас, что может положиться на своих людей. Ну, тогда Бог нас защитит, сказал г-н Чермак то, что в душе подумал и я.

Утром в понедельник на улице началось большое оживление и мы увидали, как навьюченные ружьями, саблями и пистолетами мужчины, женщины и дети спешили по своим жилищам, иногда бросали [оружие] перед входом и бежали назад, чего мы не могли себе объяснить, так как это продолжалось всю первую половину дня, а мы по-прежнему не хотели выходить и спрашивать на улицу. После мы узнали, что еще в воскресенье был обнародован бюллетень, в котором приказывалось: в понедельник утром всему мужскому населению Москвы следовало поспешить к Арсеналу, вооружиться там и следовать затем на Воробьевы горы¹⁵. Следуя этому призыву, многие оказались в Кремле, и хотя нашли там Арсенал открытым, но никого, кто сказал бы, что им брать и где они должны собраться?

С невозможностью экспорта в Англию из-за Континентальной блокады Наполеона Кнауф оказался не в состоянии выплачивать арендные платежи и заводы были забраны в 1811 г. обратно в казну. По 7-й ревизии 1815 г. Кнауф «с 1812 г. капитала не объяв. и к подаче ревизской сказки не явился». Его дальнейшая судьба неизвестна. На 1818 г. Кнауф владел домом в Успенском переулке, 3-м квартале Мясницкой части между ул. Покровка и Мясницкая. Amburger, E. Andreas Knauff und die Knauff'schen Hüttenwerke im Ural. Tradition: Zeitschrift für Firmengeschichte und Unternehmerbiographie. 1963 (8). Heft 3. S. 122–130; Найденов. Материалы, Т. 4. С. 452; Т. 5. С. 224–225; Т. 6. С. 155; Алфавитные списки всех частей столичного города Москвы домам и землям, «Мясницкой части». С. 11.

¹⁵ Очевидно, Розенштраух объединяет две афиши Ростопчина. Одна, от 18 августа, опубликованная в «Московских ведомостях» за 21.08.1812 и отдельной листовкой, включала это место: «Многие из жителей желают вооружиться, а оружия тысяч на десять есть в Арсенале, которое куплено и дешево на Макарьевской ярмарке; всякое утро желающие могут покупать в Арсенале ружья, пистолеты и сабли; цены тут означены; за это мне скажут спасибо, а осердятся одни из ружейного ряда, но воля их, Бог их простит». Вторая афиша, обнародованная 30 или 31 августа (пятница–суббота), циркулировала как отдельная листовка: «Братцы! сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отчество. <...> Вооружитесь, кто чем может <...> собирайтесь тотчас на трех горах. Я буду с вами и вместе истребим злодея» (Картавов. Ростопчинские афиши. С. XIII–XIV, 50, 60).

Тогда каждый схватил, что понравилось, спешил домой и рассказывал об этом домашним и всем, кто встретился на пути; брал с собой всех, даже *детей*, лишь бы они могли сколько-нибудь унести. И так количество охотников брать и уносить с собой [оружие] увеличивалось с каждым часом до того момента, когда в город вступили французы. Граф Ростопчин, конечно, заранее знал, что Арсенал достанется врагу, и спас таким способом много оружия, которое жители во время нашествия спрятали и скрыли, но потом должны были снова сдать, когда в Москву вернулись русские власти.

К счастью, у народа не было пороха, иначе пролилось бы много крови, поскольку все кабаки* остались бесхозными и *открытыми*, полиция вслед за графом уже покинула Москву, большой город остался без властей и каждый мог невозбранно делать, что хотел: большая толпа народа собралась уже, когда юного Верещагина, которого граф [Ростопчин] в момент своего отъезда не велел полиции *брать с собой*, тащили по улицам и отдали в жертву народному гневу как предателя¹⁶. Хотелось бы, конечно, чтобы французы никогда не дошли до Москвы; но в прочем милостию Божией стало то, что они вошли в город в *этот же* день, ибо иначе в состоянии анархии, при разгоряченных водкой головах и при всей свободе невозбранно и неограниченно грабить, при всеобщей ненависти к *иностранным* вряд ли кто-то из иноплеменников остался бы в живых; а они бы стали нападать и на *соотечественников*, и во хмелю пролили ли бы взаимно много крови.

Около полвторого пополудни трое русских офицеров разного рода кавалерии проскакали в карьер от *Тверской* улицы мимо наших окон, но едва несколько минут спустя спешно повернули назад. Когда же г-н Чермак и я рискнули выйти за порог, чтобы проследить за ними, мы очень отчетливо услышали дробь французских барабанов, звук которых был знаком *ему* по *Вене*, а *мне* по *Рейну*¹⁷, но все еще сомневались, точно ли так, как вдруг заметили слева конных гренадеров, неспешно втягивавшихся как раз с той стороны, куда торопились первые три офицера, а потом поворотили обратно. И почти в ту же минуту мы услышали и со стороны *Тверской* улицы французский марш, исполнявшийся духовыми инструментами. Сколь переполнен был наш

¹⁶ Речь о Михаиле Николаевиче Верещагине, сыне купца второй гильдии, схваченном за распространение русского перевода прокламаций Наполеона. Незадолго до вступления французов в Москву Ростопчин публично объявил его предателем и отдал толпе, которая его растерзала.

¹⁷ О пребывании Розенштруха на Рейне см. выше, с. 40–41. О пребывании Чермака в Вене см. с. 102.

переулок вооруженными жителями до того, столь же быстро он опустел. Все побросали оружие или бежали с ним в дома, так что во всем переулке остались стоять лишь г-н Чермак и я.

При полнейшем отсутствии всяких известий с театра военных действий, при частых *известиях о победах* над врагами никто и *помыслить* не мог увидеть Наполеона в *Москве*. А еще менее, что это произойдет так *скоро*, ибо думали, что он со своей армией все еще на русской границе. Когда г-н Чермак и я стояли так у нашей входной двери и ни один из нас не решался признаться другому в том, что он считает приход французов делом *конечным*, мы оба не могли не обратить внимание на раздававшийся сверху звук, который вывел нас из задумчивости. Мы посмотрели ввысь и увидели похожую на дерево ракету, взывшую к облакам. У меня невольно вырвалось: «Как это велико!» И лишь когда я произнес эти слова, мне стало ясно в душе, что я хотел этим сказать. Г. Чермак отнес мой возглас на счет размеров ракеты и сказал: «Да, такой ракеты я не видал и в Вене при самых лучших фейерверках». Я ответил: «Нет, я не это имел в виду, *великой* я нахожу идею, что Москва должна быть *сожжена*». При этом, клянусь Богом, я никогда и близко ничего подобного не думал, даже если и представлял себе возможность, что французы *смогут* дойти до Москвы — хотя я и такого не припомню, — и никогда не стал бы говорить моему самому доверенному другу. В самом худшем случае я мог представить себе разве только большую контрибуцию — так, как это происходило при их (французов. — *Прим. пер.*) вступлении в другие столицы, — но не пожары или грабежи. Поэтому мне и до сего дня непонятно, почему вид этой ракеты — которая, впрочем, быть должна была видимым издалека *сигналом* — вызвал во мне доселе не приходившую мне в голову идею, и представил в этот миг перед мысленным взором все благие последствия, которые принесет для России пожар Москвы. В продолжение 23-х лет я многажды испытывал себя, много раз истязал свою память в поисках того, как *связать* с видом ракеты мое тогдашнее восхищание и все то, что внезапно, но очень живо встало передо мной при этой мысли, — но всегда *тищетно*, так что я принужден отложить разрешение этой загадки на время отществия моего в вечность.

Итак, наша маленькая уличка наполнилась французскими пехотинцами, которые, приблизившись, очень вежливо спросили немного хлеба, которого, по их словам, они не видели и того менее ели в продолжении трех дней. Мадам Чермак, говорившая хорошо по-французски и жившая в Вене в домах, которые вынуждены были пустить на постой французов, пригласила окруживших нас солдат пройти далее в

дом. Вошло восемь человек, остальные распределились по прочим домам. Сейчас же показались жившие в нашем переулке уличные девки и так по-свойски вели себя с этими чужеземными гостями, как будто они всегда были знакомы — хотя и не умели с ними говорить.

Весь переулок стал вдруг таким оживленным, что казалось, будто так было *всегда*. Все это происходило едва в течение часа. Тут вдруг раздался крик: пожар, пожар! Вскоре его можно было уже видеть. Некоторые стали карабкаться на высокие дома и говорили, что горит на Рыбной улице¹⁸. Так как это было довольно далеко от нашего переулка, то мы, г-н Чермак и я, далее не принимали в сем участия и уговаривали солдат всем, что у нас было. Мы были убеждены в том, что на следующий день сможем купить новые припасы, поскольку думали: «Даже если в Москву вошло 100 000 человек, все они смогут разместиться и найти пропитание в Москве, если только мы в своем домишке накормили восьмерых».

Но мы ошибались, потому что едва восемь солдат ушли от нас, довольные и благодарные, как пришли другие, потом еще, и требовали того же. Пока было засветло, дело еще обстояло спокойно, поскольку к нам в комнату заходили два офицера и один унтер-офицер, которые каждый раз спрашивали присутствовавших солдат, ведут ли они себя прилично и скромно согласно приказу императора Наполеона? Нам же они говорили при малейшем недовольстве тотчас обращаться за помощью в находившуюся рядом на Тверской караульне¹⁹, чтобы озорники — как это называлось — были б примерно наказаны. К 10 часам вечера наши последние припасы истощились, тогда как число незванных гостей умножалось — это были уже не просящие, а повелительно требовавшие солдаты. Мы давали им деньги и пытались дать им уразуметь, что дело не в нашем нежелании, а в отсутствии припасов, которые мы никак не могли пополнить *ночью*. Мы выставляли им на вид, что на протяжении восьми часов мы уже кормили столь многих, и они легко могли увидеть, что в таком маленьком домишке не могло быть обширных припасов. Хотя все принимало суровый оборот, но они (солдаты. — Прим. пер.) лишь грозились наложить на нас руки, никого из нас лично не трогая. Последние четверо солдат взяли деньги и вещи, которые им понравились; но они посулили разделаться с нами, если не получат на завтрак омлет с ветчиной. Мы пообещали

¹⁸ Очевидно, речь о Рыбном ряду на Москворецкой улице, спускавшейся от Красной площади. См. «1803 План Кремля и Китай-города» <<http://www.retromap.ru/>>, последнее посещение 16.12.2013.

¹⁹ Имеется в виду главная караульня во дворце генерал-губернатора на Губернаторской площади, здание теперешней мэрии на Тверской.

им это определенно, в уверенности, что сможем с наступлением дня купить необходимое.

Наутро, еще затемно, пробили общий сбор и наши гости, принужденные нас покинуть, ругались и клялись, что никого из нас не оставят в живых, если по их возвращении не будет накрыт стол в изобилии со всем, что они требовали.

Во всю ночь мы не имели ни секунды отдыха, сплошной страх и беспокойство — а особенно я, управив с помощью Божией грабеж и бесчинства против двух русских семейств, живших над нами и в примыкающем доме, и защитив укрывшегося в наших комнатах русского протопопа*, которого бывшие у нас солдаты всячески оскорбляли. Вместе с упование на заступничество Божие мое мужество подкрепляли уверения офицеров, которые говорили, что мы сможем найти на главной караульне помощь от бесчинств. Я ничего не боялся, полагая, что мне достаточно добраться до Тверской, чтобы сейчас же получить помощь. Как только солдаты покинули нас, я устроил, наконец, престарелого протопопа* на покой и предложил г-ну и мадам Чермак открыть окна и двери, чтобы очистить комнаты от дурного воздуха, скопившегося этой ночью из-за многих приходивших с марша солдат.

Мы вышли за дверь дома и не успели постоять там, как мимо нас проследовала большая колонна кавалерии во главе со штаб-офицером. Мадам Чермак заговорила с командиром колонны, жалуясь на то, что этой ночью мы должны были перетерпеть, хотя еще вчера трижды слышали заверения, что император Наполеон не желает-де бесчинств против жителей, а преступникам грозят суровые наказания. С любезным выражением на лице и французской учтивостью штаб-офицер отвечал ей: «Мадам, вчера в город вошли 80 000 французских детей, и Вы легко можете вообразить, что среди столь многих должны были находиться и озорные дети. Утешайтесь, таковы следствия войны». Он также послал ей воздушный поцелуй и ускакал. Мы же смотрели на следующих за ним всадников, обвешанных с ног до головы вещами всякого рода, платьями, тюками, покрывалами, коврами и т.п. Из этого мы могли заключить, что в домах, где ночевали эти французские дети, дела должны были обстоять намного хуже, чем у нас.

Все это тем настоятельнее доказывало нам необходимость позаботиться о завтраке, который со столь страшными угрозами велели нам достать ушедшие солдаты. Посему мы послали купить провизию, но не смогли получить ничего и за вдесятеро большую сумму. Это причинило нам немалое беспокойство, возросшее до *предела*, когда тот самый господин Кнауф, который в воскресенье не хотел принять нас

в своем доме, появился у нас со своей женой едва одетым. Они прошли нас позволить им зайти хоть на минуту, ибо в прошедшую ночь были вчистую ограблены, чему более всего способствовали их фабричные рабочие. Они потеряли все свое приличное состояние и прикрывались лишь старыми лохмотьями. Г-н и мадам Чермак приняли их с состраданием и живым участием, препроводив в комнаты. Я же остался на улице, чтобы поразмыслить еще над милосердным произволением Божьим, ожесточившим сердце Кнауфа так, что он противился нашим просьбам, несмотря на то что ранее он был дружен с г-ном Чермаком и знаком со мной.

Пока я стоял там, ко мне подошел прилично одетый французский провиант-комиссар и попросил достать ему рубашку, потому что его жестоко мучили паразиты. Я сказал ему, что я здесь не проживаю, что у хозяина дома рубашки почти все отняты; что я, впрочем, только в воскресенье утром надел две белые рубашки, из которых *верхнюю* и лучшую я ему охотно готов отдать, если его не смущает, что я уже проносил ее два дня. Он поблагодарил меня и, когда я предложил ему войти в дом, попросил зайти с ним в открытые комнаты на дворе, чтобы отдать там ему мою рубашку. Сделав это, я подождал, чтобы проводить его затем в комнаты.

Подойдя ко мне, он, обняв, поблагодарил меня и хотел дать мне русскую 100-рублевую банкноту, уверяя, что это лишь малость за то удовольствие, которое он испытал, выбросив в отхожее место старую рубашку и надев на тело чистую. Отнюдь не приняв денег, я заверил, что рад услужить ему тем, чего в прошедшую ночь мог бы лишиться насильственным образом и под угрозой для своей жизни. Войдя в комнаты и услышав, что все мы говорим по-немецки, он сказал: «Я тоже немец»²⁰. Вероятно, он посчитал меня за русского, потому что заговорил со мною по-французски. Ибо по моей манере разговора он мог заметить, что я слабо владел французским.

Наш страх возрастал по мере того, как мы могли ожидать наших ужасных солдат, и, заметив это, комиссар осведомился о причинах.

²⁰ Армия Наполеона насчитывала в начале кампании около 611 000 человек различных национальностей, включая многих немцев. Около 200 000 составляли жители территорий Франции в границах до 1789 г., еще 100 000 из аннексированных Францией голландских, бельгийских, немецких, швейцарских и итальянских земель. Еще около 130 000 немцев с территории государств Рейнского союза, 90 000 поляков и литовцев, 50 000 пруссаков и австрийцев, 27 000 итальянцев и 9000 швейцарцев (Forrest, A. Napoleon's Men: The Soldiers of the Revolution and Empire. London, 2006. P. 18–19).

Ему ответили, что мы боимся возвращения солдат, после чего он попросил мел и вышел — мы не знали, зачем. Вскоре после того заявились солдаты и не увидев, войдя, накрытого стола, стали страшно ругаться. Без сомнения, нам пришлось бы худо, если бы Бог не послал нам этого обер-комиссара — имя которого я, к сожалению, забыл — как ангела-спасителя.

Солдаты не заметили его при своем появлении, так как все их внимание было приковано к столу. Теперь же он поднялся и спросил самым строгим тоном, какого они полка? — поскольку они были в накинутых шинелях — а на встречный вопрос, какое *ему* до того дело, он ответил: чтобы я привлек вас к ответственности за то, что вы столь дерзким образом ворвались в отведенную мне квартиру. Да разве не читали вы на двери, спросил он у них, что это квартира обер-комиссара NN? Насколько грубыми солдаты были раньше, настолько же вежливыми они оказали себя перед комиссаром, просили прощения, извиняя себя своим неведением, и покинули нас, злобно косясь, обманутые в надежде наполнить свои пустые животы.

Ребятки, сказал провиант-комиссар, я останусь у Вас, так как Вам грозят еще большие опасности. И этот добрый человек очевидным образом спас на следующую ночь — Божиим произволением — чету Чермак и еще одну русскую семью, которая жила в том же доме, о чем я позже расскажу.

Недолгое время спустя я стоял на кухне у открытого окна и увидел проходящего мимо полковника, который расспрашивал нескольких людей на улице, не могут ли они ему указать хорошую квартиру неподалеку от Кремля? Но никто его не понимал, хотя он попеременно спрашивал то на французском, то на немецком. Он уже скрылся, когда мне пришло в голову, что для постоя подойдет дом на Кузнецком мосту, в котором я жил до того. Он принадлежал богачу Демидову из Петербурга²¹, был просторен и хорошо обставлен. Я тотчас поспешил за ним, нагнал его еще на той же улице и предложил показать ему квартиру, которая отвечала его пожеланиям.

Он поблагодарил меня, и мы вместе пошли на Кузнецкий мост. Так как дорога туда занимала довольно времени, он потерял терпение и несколько раз порывался меня оставить, поскольку, по его мнению, я уводил его все дальше от Кремля, вблизи которого он хотел квартировать. Мне составило немало труда убедить его, что это мнимое расстояние было лишь следствием кривых улиц, но что тем не менее дом,

²¹ Об взаимоотношениях Розенштрауха и Демидовых см. выше, с. 66–67.

который я собираюсь ему показать, сзади через удобную калитку выходил совсем близко к Кремлю.

Уже на Кузнецком мосту он хотел еще раз развернуться и уйти. Я смог удержать его, лишь заверив, что никогда не осмелился бы несколько раз убеждатъ его, если бы сам не был уверен в себе. Да и он сам может с первого взгляда убедиться, что я не вводил его в заблуждение. Достигнув Кузнецкого моста, я нашел его безлюдным, но дома были невредимы. Я еще издалека показал полковнику дом, который хотя и понравился ему внешне, но все же, по его мнению, был слишком далеко от Кремля. Ворота Демидовского дома, в отличие от остальных (мимо которых мы проходили), были не затворены, а лишь прикрыты, так что мы смогли пройти во двор.

Первым делом я увидал семерых мужиков, которые с покаянным видом стояли на коленях — среди них я узнал нескольких дворников*. Их окружали французские солдаты, некоторые из которых с ружьями на изготовку, чтобы их расстрелять. Я сейчас же стал всеми силами умолять полковника остановить экзекуцию. Тогда он спросил солдат, почему они хотят расстрелять этих людей. В ответ солдаты рассказали, что они были в прилегающем дворе и, когда некоторые из любопытства заглянули через стену, эти люди стали в них стрелять. Тогда полковник согласился с ними и приказал расстрелять людей. Я удвоил мои просьбы, насколько было в моих силах, и умолял полковника разрешить мне расспросить людей, почему он вели себя столь безумно?

Те чистосердечно рассказали мне, что главный управитель* Григорий Иваныч, которого люди боялись больше, чем Демидова, приказал им стеречь дом со словами, что они должны тотчас стрелять в каждого, кто в него проникнет, и дал на это ружья и порох. Однако по отъезде управителя* первое, что сделали сторожа, было взломать вдоволь наполненные кладовую и подвал. Три дня они здесь объедались и опивались, и только на четвертый день (*вторник*) один из них вышел из подвала на двор — как раз в тот момент, когда солдаты выгляднули из-за соседской стены. Он тут же позвал товарищей, и те, присоединившись к нему, навели свои ружья на незнакомых гостей и дали залп, не причинив, впрочем, никому вреда.

Полковник рассмеялся, и я посчитал это за добрый знак, чтобы возобновить свои просьбы — пока, наконец, он не приказал отвести людей в ближайшую караульню, чтобы их судили законным порядком. Однако одного из старших дворников* я смог освободить тут же, поскольку он разбирался в расположении дома и в ключах, которые, как я резонно предполагал, находились на квартире управителя*.

Отпущеный на свободу дворник получил приказ искать ключи, что он с радостью и стал исполнять, а я прежде всего вывел полковника через все три задних двора к тогдашнему Яблочному ряду²², совсем недалеко от Никольских ворот²³. Полковник видел теперь Кремль перед собой — так близко, как будто их разделяла только стена.

Мое жилище, деревянный флигель, тесно примыкавший к каменному главному зданию, не было заперто, и я все нашел точно на тех местах, как я оставил в пятницу ночью. Кучер, должно быть, уже не вернулся, а страсть к пьянству сторожей сохранила мои покинутые пожитки. Полковник вместе со мной вошел в мое жилище, приказал мне открыть затворенные ставни и, еще не дожидаясь дворника* с ключами, хотел уйти за своими товарищами. Я заметил ему, что один я совершенно беззащитен и легко могу не дожить до его возвращения. На что он потребовал мела и написал на дворовых воротах, которые вели и к каменному, и к деревянному дому: «Квартира для адъютантов маршала Бертье»²⁴. «Теперь вы в безопасности, — сказал он, — никто не осмелится проникнуть в дом или причинить вам какое-либо зло».

В этот момент мимо нас проскакал пикет жандармов. Полковник позвал офицера к окну, назвал свое имя и попросил его оставить двоих людей на карауле у этого дома, пока он и его товарищи не займут его. Офицер сейчас же приказал двум жандармам занять здесь пост. Они ввели своих лошадей на двор, спешились и встали у ворот.

Через некоторое время один из них, совершенно скрючившись и держась внизу живота, появился у меня в комнате и спросил, могу ли я дать ему что-то поесть, потому что он близок к голодной смерти. Я обыскал дом и не нашел ничего, кроме миски горошка, который остался почти нетронутым с пятничного обеда, но за четыре дня на

²² В начале XIX века «на месте Политехнического музея, на площади стояли “Яблочные ряды” — деревянные шалаши и лавки, в которых продавались фрукты; ряды были и на месте Лубянского сквера». Сытин, П.В., Из истории московских улиц. М., 2011. С. 29, см. также <<http://www.rulit.net/books/iz-istorii-moskovskih-ulic-download-free-236259.html>>, последнее посещение 21.06.2013.

²³ До пожара 1812 г. территория между современными Неглинной, Пущечной улицей, Лубянской площадью и Театральным проездом была не застроена. Соответственно, зады строений Кузнецкого моста выходили к Китайгородской стене в районе не сохранившихся Никольских (Владимирских) ворот этой стены. См. «Генеральный план столичного города Москвы» (1813 г.), <<http://www.retromap.ru/>>, последнее посещение 21.06.2013.

²⁴ Луи Александр Бертье (Louis Alexandre Berthier) (1753–1815) — маршал Франции, князь Нефшательский и князь Ваграмский, начальник штаба Наполеона (majord-général) во всех его кампаниях до 1814 г.

нем наросла плесень в ладонь вышиной, так как миска стояла в закрытом и затхлом кухонном шкафу. «Голод — лучший повар», — гласит пословица, и по крайней мере в этот раз она совершенно оправдалась. Голодный солдат проглотил все, что было в миске, и уверял, что сыт, так как в своем жилище я не смог больше найти никакой приготовленной пищи, — остававшиеся люди в мое отсутствие все стяли. К их похвале должен сказать, что это было единственным, что они присвоили до того, как покинули дом, ибо при желании они могли взять все, что там было и лежало незапертым в комнатах. Но ни одной мелочи из моего жилища, когда я вернулся в него, не пропало.

Жандарм был полон благодарности, так как он понимал, что ему пришлось бы еще долго оставаться без еды, если бы я по счастью не нашел и не дал ему этого заплесневевшего горошка. Поэтому я осмелился просить его, если это возможно, составить надежное сопровождение для человека, которого я хотел послать с известием, что я жив, к одному из своих лучших друзей. Тот ответил: «Мой товарищ и я поставлены в караул, но не на часах. Уже надписи на воротах было бы достаточно, но если один из нас останется здесь, то этим безопасность дома будет обеспечена». Я тотчас написал г-ну Чермаку, пригласив его вместе с домашними прийти ко мне под защитой комиссара или в сопровождении жандарма, так как мое жилище предоставляло больше удобства и безопасности, чем его. Преимущество было бы и в том, что мы будем *вместе*.

Во дворе я нашел старуху крестьянку, которая за хорошую мзду согласилась с этим надежным попутчиком передать написанную мной записку г-ну Чермаку — в одиночку жандарм никогда не нашел бы его улицу и квартиру — и оба отправились в путь. Между тем вернулся вызволенный мной дворник²⁵ и сказал, что не смог найти главного ключа от большого каменного дома, но принес ключ от другой двери, которая вела на пустой верхний этаж деревянного дома, и оттуда мы сможем зайти в большой дом. Мы тотчас так и сделали, нашли все комнаты открытыми и смогли изнутри открыть нижнюю входную дверь.

Вскоре после того прибыли адъютанты маршала Бертье, гг. полковники Флао, Ноайль, Бонгар и Кутейль²⁵. Они нашли дом просторным, удобным, хорошо обставленным и благодарили меня, как будто бы я принимал их из милости. То, что такой дом не мог оставаться *пустым*, я мог легко себе вообразить. Важно было, *кто станет им владеть*. И поскольку полковник Ноайль, которого я ввел в дом, хорошо

²⁵ Об этих офицерах см. выше, с. 81–83.

говорил *по-немецки*, я надеялся добиться на него большего влияния, нежели на кого-нибудь иного, и тем способствовать также более *сохранению*, нежели *расхищению* демидовской собственности. Кроме полковника Бонгара, остальные адъютанты очень хорошо говорили по-немецки. Меня все называли «*месье хозяин*» и загоняли, как зайца, поскольку то одному, то другому что-нибудь требовалось. Более всего заботы мне доставляли слуги, каждый из которых требовал от меня, чтобы я указал, куда ставить распакованные вещи. Пожалуй, больше ста раз я должен был мчаться вверх и вниз по лестницам, в конюшню, каретные сараи, по всем трем задним дворам, кухням и т.п. Сам я в продолжение всего дня ничего не ел и упал без сил полвторого полуночи как был одетый на диван в своей комнате.

Но, полежав, по моим расчетам, не так долго, я услышал свое имя, и в ворота дома постучались. Я тотчас узнал голос господина Чермака, поспешил туда и нашел его с женой и детьми, его служанку со служами и благородного комиссара, который достал лошадей для их венского экипажа и проводил сюда. Ранее я уже получил от г-на Чермака такой ответ на написанную ему мою записку: так как Бог столь чудесным образом защитил его и близких в его *старом* жилище, а в том, что Кнауф его *не принял*, была Божия воля, то он считает теперь своим долгом *остаться* далее в том доме, в каком находится сейчас и вполне довериться единому заступничеству Божию. Признаюсь, эта сила веры меня порадовала и немало ободрила и самого. Однако человек полагал, а Бог располагал. Божия воля была в том, что два с половиной дня, которые я должен был провести в доме г-на Чермака, стали средством, доставившим ему и близким многие месяцы безопасного и беззаботного пребывания в моем доме.

После того как поздно ночью они прибыли вместе с русской семьей из шести человек (той самой, которую я спас от разграбления предыдущей ночью, как я уже рассказывал), вошли ко мне и перетащили вещи из экипажа, добрый комиссар стал убеждать г-на Чермака как можно скорее *поспешить назад*, чтобы спасти еще сколько возможно из брошенной квартиры. Все далее распространявшийся пожар — который в понедельник пополудни начался в Рыбном ряду — уже настолько *приблизился* к их жилищу, что оставаться там для Чермаков было более не безопасно. Какую, однако, помочь попечение Божие подготовило чудесным образом уже до того! Если бы комиссар не достал лошадей и не проводил их, они принуждены были бы бросить экипаж и свои лучшие вещи, а на улице беженцев легко смогли бы обобрать до нитки и избить. В любом случае они должны были бы остаться в последующем, в самое

лютое время, без крыши над головой и без средств пропитания. То же было бы и со мной, если бы я не увидал полковника Ноайля и не привел бы его в Демидовский дом. Теперь же по милости Божией нам всем были обеспечены жилище и провизия, личная безопасность и, по меньшей мере, самые насущные потребности.

Вскоре г-н Чермак и комиссар вернулись обратно, не достигнув цели. За короткое время, какое заняла поездка до моего жилища, огонь уже почти достиг конца переулка, в середине которого находился дом священнослужителя, сдавшего квартиру г-ну Чермаку — сам дом был пока невредим. Это кажется невероятным, но тем не менее так и было. Невозможно представить себе, с какой быстротой целый квартал пожирало пламя, как я сам имел впоследствии возможность убедиться, когда ночью был на башенке над моим домом, откуда открывался широкий обзор.

Вокруг в ночной мгле были городские кварталы, как вдруг сразу над многими крышами показывались маленькие язычки пламени — после чего через короткое время весь квартал, где показывались эти предвестники пожара, походил на огненное море. Ибо все время в продолжение пожара в Москве дул сильный ветер, как будто специально, чтобы уничтожить город. Поднимающееся пламя ветер горизонтально распластывал по земле и колебал его сверху, так что все это походило скорее на огненное *mоре*, чем на обычный домашний пожар²⁶.

О спасении домов и тушении пожара нечего было и думать, хотя в начале пожара Наполеон, считавший его *случайным*, отдавал строгие приказы тушить огонь и лично появлялся на многих очагах пожара. Но когда он узнал, что имевшиеся пожарные помпы были увезены и несколько частей города загорались одновременно, он прекратил бесплодные попытки остановить огонь. Только поэтому стало возможным, что $\frac{4}{5}$ или $\frac{5}{6}$ такого пространного города, как Москва, могло сгореть за пять дней с понедельника по *субботу*²⁷. Наш добрый комиссар выбрал на следующий день себе квартиру в находившемся на-

²⁶ Сам Кузнецкий мост не сгорел, но пожар подошел очень близко: выгорели кварталы напротив Кузнецкого моста с другой стороны Неглинки, равно как и Китай-город. См. «Генеральный план столичного города Москвы» (1813 г.), <<http://www.retromap.ru/>>, последнее посещение 21.06.2013.

²⁷ Пожар бушевал с понедельника 2 сентября, дня вступления французов в Москву, по воскресенье 8 сентября. Ростопчин ранее грозился поджечь город и приказал эвакуировать весь огнегасительный снаряд и личный состав пожарных команд. Кутузов приказывал уничтожить военное снаряжение, которое не могло быть увезено. Поэтому многие очевидцы и современные историки возлагают ответственность за пожар преимущественно на российское

против доме, принадлежавшем полковнику Толбухину²⁸, и оставался в продолжение нескольких недель нашим другом и благодетелем. Я очень сокрушаюсь, что забыл, как его зовут. Получилось это потому, что с тех пор, как выяснилось, что он наш земляк, мы называли его только господин обер-комиссар, а не по имени.

Когда расквартированные в Демидовском доме полковники утром в среду проснулись, моя беготня возобновилась, но большим подспорьем мне были теперь г-н и мадам Чермак, с готовностью бравшие на себя то, что было в их силах. Нам особенно пригодились знания языка мадам Чермак, которая могла переводить устно и письменно там, где моих скучных знаний французского уже недоставало. В среду утром двое полковников потребовали от меня показать им ближайшую дорогу к Кремлю. Я повиновался и провел их через так называемые Никольские ворота*.

Когда мы подошли к Гостиному Двору*, то есть к лавкам, я увидал зрелище, несомненно единственное в своем роде. Тысячи солдат всех родов оружия и почти столько же простых людей в русской одежде были заняты опустошением открытых лавок и взламыванием с тем же намерением лавок еще запертых. Все притом шло мирно и полюбовно, хотя обе нации не понимали языка друг друга. Каждый брал, что ему нравилось, никто не мешал другому, потому что хватало на *всех*. Лишь часто кто-нибудь бросал на землю связку *прежде* схваченного, найдя в другой лавке что-то, что ему *больше* нравилось или казалось *более* нужным. Брошенное тотчас поднимал другой, уносил с собой или потом менял на что-то лучшее. Все зрелище напоминало *фуршет*, на котором каждый из приглашенных гостей выбирает *то*, что ему по вкусу. В открытых лавках, где обычно продавалось варенье, мародеры по очереди хватали его без всякой брезгливости грязными руками.

Хотя я бродил вокруг около двух часов, я ни разу не слышал ни одного разговора, тем более ссоры. Только раз я увидал, как французский солдат отнимал у русского кусок сукна, что ему удалось лишь с большим трудом, так как мужик не хотел его отпускать. Когда же солдат завладел сукном, мужик побежал вслед за ним и пытался его отобрать снова. Тогда солдат бросил ему мешок примерно с $\frac{3}{4}$ аршина* в длину, и немного меньше в ширину, и поспешил прочь. Мужик

Верховное командование (Безотосный, В.М., и др. Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. М., 2004. С. 482).

²⁸ В этом доме жили знакомые Розенштрауха, Арманы. См. ниже, сноска 57.

открыл мешок, заглянул внутрь и начал так дико кричать, что непонятно было, от радости или от горя, привлекая взгляды стоявших вокруг. Мужик кричал все громче и наконец побежал так быстро, как только мог, прижимая мешок обеими руками к груди, пока я не потерял его из виду, хотя и еще мог слышать издалека. Вероятно, мешок был наполнен ассигнациями, цену которым солдат не знал, а мужик оценил с первого взгляда. Отсюда его, выразившаяся в смехе и плаче, радость от этой неожиданно огромной находки.

Полковник Кутейль тоже взял у навьюченного сафьяновыми сапогами солдата одну пару зеленого цвета, которую тот ему охотно уступил. А когда после Кутейль увидал другого, со шкурками соболей, он выпросил себе одну, которую хотел разрезать и прикрепить в качестве опушки наверху сапог, потому что, как он пошутил, он находится в холодной *Rossии*.

Пока полковники пошли в Кремль, я проведал дом Шиллинга, где я долго должен был стучать, пока меня не впустили. Я нашел оставленного тут конторщика Зеттельмайера в добром здравии, поскольку никто из французов еще не появлялся в доме и никто его не беспокоил. Собственно разграбление, какое было допущено *впоследствии* и продолжалось совершенно открыто в течение 17 дней, тогда еще *в целом не имело места*²⁹. Все беспорядки происходили только, если находилась к тому удобная возможность, и могли производиться или *тайно*, или *ночью*, — так что и в этот день я благополучно добрался до дома.

Вечером пришли полковники и сказали нам, что незадолго до того, как они ушли из Кремля, Наполеон покинул город и перебрался в Петровское, так как он узнал, что этой ночью уже минированный Кремль должен взлететь на воздух³⁰. Они советовали нам в их

²⁹ Согласно ген. Сегюру, Наполеон в начале пытался остановить разграбление города. С окончанием пожара 8 сентября он не пресекал грабежи, однако затем его стало беспокоить падение дисциплины в армии. В результате для восстановления порядка «Был установлен очередной порядок мародерства, которое, подобно другим служебным обязанностям, было распределено между различными корпусами». (Поход в Москву в 1812 году: мемуары участника, французского генерала графа де Сегюра. М., 1911. С. 71).

³⁰ Сегюр также сообщает о слухах про минирование Кремля. 4 сентября во время бушевавшего пожара Наполеон покинул Кремль, перебравшись в Петровский замок, и вернулся туда 8 сентября с прекращением пожара. (*Séjour Ph. P. de. Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l'année 1812. Vol. 2. Paris — Bruxelles, 1825. P. 54, 77; Безотносный. Отечественная война 1812 года: Энциклопедия. С. 478.*)

сопровождении также следовать в Петровское, но я отклонил это по следующим причинам. Во-первых, потому, что я, вверяя себя милости Божией, не хотел покинуть моего жилища прежде, чем это заставит сделать крайняя нужда. Затем я считал, что мы, то есть семья г-на Чермака и все, кто у меня поместился, включая детей, будем в открытом поле в Петровском — ибо на пристанище там расчитывать не стоило — в меньшей безопасности, чем в городе. Наконец, легко было оставить свой дом, но гораздо сложнее вернуться в него обратно.

Когда же полковник Кутейль увидел, что мое решение непреклонно, он отпустил трех остальных полковников, своих товарищей, в Петровское, а сам остался, чтобы охранять нас. Он приказал также вернуть нескольких слуг, солдат и большую запряженную провиантскую повозку, чтобы в случае необходимости можно было увезти в Петровское детей и тех, кто не смог бы идти. Всю ночь мы провели во дворе и были довольно заняты тем, что немедленно тушили летевшие горящие массы, которые беспрестанно оседали на наших крышах и других воспламеняемых предметах, поскольку как раз в эту ночь горел один из ближайших к Кузнецкому мосту городских кварталов. На другое утро Наполеон снова вернулся в город, так как слух о минировании Кремля не подтвердился, а соответствующее расследование показало, что такого рода угрозы не существует.

Пожар бушевал днем и ночью, и, как я упоминал, «горело планомерно». А именно, каждую ночь (несмотря на усилившуюся бдительность французских властей) один из городских кварталов превращался в пепел — с расчетом на то, что огонь распространится далее без дополнительных усилий по поджиганию, чему способствовал со своей стороны продолжавшийся ветер.

Наконец, напали на след поджигателей и, как только кого-толовили, вешали на фонарном столбе на Тверском бульваре. Задержали одного и у нас на заднем дворе: при нем нашли горючие вещества в сухом и жидким виде, которые полковник Кутейль велел отобрать и доставить Наполеону. Самого же человека вывели за ворота и расстреляли на месте.

Пустырь за нашим домом стал собственно местом экзекуций, поэтому в так называемом Яблочном ряду, куда попадали с заднего двора Демидовского дома, всегда находилось несколько команд фузилеров. Я мало выходил на другие улицы, но Кузнецкий мост, Петровка, Церковный двор и узкая уличка, которая вела к главной кара-

ульне и генерал-губернаторскому дому³¹ — теперь там квартировал маршал Бертье, — были завалены трупами людей и лошадей, и через их уже разлагающиеся останки надо было переходить, чтобы можно было продолжить путь. А однажды некто устроил — или устроили — кощунственную выходку, подняв мертвцев с улицы и поместив в каждой нише углового дома (справа от Кузнецкого моста в сторону Петровки)³² один-два трупа в игривых позах — так что в каждой нише была комическая группа мертвцев.

Держась своего обещания, я ежедневно ходил к Шиллингову дому, почитая это святым долгом призыва, к которому меня обязывало мое согласие и благодарность за то, что его семейство взяло с собой мою младшую дочь. Я с удестеренным чувством воспринимал это как великое благодеяние теперь, когда мне стали ясны все опасности, которым подверглась бы моя дочь, если бы она *осталась* в Москве.

Поэтому я смело, доверяясь всемогущему попечению Божиему, шел и в Шиллингов дом, и *повсюду*, куда меня призывал долг. Напротив, я не делал ни шага, к которому долг *не призывал* меня; и таким образом я — что кажется невероятным — так и не видел Наполеона, хотя он каждый день около 3 часов пополудни проезжал близко к нашему заднему двору, и мне достаточно было бы подойти к задним воротам, чтобы увидеть его хоть раз. Стоявшие у нас на квартире полковники даже обижались на это равнодушные и несколько раз укоряли меня по этому поводу, что я каждый раз пытался извинить недостатком времени или вернуть их расположение обещанием исправить это в ближайшее время. Словом, довольно — я *не видел* Наполеона. Но тем смелее я шел *повсюду*, куда *долг* призывал меня.

Так случилось, что *без сопровождения* я не осмелился даже пойти посмотреть на свои товары и вещи, которые я, как мне казалось, надежно скрыл от разграбления и пожара, частично замуровав, а частично зарыв их в землю в пяти разных местах за восемь—десять дней до прихода французов у знакомых, которые жили далеко друг от друга. Лишь на шестой день после прихода неприятеля полковник Кутейль дал мне караульного для сопровождения. В четырех местах я нашел или все

³¹ Под «Церковным двором» скорее всего имеется в виду территория храма Воскресения Словущего с южной стороны каменного Кузнецкого моста, с двором и отдававшимися в наем церковными лавками (Сытин, П.В. История планировки и застройки Москвы. М., 1954. С. 166). Далее, очевидно, упоминается Столешников переулок.

³² Имеется в виду здание гостиницы между ул. Неглинная и Петровка (ныне Кузнецкий мост, д. 7, неоднократно перестроено).

сторевшим, — как в аптеке Воспитательного дома, где пожар из-за изобилия горючих материалов проник даже в *нижние* подвалы, считавшиеся недоступными для огня, — или ящики были взломаны и разграблены.

До пятого места я в тот день дойти не смог, но слышал вскоре после того от музыканта Зука³³, помогавшего мне донести и зарыть мои вещи, следующее: подвалы в доме бывшего портного, а ныне купца Беккера³⁴, в которых я хранил часть моих лучших товаров, и в особенности мои чемоданы, также взломаны и стоят открытыми. Зук утверждал, что он был в подвале, видел мои вскрытые чемоданы и много раскиданных вещей, на которых-де лежал мертвый французский солдат.

Прошло еще несколько дней, прежде чем мне снова удалось заполучить надежный конвой. Когда, наконец, это случилось, я отправился туда в сопровождении жандарма и нашел, как и утверждал Зук, дверь подвала взломанной. Я стал очень осторожно спускаться по лестнице вниз, поскольку мог предполагать, что труп, который там якобы был, уже разлагается, так как, по моим расчетам, он должен был там находиться более восьми дней. Однако я не чувствовал ни малейшего смрада, хотя уже вплотную приблизился к лежавшему солдату. Мои чемоданы и ящики действительно были пусты, много пудов шелка-сырца валялось разбросанными в подвале — надо думать, поскольку этот товар не представлял интереса для мародеров. На этом шелке лежал и солдат, а под его головой я увидел мой *дневник*, который я начал в 1788 г. и продолжал вести в течение 24 лет.

Велика была моя радость от этой важной находки, и я наклонился, чтобы взять дневник из-под головы умершего, что мне легко удалось сделать. Однако в этот самый момент мнимый труп начал бурчать ворчливым тоном, как тот, кого тревожат во сне. Я испугался,

³³ Флейтист из Гамбурга по фамилии Зук/Suck был нанят в 1804 г. Немецким театром в Санкт-Петербурге, в одно время с Розенштраухом. Источники указывают на музыканта с той же фамилией в оркестре Бремена в 1807–1808 и флейтиста в 1815 г.; в 1831 г. учитель музыки Карл Зук скончался в Штадельзунде. Возможно, во всех случаях идет речь об одном и том же лице, упоминаемом Розенштраухом. См. *Theaternotizen* (Von einem Liebhaber eingesandt) // Hamburg und Altona: Ein Journal zur Geschichte der Zeit, der Sitten und des Geschmacks [sic], 1804 (3). Heft 3. S. 343–345; Das Bremer Theater, im sechzehnten Theaterjahr // Almanach fürs Theater 1809 von Aug. Wilh. Iffland. Berlin, 1809. S. 113–121, здесь S.117; Bremen // Allgemeine Musikalische Zeitung, Nr. 21 (24.05.1815). Стлб. 359–364, здесь стлб. 362; Schul- und Universitätsnachrichten, Beförderungen und Ehrenbeziegungen // Jahrbücher für Philologie und Paedagogik, oder Kritische Bibliothek für das Schul- und Unterrichtswesen, 3. Jahrgang. Bd. 9. Heft 2. Leipzig, 1823. S. 216–240, здесь 237.

³⁴ Информацию об этом лице мне обнаружить не удалось.

позвал жандарма и сказал ему, что этот солдат лежит тут уже 8 дней и все еще жив, и попросил его доложить об этом в соответствующие инстанции. Сомневаюсь, однако, чтобы это было сделано, потому что я имел возможность увидеть нечто подобное другой раз.

Позже, когда по улицам можно было ходить с большей безопасностью — хотя во все это время это не было совсем безопасно, — я провожал актера Хальтенхофа³⁵ в его квартиру, и неподалеку от Красных ворот³⁶ он сказал: «Надо свернуть в сторону, в проходе Красных ворот я видел несколько дней назад лежавшего в полной униформе мертвого гусара, который сейчас, должно быть, уже совсем разложился». Привыкнув более Хальтенхофа к подобным сценам, я пошел прямо к Красным воротам, все ближе, не чувствуя ни малейшего смрада, пока, наконец, не приблизился к гусару вплотную и не нашел в нем еще признаков жизни.

Невозможно даже представить себе хаос в тогдашней армии, находившейся в Москве и состоявшей из столь многих разнообразных народов и наций. Дисциплины фактически более не существовало, а Наполеон был или слишком умен, или слишком слаб для того, чтобы восстановить ее со своей привычной строгостью. Можно понять, как жестоко обманулась армия, которая дошла до Москвы, прилагая огромные усилия, терпя на пути к ней крайнюю нужду, ибо города и деревни попадались на пути не так часто, как в других странах. И вот,

³⁵ Георг Фридрих Хальтенхоф (Федор Богданович Гальтенгоф) — композитор и оперный тенор. С апреля 1799 г. до Пасхи 1802 г. он работал в Веймаре, затем вошел в труппу Немецкого театра в Санкт-Петербурге. В 1805—1806 гг. работал в труппе Немецкого театра Карла Штейнсберга в Москве, в июле 1807 г. в Москве его видел Николай Иванович Тургенев. Немецкий театральный альманах 1811 г. сообщает, что он перебрался учителем в Кронштадт. Что он делал в 1812 г. в Москве, неясно. В 1813—1816 гг. Хальтенхоф снова в труппе Немецкого театра Санкт-Петербурга, с 1820 по 1830 г. — учитель музыки и пения в Царскосельском лицее. Скончался в 1847 г. Schillers Werke: Nationalausgabe. Bd. 38. Weimar, 2000. S. 735; Губкина. Немецкий музыкальный театр. С. 39, 226—227, 341; Архив братьев Тургеневых [в 6 вып.]. Под ред. Е.И. Тарасова. Вып. 1. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1806—1811 годы. Том 1. СПб., 1911. С. 80; St. Petersburger Kaiserliches Deutsches Hoftheater // Almanach fürs Theater 1811 von Aug. Wilh. Iffland. Berlin, 1811. S. 289—293, здесь 291; Селезнев, И. Исторический очерк Императорского, бывшего Царскосельского, ныне Александровского лицея за первое его пятидесятилетие с 1811 то по 1861 год. СПб., 1861. С. 135; Regesta ausgabe «Briefe an Goethe» <http://ora-web.swkk.de/goe_reg_online/regest.vollanzeige_bio?id=37815&p_lfdnr=0&s_par=h&n_par=1>, последнее посещение 16.09.2013.

³⁶ Красные ворота, стоявшие на одноименной площади (1753 г., арх. Д.В. Ухтомский), снесены в 1927 г.

Москва должна была с лихвой вознаградить за все перенесенные тяготы — и что же они нашли здесь? Горящий город, разоренные магазины и припасы; отсутствовал даже хлеб. Фуражка не было вовсе. Не найти ни мяса, ни сала. Большинство не имели даже крыши над головой. Ужасающая вонь от дурно пахнущих вещей, сгоревших в большом количестве, трупов и падали была невыносима.

Даже разграбление города в течение семнадцати дней, разрешенное Наполеоном, принесло плоды лишь немногим. Золотых и серебряных монет находили мало. Ассигнации, особенно старые и истерты, для французов не представляли ценности — лишь позже развилась торговля русскими банкнотами, которые продавали не по стоимости, а пачками за золотые и серебряные монеты, причем некоторые жители, которые пустились в эту торговлю, заработали крупные суммы³⁷. Те богато обставленные и хорошо обустроенные дома, которые не сгорели, занимали бесчисленные генералы и штаб-офицеры. Поэтому солдаты-мародеры, несмотря на то что они обычно ходили массами с топорами, ломами и брали с собой плотников, находили для себя мало ценного, что бы можно было унести с собой.

Засветло нечего было опасаться, что меня потревожат в моем жилище. Надпись на воротах, много прислути и солдат, которые всегда были во дворе, отпугивали мародеров. Но не было почти ни одной ночи, чтобы в мою комнату не вламывался целый рой мародеров через окна, которые были на первом этаже дома. Без неустанной помощи доброго полковника Кутейля, чья спальня находилась ровно над моей, я не избежал бы по меньшей мере многочисленных побоев.

Как только такая туча приближалась, я стучал заранее приготовленной для того палкой в потолок моей комнаты и тотчас полковник спешил на помощь со шпагой и пистолетом в руках. Если он был не в униформе, иногда приходилось тяжко и ему, потому что мародеры ссылались на разрешение Наполеона. В домах напротив моего жилища я часто наблюдал днем форменные стычки между мародерствующими солдатами и офицерами, которые жили не в самих магазинах, а в дворовых строениях, тогда как уличные флигеля снимали модистки. Некоторые солдаты поплатились за это жизнью, так как в таких случаях, чтобы защитить хорошенъких модисток, сбегалось много офицеров, которые квартировали на Кузнецком мосту. Солдаты же наставляли, что щадить следует лишь дома, в которых офицеры действительно квартировали. Это может служить доказательством, насколько

³⁷ Среди них, возможно, был и сам Розенштраух. См. выше, с. 86–87.

слабой была в это время субординация и как мало значила человеческая жизнь.

Офицеры могли лучше использовать преимущества своего положения. Если они квартировали в богатом и хорошо обустроенным доме и находили тайные припасы или тайники, самое ценное и лучшее они присваивали себе и приглашали знакомых и друзей взять то, что им уже было не нужно или то, что они уже не рассчитывали увезти. Таким образом, и наши четыре полковника почти ежедневно приносили домой самые изящные и дорогие вещи, которые они брали с постоя своих друзей с их позволения. Однако *своей* прислуге они не позволяли открывать в Демидовском доме запертые амбары* и кладовые*, равно как и искать *спрятанные* в доме вещи.

Немедленно по возвращении русских властей в Москву я сообщил, что там, где квартировали французские офицеры, оставалось, по их словам, ценных вещей на сумму более 16 000 франков³⁸. Хотя перед уходом они *подарили* их мне, я не мог присвоить их себе по праву, потому что это была чужая собственность, и не хотел, потому что эти вещи были краденые. Пристав нашей части Гранжан³⁹ принял вещи от меня, и чужая мебель была перенесена в дом графа Ростопчина на Лубянку, поскольку, естественно, невозможно было понять, из каких домов ее украли. Демидов же отнюдь не потерпел никакого убытка, — даже наоборот, в доме еще осталось кое-что из того, что полиция по тогдашним обстоятельствам не посчитала стоящим усилий забирать.

Часто случалось также, что наши квартиранты по возвращении от своих друзей приносили мне подарки — которые им, впрочем, ничего *не стоили*. Клянусь Богом — несмотря на все уговоры, меня ни разу не убедили принять что-либо, в том числе и дорогие вещи. Я не мог назвать настоящую причину отказа — то, что вещи были краденые, — и всегда говорил к своему извинению следующее: если однажды прежний владелец этих вещей найдет их на *моей* квартире, он может легко подумать или сказать, что там, где находится эта часть моего разграбленного имущества, должны или могут быть и остальные из моих потерь. Этими отказами я отнюдь не потерял ничего в глазах этих бравых офицеров — скорее наоборот, заметно выиграл в их уважении ко мне.

³⁸ Розенштраух указывает ниже (с. 252), что один франк соответствовал в Москве при французы по стоимости одному рублю ассигнациями.

³⁹ Иван Петрович Гранжан был в 1812 г. в чине надворного советника приставом Мясницкой части (Щукин П.И. (ред.). Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года. Т. 1–10. М., 1897–1908. Т. 2. С. 137–138).

Однажды я должен был приложить все усилия, чтобы не без риска для себя остановить отставного капитана, поляка по происхождению, который собрал нескольких дворников* Демидова и вместе с ними занимался грабежами по городу, а затем хотел перенести все награбленное в наш дом. Я принял этого человека, вместе с его товаркой, в своем жилище, которые было открыто для *трапезы* всем, кто хотел прийти, и приютившее столько народа, сколько в нем помещалось. Через несколько дней я увидел, как он и его упомянутые компании тащат в дом тяжелые узлы. Я тотчас поспешил к задней калитке, встал у входа и спросил дворников*, что они несут. Услышав в ответ: «То, что мы нашли в лавках», я стал ругать их как воров и разбойников, за их греховное покушение на собственность их русских братьев. Я сказал им, что никогда не допущу, чтобы такие вещи несли домой. Я не могу запретить этого французским солдатам, но запрещаю им как русским и крепостным Демидова.

Тут вмешался капитан — он хотел оттеснить меня от калитки и приказал людям заносить тюки во двор. Я стал спорить с ним как с главарем, осыпая его справедливыми упреками. Я сказал ему, что он позорит офицерскую форму, употребляя ее во зло для грабежа. Мне наверняка пришлось бы плохо, если бы Бог не послал мне в этот момент полковника Кутейля — тот подошел и осведомился о причинах нашего спора. Я изложил ему позорное поведение этого человека, кипя негодованием, которое полковник со мной совершенно разделял, приказав капитану сейчас же убраться, если он не хочет, чтобы его расстреляли на месте.

Перепуганный капитан попросил разрешить забрать с собой находившуюся с ним в доме его Дульцинею и вещи. Полковник послал меня принести вещи и привести женщину: и то и другое выставили вон с заднего двора. Дворникам* было приказано вернуть вещи туда, где их взяли. У меня, однако, есть причины подозревать, что вещи они где-то спрятали, перенеся их в дом при подходящей возможности. Поэтому что полиция нашла после у людей Демидова много награбленного добра, которое было у них отобрано, а сами они заслуженно наказаны. Вероятно, упомянутому капитану каким-то образом удалось добиться покровительства французских властей, ибо он продолжал носить *русскую* форму, честь которой он, однако, подобным обращением опозорил.

Остальные трое полковников, которым полковник Кутейль рассказал об этом происшествии, похвалили меня и оказывали мне с этого дня особое уважение, приметное для меня прежде всего, когда в

изнеможении от всех усилий я слег больным. Они приказывали своим людям не производить шума ни во дворе, ни поднимаясь и спускаясь по лестницам. И даже если они возвращались на квартиру поздно ночью, они никогда не поднимались к себе, прежде чем с участием не справиться о моем самочувствии. Однажды они даже принесли с императорской кухни лопатку косули, подстреленной для Наполеона, чтобы сварить мне суп.

В конце сентября вечером при ясной погоде я заметил на горизонте три больших и очень высоких огненных столпа, которые образовывали вместе равносторонний треугольник. Столбы были очень высокие и правильных пропорций. Я смотрел и восхищался этим величественным явлением природы — скорее с благоговением, чем со страхом, ни о чем особом при этом не думая. Затем на двор вышел полковник Кутейль, и, когда я обратил его внимание на это явление, он закричал в ужасе, как будто увидев отверстую преисподнюю. Он позвал своих товарищей, и они также выражали свои чувства схожим образом. Четверо храбрых воинов были так напуганы, истолковывая эти столбы с таким ужасом как предвестники несчастий, и так много об этом говорили, что не по себе сделалось и мне, так что и у меня на голове волосы стали дыбом. Меня тоже охватил ужас, как будто было уготовано большое несчастье, хотя я и не понимал, *чего* собственно мне бояться? Вряд ли высказывания других людей в подобном случае смогли бы оказать на меня такое воздействие. Но поведение этих четырех храбрых воинов было настолько из ряда вон выходящим, что я невольно этому поддался и принужден был испытать, насколько *заразителен* страх одного для многих остальных.

Я сказал уже, что все дни держал у себя открытый стол, за которым мог присутствовать каждый, кто хотел прийти. Делалось это следующим образом: у меня было в избытке запасов ржаной муки, сечки, квашеной капусты и соли, поскольку ничего из этого французы не трогали, и уж тем более не ели. Итак, я велел печь хлеб и варить в больших котлах кашу и кислую капусту. Но поскольку мяса, сала и масла не было, я сдабривал эти блюда *перцем* и добавлял еще эстрагонного уксуса — коего у меня в подвале было до 500 бутылок. Остальное же восполнял *голод*. Тот, кто видел, с каким аппетитом ест за столом и стар, и млад, должен был бы подумать, что мы вкушаем самые изысканные блюда.

Когда вносили еду, запах эстрагонного уксуса проникал во весь дом. Это возбуждало любопытство наших полковников, и, после того как они попробовали уксуса, они взяли одну бутылку с собой

в Кремль. Наполеон уверил, что он и в Париже не пробовал лучшего уксуса, и на другой день ко мне пришел префект двора маршал Дюрок⁴⁰. Наговорив много комплиментов по поводу всего хорошего, что ему рассказали обо мне адъютанты Бертье, он сказал: уксус, который принесли вчера господа адъютанты, так понравился Наполеону, что он приказал купить весь мой запас для императорской кухни. И осведомился затем о цене и количестве оставшихся бутылок. Я ответил, что ранее продавал бутылку по 5 рублей, что по французскому курсу составляло 5 франков, а свой запас я оценил всего в 200 бутылей, — остальное мне требовалось для нашей пищи, и я умолчал об этом. «Хорошо, — сказал маршал, — тогда 200 бутылок для императора». Я собрался с духом и спросил, когда я получу причитающиеся мне 1000 франков? Дюрок очень добродушно посмотрел на меня, и сказал, любезно похлопав по плечу: «Оставьте ваш уксус себе. У императора уксус будет, но вы денег не получите. Я скажу, что весь ваш запас уже вышел».

Другой раз я не отделался бы так легко, если бы меня не вывела из затруднения одна женщина, которая была отнюдь не образцом добродетели. Она жила наискось от меня, была очень красива и пользовалась не самой лучшей репутацией. Как-то утром она подошла ко мне и спросила, нет ли у меня ножниц, которые бы я мог ей уступить за деньги? Я поиском нашел одни, правда, несколько заржавевшие, — которые я поэтому оставил, так как не стоило труда паковать их [с остальными]. Она спросила о цене, я же отказался взять с нее какую-либо плату, — ножницы были заржавевшие, так что и говорить было не о чем. Пока мы не могли прийти к согласию — она желала заплатить, я ничего не хотел брать, — вошел дворцовый комиссар и спросил, могу ли я продать чернил и сколько стоит пузырек. Этот товар я тоже не захотел паковать с остальными, — как и вообще все жидкости, которые у меня были в подвале, потому что их было тяжело упаковывать и перевозить. Именно они впоследствии принесли мне большую выгоду, хотя я тогда их и бросил на произвол судьбы, в то время как лучшие свои товары и вещи, которые я спрятал по другим местам, пропали.

Я показал комиссару мои чернила, пузырек по франку, и он приказал запаковать 100 пузырьков, которые я тотчас уложил в большой

⁴⁰ Жеро Кристоф Мишель Дюрок (Géraud Christophe Michel Duroc) (1772–1813), герцог Фриульский, занимая пост обергофмаршала двора, отвечал за личное обеспечение Наполеона. Убит в битве при Бауцене в 1813 г.

короб. Комиссар подошел к окну, кликнул двух проходивших солдат и приказал им унести короб. Но когда я спросил о деньгах, комиссар чрезвычайно рассердился и посчитал за дерзость, что я осмелился требовать деньги с дворцового комиссара, потому что чернила предназначались для императорской канцелярии. Под тяжестью этого аргумента я уже хотел смириться с моей потерей и подумал, что лучше отдать задаром 100 пузырьков чернил, чем 200 бутылей эстрагонного уксусу. Но тут против комиссара с героическим самообладанием вступилась моя присутствовавшая соседка и повелительно сказала: «Или вы заплатите за чернила, или не смейте трогать короб!» Вежливый француз осведомился, кто вы, мадам? Та отвечала, как будто это делало ей величайшую честь: «Я любовница генерала, который живет напротив, и прямо сейчас выглядывает из окна. Я тотчас позву его, чтобы он объяснил вам — позор для великого императора, если его дворцовые комиссары грабят от его имени. То, что он вынужден позволить своим солдатам, великий Наполеон, конечно, не попустит делать для себя своим дворцовым комиссарам». Комиссар поклонился, вынул кошелек, положил 5 пол-40 франковых монет, приказал взять короб, вежливо откланялся и ушел. Так было заплачено за мои ножницы, а дама с королевским достоинством обещала мне и в дальнейшем свою протекцию и велела в подобных случаях воспользоваться ее помощью — чего, слава Богу, больше не понадобилось.

Спустя три недели после вступления Наполеона в Москву он приказал 3000 унтер-офицерам со всей армии отправиться во Францию в качестве строевых кадров для армейского пополнения⁴¹. Большинство генералов, офицеров и т.п. использовали эту возможность, чтобы отправить свои ценности, присвоенные ими в России, с этим, как они считали, надежным сопровождением во Францию. К обозу присоединились все, кто дошел из-за границы вместе с армией до Москвы, — прислуга, маркитанты, вообще все пришедшие добровольно, не желавшие более оставаться и собирающиеся покинуть Россию. Наконец,

⁴¹ Один из французских офицеров вспоминал позднее: «Кажется, 12 октября (30 сентября ст. ст. — А.М.) полки получили приказ отослать строевые кадры от одного батальона в рекрутские депо каждого корпуса, чтобы подготовить рекрутов, которые должны были туда прибыть <...> Все эти строевые кадры армии составили около 700–800 человек <...> Было также много больных и раненых генералов и офицеров всех рангов, которых мы должны были сопровождать». (*Mémoires du lieutenant Aubin Dutheillet de Lamothe. Bruxelles, 1899. P. 50–53*). Примерно в то же время из Москвы отправились конвои с ранеными солдатами, военными трофеями и гражданскими лицами.

к обозу решили присоединиться некоторые французы, итальянцы и другие иностранцы, прожившие многие годы в России, надеясь в этом случае выехать за русскую границу без паспортов. Так собрались многие сотни повозок всех родов, обоз был необозримо длинным.

Однако их надежды были жестоко обмануты, потому что весь обоз попал в руки казакам, которые при сем случае захватили несказанные сокровища разного рода. В особенности много им попалось *слитков серебра* из переправленной *церковной утвари*, которую грабители церквей велели переплавить в слитки ради удобства перевозки. Многие москвичи обогатились при этом, добавляя при переплавке в чистое серебро другие металлы, так что они возвращали эквивалент переплавленной утвари *по весу*, но не по ценности. Никто при этом не мог заподозрить обмана, ибо на словах они выказывали себя горячими приверженцами французов.

Из поехавших с обозом жителей Москвы многие вернулись затем обратно в самом жалком состоянии, больные, едва одетые, — в таком бедственном виде, что большинство из них вскоре умерли. Эта печальная участь постигла особенно французских дам, обращение с которыми казаков было далеко от галантного. Я при этой оказии приобрел дойную корову, которая дала мне больше, чем принесли бы 1000 рублей денег.

Это приобретение случилось так: еще в первые дни, когда всеобщий грабеж еще не был разрешен, ко мне пришел купец по фамилии Ларме⁴² — который также пользовался покровительством офицеров,

⁴² По 5-й ревизии 1794 г. имелись следующие данные по Москве: «3 гильдии купец Жан Ларме, вдов 52; у него дети: дочь Генриета 13, да сын Петр 10; в купечество прибыл в 1775 г. октября 7 дня города Парижа из французов вечно». В 1811 г., когда Жан/Иван Ларме (Larmé) умер, сын Петр Иванович, 26 лет с женой 17 лет и малолетней дочерью, состоял купцом второй гильдии. В 1812 г., согласно воспоминаниям П.А. Волконского, сотрудничал с французами: «Из числа вышеозначенных шпионов многократно приходил в дом князя Волконского живший у полковника Сергея Николаевича Голицына водочный мастер, получивший годового жалованья 10 000, Петр Иванов, сын Ларме, с Французским генералом, правящим должность коменданта, для обысков в доме под видом желания достать для генерала людей, коляску и продажных вин; а наконец оказался он, Ларме, уже офицером Французской службы, которой с вестовым разъезжал по Москве». В письме оберполицмейстеру Москвы П.А. Ивашкину кн. С.Н. Голицын характеризовал Ларме как «бывшего над заводами моими и имением управляющего» и утверждал, что Ларме служил французам, носил их «знаки отличия» и продал малолетнего крепостного Голицына французскому командиру. В послевоенном расследовании полиции Ларме числится среди иностранцев, покинувших Москву с французской армией. В 1814 г. вышел

квартировавших у него, — и спросил, не хочу ли я купить в складчину двух коров, которые кто-то хотел продать по 80 рублей, потому что боялся, что их отнимут у него силой. Он думал забить коров и поделить мясо напополам, частью чтобы съесть свежим, частью для засолки. Я дал ему 40 рублей и посоветовал сначала забить не обеих, а только одну корову, чтобы у нас и позже было свежее мясо. Это его убедило, но он попросил отвести еще не забитую корову в мой дом, потому что у него не только не было корма, но и никого, кто мог бы смотреть за скотиной. Я согласился, и в ту же ночь он привел корову, а на следующий день несколько пудов парного мяса, с которым я обходился очень экономно, и все же вскоре оно закончилось.

Вскоре начался повальный грабеж, я не осмеливался, как уже упоминал, выходить из дома не чувствуя, что призван к этому. Я не видел и не слышал ничего о Ларме, пока он однажды не пришел сам и не извинился, что принес так мало парного мяса, хотя мне полагалась половина коровы. Его квартиранты присвоили себе все, что оставалось, — то же случилось бы, вероятно, и с другой коровой, если бы мы сейчас ее забили. Посему он оставлял на мое усмотрение, забить ли находящуюся у меня корову в моем доме и отдать ей столько парного мяса, сколько я от него получил, или оставить корову живой.

Между тем обстоятельства с этой коровой сложились гораздо благоприятнее. Когда ее привели на двор, одна старуха сказала, что хочет попробовать, не дойная ли еще корова, потому что она, похоже, незадолго до того отелилась. Попытка удалась, хотя получилось надоить молока объемом не более пивной кружки. Впоследствии благодаря хорошему уходу и кормежке молока стало больше. Для меня это было величайшей находкой, потому что по многолетней привычке из всех блюд и напитков желанней всего мне была чашка кофе, но я должен был от него отказаться, коль скоро не мог пить кофе без молока.

Мне представилась и возможность оказать услуги доброму комиссару, который стольким любезно услужил нам. Он жил, как я уже заметил, напротив нас, так же питался почти исключительно кофе и, как и я, находил его вкусным только с молоком, поэтому я честно делился с ним тем молоком, которое корова ежедневно давала.

из купеческого сословия, став мещанином, затем в 1817 г. вновь вошел в купечество. Умер в 1830 г. купцом третьей гильдии. Найденов. Материалы. Т. 4 [1887]. С. 456; Т. 5. С. 225; Т. 6 [1887]. С. 155; Т. 7 [1888]. С. 164; Волконский, П. У французов в московском плена 1812 года. С. 359; Щукин. Бумаги. Т. 2. С. 37; Т. 5. С. 132–333.

Затем купец Ларме пришел попрощаться со мною, потому что тоже собрался с упомянутым обозом ехать за границу, и отказался по такому случаю от своей доли живой коровы в любой форме. Это было мне тем более на руку, что я смог найти ей такое хорошее применение, не забивая. У этого Ларме я спрятал пять ящиков со своими лучшими товарами, и все они пропали. Зато перед приходом французов он, в свою очередь, принес мне три дорожные аптечки, чтобы спрятать их где-нибудь в моем жилище (у него все уже было замуровано). Ларме только что получил их обратно от купца, которому он отдавал их на комиссию, и не желал нести их обратно в свой дом. Эти дорожные аптечки остались в моем доме нетронутыми, и я смог их отдать ему в целости и сохранности, когда вместе с остальными вышедшиими с французским обозом из Москвы он вернулся ограбленный и в лохмотьях. Эти аптечки очень пригодились теперь Ларме, он мог их продать дорого, потому что медикаменты были в большом дефиците.

Если бы я все свое имущество оставил у себя в доме, а не спрятал по другим местам, то я не только ничего бы не потерял, но и смог бы выручить за свои товары большие суммы, так как все было чудовищно дорого, при этом не только у офицеров, но и у простых солдат было много денег, которые они не могли употребить, так как нечего было купить. Под защитой стоявших у нас полковников я мог бы свободно торговаться, а они бы мне с их разветвленными знакомствами и при том общем уважении, которым они пользовались, поставляли бы мне клиентов, поскольку хорошо ко мне относились.

Но великим знамением милости Божией мне недостойному стало, что я должен был потерять все свое имение. Ибо никогда не поверили бы, что *сохранением* своей собственности я обязан *счастливому стечению обстоятельств*. Напротив, это возбудило бы против меня неустранимое подозрение, что в покинул в ноябре прошлого года Петербург и учредил в Москве новое заведение только затем, что я — как, к несчастью, поступили многие — состоял в тайном умысле с врагами отечества и только этому обстоятельству должно приписать спасение моей персоны и моего имения. Я могу поистине утверждать, что потеря всего имущества не истorgiaла у меня ни единой слезы, ни даже одного-единственного вздоха. Я, напротив, считал себя богачом, видя ежедневно людей, лишенных одежды и прикрытых лишь циновками, без крова, голодных и скитающихся, прежде владельцев больших домов и значительных состояний. У меня же тогда осталось лишь то, что я не считал нужным упаковать и спрятать. Но, уже имея перед глазами опыт, я верил, что всемогущество Божие безгранично

и *немногое* может обратить во множество. Неоценимым преимуществом было уже то, что мое жилище и обстановка моего магазина сохранились невредимы. Благодаря этому я смог начать торговать товарами, которые мне еженедельно высыпал из Петербурга мой сын, *раньше* [остальных], как только неприятель был изгнан из России — тогда как прочие купцы, бежавшие из Москвы, даже если они не потеряли свои товары, долго не могли открыть магазина за недостатком помещения. Поэтому-то я считаю милосердным, хотя и незаслуженным, попечением Божиим то, что я получил ложное известие в тот момент, когда собирался покинуть Москву, *не мог* позже выехать и *должен был* остаться. Отсюда многочисленные случаи вызволения из опасностей укрепили мою веру, мое доверие к всемогущему заступничеству Бога, этим обогатился мой опыт и была заложена основа моего позднейшего возросшего благосостояния.

Это сделало возможным и то, что спустя 8 лет я стал пастором, и то, что до сего дня могу с Божией помощью проповедовать Евангелие безвозмездно, — иначе говоря, чтобы *прожить*, мне не требуется принимать оплату или вознаграждение за свое служение⁴³. Если бы я, уже будучи тогда готовым к отъезду, покинул Москву, то я либо вообще не вернулся бы туда, либо вернулся лишь затем, чтобы узнать о пропаже своих оставленных товаров, — и у меня не было бы ни желания, ни средств учредить *второе* заведение, коль скоро первое было столь несчастливым.

После этого отступления я вернусь к течению тогдашних событий. Чтобы избежать ограбления, каждый одевался так просто и бедно, как только мог, и во все это время я помню только об одном виденном мной московском жителе, который, как и раньше, свободно передвигался в пристойном штатском платье, с орденом Св. Владимира 4-го класса на груди. Вероятно, у него была охранная грамота, которая защищала его от грабежа: это я заключаю из того, что граф Ростопчин по возвращении поступил с ним очень сурово, хотя он был благодетелем и ангелом-спасителем для многих сотен людей, которые

⁴³ Подводя итог сделанному Розенштраухом, Александр Дёллен пишет в своей истории лютеранской церкви в Харькове, что «ему преимущественно местные лютеране были обязаны тем, что у них уже был храм Божий, а вскоре появились и великолепные дома для пастора и школы. Потому что не только все свое годовое жалование и все доходы от службы, но и значительную часть своего прежде приобретенного личного имения он пожертвовал самым скромным образом, как будто это само собой разумеется, нуждам своей общины» (*Döllen, Kurze Geschichte. S. 30*).

без его помощи остались бы без крыши над головой и без хлеба, если бы он не дал им и то и другое. Звали его, если не ошибаюсь, Вишневский⁴⁴. Он сам отыскивал скитавшихся, принимал всех, кто пришел к нему, и предоставлял им пристанище и пропитание в благотворительном учреждении, или больнице, или госпитале — не знаю, как называется это длинное одноэтажное здание по правую руку за Красными воротами, если идти от Мясницкой. Более трехсот человек нашли там кров и пищу⁴⁵. Таким же пристанищем для многих людей стал Императорский Воспитательный дом.

Мне господин Вишневский также как-то оказал немаловажную услугу. Однажды утром около восьми на короткой тележке, которую толкал старый дьячок, мимо нашего дома провезли в сопровождении трех вооруженных солдат больного молодого человека, на котором была лишь белая, очень тонкая рубашка. Мне было жаль и больного изящного молодого человека, и старика, который должен был его везти и который казался совершенно изможденным. Около 11 часов я вышел из Шиллингова дома, куда ходил ежедневно, и, когда я хотел свернуть с переулка на Лубянку, навстречу со стороны центра попались солдаты с больным и с мокрым от пота стариком, которых я видел утром. Солдаты свирепо закричали на меня, и еще прежде, чем я смог уразуметь, чего они собственно хотят, услышал за спиной *по-немецки*: «Они ищут госпиталь, покажите им ближайший дом, иначе вам придется толкать тележку с больным». Это был тот самый г-н Вишневский, с которым я никогда не говорил, и не знал его, но он слышал, стоя рядом со мной, слова солдат и дал мне этот совет. Я тотчас показал на стоявший совсем рядом графский Ростопчинский дом и ска-

⁴⁴ «Вишневский Гавриил Федорович, надворный советник, чиновник Кремлевской экспедиции. Его имя значится в списке лиц, привлеченных к суду по подозрению в сотрудничестве с французской администрацией. На следствие, которое проводилось особой сенатской комиссией, выяснилось, что Вишневскому, напротив, были обязаны сохранением Запасного дворца, спасением жизни пяти приходских священников, а также около 500 разного звания, и ограждения от разграбления их имущества» (1812 год в воспоминаниях современников. Под ред. А.Г. Тартаковского. М., 1995. С. 184–185).

⁴⁵ «Запасной (или Запасный) дворец, построенный в 1753 г., находился в Басманной части Москвы, на углу Красноворотной площади и Новой Басманной улицы. Дворец принадлежал дворцовому ведомству и служил резиденцией членам императорской фамилии и свите во время их пребывания в Москве. <...> Императорский Запасной дворец в Москве, так же как и Воспитательный дом, был каменный и поэтому послужил пристанищем для москвичей в неспокойное время в сентябре — начале октября 1812 г.» (1812 год в воспоминаниях современников. С. 49).

зал: «Так вот же госпиталь, нечего и искать». Солдаты поблагодарили меня и дали возчику понять жестами и словами, которых он не понимал, что ему нужно сделать еще несколько шагов, чтобы избавиться от своей ноши. Эта ложь по необходимости была нужна не только для моего самосохранения, но и сохранения столь многих живших в моем доме. Ибо, если бы я согласился взять тележку, я бы, вероятно, никогда больше не увидал моего жилища и моих квартиронтов. Беспокойство, страхи всякого рода, плохая непривычная пища, недосып и беспрестанная занятость так ослабили мой организм, что я не смог бы увезти тележку с больным и на 50 шагов. Удары прикладов сопровождающих солдат не *придали бы мне сил*, а еще более ослабили. Как только процессия с больным двинулась дальше, я побежал что было сил в свое жилище на близлежащем Кузнецком мосту — что мне и удалось. Я никогда не узнал бы по имени своего спасителя, если бы господин Вишневский по возвращении домой не рассказал об этом случае актеру Хальтенхофу, который и сообщил мне позже имя г-на Вишневского, и рассказал о всех его каждодневных благодеяниях для всех, кто жил в тамошнем доме. Уже поздно вечером больной, которого я уже дважды видел в этот день, проследовал в том же сопровождении мимо моих окон по Кузнецкому мосту.

Как долго ни оставался нетронутым склад товаров Шиллинга, наконец был »» разграблен и он. Вид был совершенно удручающий. Сырой кофе лежал на дворе, вываленный на землю слоем в фут высотой. Ящики, в которых были упакованы его столовые вина, были открыты с узкой стороны, — драгоценная жидкость выливалась на двор, потому что с каждой бутылью, которую выдергивали таким неудобным способом, приходилось разбить сразу несколько других бутылок. Пока не кончались запасы вина, мародеры оставались преимущественно на нижнем этаже. Верхние этажи были пусты, из Шиллингов остался только приказчик Зеттельмайер; ему хорошо удавалось договариваться с мародерами, и, пока хорошее вино не кончалось, ему лично не причиняли вреда. Но однажды я все же обнаружил его лежащим на канапе, почти без сознания от пережитых побоев. Он жаловался мне на свои несчастья, но все же еще не терял мужества, собираясь по-прежнему оставаться в доме. Как раз в *этот* день — но только один этот раз — мне пришлось пережить в Шиллинговом доме попеременно два приключения. Когда в этот день я хотел уходить от Зеттельмайера, мне попался шатавшийся полуপьяный солдат и потребовал мою нательную рубашку. К счастью, это случилось в комнате, где стоял полуоткрытый бельевой шкаф, в котором лежало несколько

белых простынь. Я открыл шкаф, сложил две простыни еще раз вместе в форме квадрата, как обыкновенно кладут постиранные рубашки, и сказал буйному просителю: «Вот вам полдюжины, они чисто постираны и гораздо лучше, чем моя грязная нательная рубаха». Плохо бы мне пришлось, если бы солдат развернул поданный ему узел. Слава Богу, он этого не сделал, а поспешил прочь довольный, любезно поблагодарив. Едва я избавился от этого солдата, как столкнулся с другим — в том же состоянии, что и *прежний*. Он схватил меня за грудки, спрашивая, где вторая перчатка, которую он тут обронил? Показав при этом первую, которая была у него в руке. Я попросил на минуту перчатку, чтобы я смог искать потерянную. Не без колебаний он дал мне ее. Когда я заметил, что эта перчатка приблизительно того же цвета, что и *мои*, которые были у меня в кармане, спустя некоторое время я дал ему *обе* мои перчатки. Не заметив, что мои были несколько более зеленоватыми, он взял, поблагодарил и быстро удалился. Это был первый и последний раз, когда меня хватали так, прямо за тело, хотя я часто проходил через целые толпы солдат, занимающихся мародерством, когда внезапно натыкался на них в переулках, и не мог уже ни вернуться, ни убежать так, чтобы они меня не догнали.

По прошествии семнадцати дней всякий публичный грабеж под угрозой суровых кар был наконец запрещен; хотя по ночам, в глухих местах, и везде, где это могло произойти тайно, грабеж продолжался все время, пока французы оставались в городе. Был учрежден муниципалитет, для которого выбирали иностранцев, умеющих говорить по-французски. Служащих отличал трехцветный шарф на рукаве, и в каждом квартале были свои надзиратели, которые должны были оказывать помощь каждому, кому она требовалась.

Благодарю Бога, что выбор пал не на меня; потому что отказываться никто не мог. Директор этого полицейского учреждения был профессор Московского университета по имени *Виллерс*⁴⁶. Не знаю,

⁴⁶ Фредерик Виллерс (Frédéric Villers) (1770 или 1771–1846) — француз, бежавший от революции и эмигрировавший в Россию, где он преподавал французский язык в дворянских семьях. Он познакомился со своей женой во время поездки в Дрезден в 1804 г. В 1803 г. он учредил частный пансион в Москве. В 1806 г. был избран секретарем Московского общества испытателей природы, в 1809–1812 гг. преподавал французский язык и словесность в университете. Виллерс не покинул Москву в 1812 г., по-видимому, из-за нехватки средств для вывоза своего имущества и детей. Французы назначили его префектом полиции, но на деле гражданской полиции практически не существовало, и Виллерс позднее заявлял, что он занимался только тем, что раздавал французские прокламации. При отступлении французов он ушел вместе с ними и укрылся в

был ли он урожденным французом или саксонцем, но мне известно, что он был женат на уроженке Дрездена, которая впоследствии, по слухам присутствия в Бозе почившего императора Александра в Дрездене просила монарха об освобождении своего мужа и возвращении его в Германию, и добилась своего. Я ни разу не видел г-на профессора Виллерса и не могу знать, принял ли он полицмейстерский пост по своей воле или был к тому принужден; поскольку он по особому слухам познакомился с Наполеоном в первый же момент его вступления в Москву. Наполеон дошел до московской заставы* и остановился там, считая, что навстречу ему прибудет депутация из Москвы для передачи ключей от города, с просьбой пощадить и т.п. — так, как это бывало в других столицах и городах. Когда же ничего такого не произошло и Наполеон некоторое время прождал напрасно, он послал одного из своих адъютантов в город, чтобы осведомиться о причинах столь странного поведения и сказал при этом: неужели жители не знают, что от него, победителя, зависит судьба города?

Адъютант, проскакав по городу приличное расстояние, нашел улицы опустевшими, из людей лишь нескольких очень простых и бедных, которые не могли ответить на его вопросы, заданные на французском. Наконец поблизости от здания университета адъютант увидел профессора Виллерса, которого он подозревал и задал ему вопросы. Тот понял и отвечал ему. Виллерс сказал, что и администрация, и все сколько-нибудь состоятельные люди покинули Москву, а остались лишь отбросы общества и очень немногочисленные иностранцы. Адъютант взял Виллерса с собой, чтобы тот сказал все это Наполеону сам. Так он познакомился с Наполеоном, и выбор его полицмейстером был обусловлен уже этим обстоятельством, даже если бы Виллерс затем никогда не появлялся в Кремле.

Выслушав это, обманутый в ожиданиях Наполеон без всякой помпы въехал в Москву около половины третьего в понедельник второго сентября и сразу проследовал в Кремль, где и оставался до 13 октября,

поместье своего бывшего ученика под Шкловом. В 1814 г. был осужден к ссылке в Сибирь, но по генеральной амнистии 30 августа 1815 г. приговор был заменен высылкой из России, после чего он жил в Дрездене. *Goutnov, Dimitri A. Frédéric Villers entre deux France: Un émigré royaliste chef de la police de Napoléon à Moscou // Poussou J.-P., Mezin A., Perret-Gentil Y. L'influence française en Russie au XVIII^e siècle. Paris, 2004. P. 481–484;* Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского Университета за истекающее столетие. Часть 1. М., 1855. С. X, 166.

так же тихо и незаметно, как появился. Лишь со временем он стал развлекаться. Но чем? Для его развлечения в Кремле дилетанты ставили французские комедии, которые играли немногие оставшиеся модистки и гувернанты, — никто из них никогда не был артистом. И, как говорят, Наполеон, который видел все самое великолепное и блестящее, что могла предложить сцена, находил или делал вид, что находит вкус в этих жалких представлениях, и якобы смотрел их очень внимательно часами, как будто бы он действительно наслаждался⁴⁷. Об этом свидетельствовали многие очевидцы.

Столь же плохо дело обстояло со столом Наполеона, пока русские окрестные крестьяне не начали привозить в город индеек, гусей, масло и т.д. — хотя и в очень незначительном количестве. Уже на заставе* их припасы перекупали для императорской кухни по невероятным ценам. Это навело полковника Флао на мысль послать конторщика* Демидовых, который оставался в нашем доме, с несколькими сотнями франков в ближайшие демидовские поместья, чтобы купить на них продовольствия. Конторщик* был совсем не против, и уже получил деньги, а полковник тогда велел позвать меня лишь затем, чтобы разъяснить человеку, что именно он должен был лучше всего привезти.

Я испугался того, что угрожало мне из-за передачи этой инструкции: ведь это означало бы, что я посыпал людей в демидовские поместья, чтобы привезти провизию врагам отечества. Я заставил себя улыбнуться и сказал полковнику по-немецки: «Вот уж чудно! Как, верно, будет веселиться этот русский писарь, когда он с вашими 200 франками окажется в своей деревне, и по праву посмеется над вами, доверившими ему деньги, — он-то у себя в деревне может быть уверен, что вы его не найдете и не накажете за его отсутствие». Полковник громко рассмеялся, сказав: «Да, я едва не свалил дурака. Никогда бы

⁴⁷ Французские мемуары противоречат мнению Розенштрауха об этих представлениях. Согласно Сегюру, Наполеон привез выдающихся актеров из Франции в надежде убедить русские власти, что он собирается оставаться в Москве надолго. Другой офицер, Эжен Лабом, пишет, что «вместо того, чтобы посетить армейские корпуса, расположившиеся в окрестностях, и убедиться в их разложении, император оставался в стенах Кремля; однако он отнюдь не развлекался, как говорили, тем, что приказывал давать комедию. На самом деле французские актеры, имевшие самую жалкую участь и получившие солдатские пайки, дали из благодарности несколько представлений, при которых мало кто присутствовал. Вот так жест человечности, в дурной передаче, принимает вид варварского акта». (Sécur. Histoire de Napoléon. Vol. 2. P. 79; Labaume E. Relation complète de la campagne de Russie en 1812. Paris, 1820. P. 239.)

не простил себе, что таким манером потерял свои деньги». Он поблагодарил меня за предупреждение, взял у конторщика* деньги обратно, и дело заглохло к моему величайшему удовлетворению.

Когда же публичные грабежи прекратились и учредили упомянутую уже полицию, из окрестностей в город потянулось много крестьян, но не затем, чтобы привезти продукты, а чтобы купить медные деньги, в мешках по 25 рублей, и соль по четвертям*, и для поисков в сгоревших лавках и домах всего, что они могли увезти на своих телегах*. Мешок меди в 25 рублей (их было много в кремлевских подвалах) стоил столько же, сколько четверть* соли (ее запасов также было в избытке), — 4 рубля или 1 рубль серебром. Кроме того, можно было купить целые пакеты старых банкнот за несколько рублей серебром. Покупателей день ото дня прибывало, по мере того как крестьяне со своим грузом медяков и соли возвращались по своим деревням из Москвы невредимыми.

Положение французов было воистину далеко от завидного. Продуктов не хватало, не было ни полотна, ни кожи, ни льна и т.п. Платья и обувь износились, кивера и упряжь у кавалеристов стали негодными. Фуражировать можно было только с очень сильным прикрытием, потому что на небольшие отряды крестьяне нападали в деревнях или на полях и полностью истребляли.

Полковник Кутейль однажды вернулся из одной такой экспедиции ночью и без шляпы. Он уверял, что обязан спасением своей жизни лишь своему бравому английскому коню. Будучи настоящим военным, он не мог подобрать слов, чтобы похвалить превосходившую его воображение храбрость русских крестьян, истребивших весь французский отряд, который отправился за фуражом и который полковник добровольно сопровождал. Во всех походах Наполеона, даже в Египте, он не видел ничего подобного.

Посланная на фуражировку команда попала в большую деревню недалеко от Москвы, которая казалась оставленной жителями. Но когда французы дошли до середины деревни, с двух противолежащих концов ее внезапно, как из-под земли, на них устремились бесчисленные толпы вооруженных крестьян. Командовавший французский офицер тотчас приказал своим людям открыть огонь в обе стороны и непрерывно его продолжать. Но крестьян это не смущило, они перешагивали через своих павших собратьев — которых было немало, так как пули попадали в сомкнутые массы, и каждая находила жертву — и обрушились затем с вилами, оглоблями, косами и военным оружием с обеих сторон на французов, попавших между ними. Никто из

них не смог уйти, кроме полковника Кутейля, который, увидев храбрость крестьян, поскакал в сторону на отворенный двор, перемахнул там через забор, потеряв при этом свою шляпу, выбрался в открытое поле и смог благополучно добраться до Москвы.

В самом городе, особенно на отдаленных фабриках и в домах, оставшиеся в городе фабричные и жители поубивали невероятное количество французских солдат. Даже в Демидовском доме, где неприятель постоянно присутствовал во множестве, позже в нужнике заднего двора нашли уже разлагавшийся труп французского солдата в полной униформе. Если такое происходило в центре города, легко можно себе представить, как просто это было в отдаленных местностях, где на спящих солдат нападали ночью и обычно убивали топором*. Это можно было увидеть по расколотым головам трупов, которые позже вывозили из города и массово сжигали по распоряжению русской полиции, чтобы очистить город от ужасного зловония. Оставшиеся в Москве жители постепенно привыкли к этому смраду от павших лошадей, собак, разлагающихся трупов, и от горевших обуглившихся вещей; но когда я вернулся в ноябре того же [1812] года из Петербурга в Москву, уже за много верст* от Москвы я почувствовал этот тошнотворный запах, который все усиливался, по мере того как я приближался и въезжал в город.

Постепенно в городе стали появляться отдельные группы вооруженных казаков, они устраивали стычки на отдаленных улицах с егерями, которые на своих отощавших лошадях не могли их преследовать и догнать. Казаки становились все смелее, забирались все глубже в самый город, даже нападали на отдельные караульные посты, а когда караульные звали команду, казаки рассеивались прежде, чем солдаты успевали выстрелить. Так они однажды добрались до Мариинской больницы, ранив французского офицера и нескольких солдат, которые беспечно стояли перед караульней, не отступая, и когда немногочисленная команда стала в них стрелять, и ушли лишь после того, как на помощь подошли подкрепления с нескольких соседних караульных постов.

При этом один мой знакомый, госпитальный врач *Bette*⁴⁸, был тяжело ранен в бедро, причем французами. Когда началась перестрел-

⁴⁸ Немецкий врач по фамилии Ветте проживал в России на 1809 г. Мне не удалось обнаружить никакой иной информации об этой личности. «Erik-Amburger-Datenbank Ausländer im vorrevolutionären Russland», Datensatz 63414 <<http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?mode=0>>, последнее посещение 31.10.2013.

ка, Ветте выбежал из своей квартиры, которая была в другом конце госпиталя напротив караульни, во двор, чтобы выяснить причину стрельбы. К несчастью для него, на казаке, который ранил французского офицера, была желтый полотняный сюртук. А так как Ветте появился в двери как раз в *таком*, французские солдаты подумали на него, что это казак, ранивший их офицера. Сразу несколько солдат выстрелили из ружей в Ветте, но тот был лишь ранен в бедро и упал. Он послал за мной, — так у меня появился *новый путь долга*, на котором меня также охраняла милость Божия, хотя госпиталь находился очень далеко от Кузнецкого моста. Я проходил пустынными местностями, где часто на версты* вокруг я не находил ни единой живой души — разве только группы солдат, которые бросали на меня сверлящие взгляды, но не трогали меня, так что каждый раз я, слава Богу, доходил и возвращался домой невредимым.

Однажды раздались крики: у нас *мир!* Торжество было всеобщим. Все обнимались, как будто в Светлый понедельник. Вместо обычного *bonjour* знакомые и незнакомые приветствовали и целовались друг с другом со словами: «у нас мир». Старые гвардейцы со своими огромными бородами прижимали к лицу незнакомых прохожих, целуя с этим восхищением мира и русских мужиков — но у тех такие обнимания вызывали скорее страх, чем радость, так что их поведение часто было очень комичным. Французы уже досыта нахлебались своим пребыванием в сожженной Москве и всей душой стремились из этой пустыни обратно к «котлам египетским»⁴⁹ — отсюда и всеобщая радость.

Как мне рассказывали адъютанты Бертье, у Наполеона при походе в Россию были следующие планы — рассказываю так, как слышал, ибо не могу ручаться за сообщенные мне известия, однако они могут содержать в себе истину, так как Бертье пользовался полным доверием Наполеона, а его адъютанты, в свою очередь, — доверием самого Бертье.

Итак, во-первых, Наполеон *будто бы* собственноручно написал в Бозе почившему императору Александру: пусть император прибудет к нему — *Наполеону*, и он сопроводит тогда Александра со своей армией в Россию, чтобы сделать его не по имени только, но *действительным самодержцем* всей России и освободить его от тирании *Сената и Синода*,

⁴⁹ Парафраз Исх., 16: 2 («...и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом»).

которые оставили императору только *имя*, но не *власть* самодержца. Когда этот план Наполеона провалился, как и следовало, ибо Наполеон не знал ни *императора*, ни *Россию*, и был совершенно введен в заблуждение своими советниками, он разработал, во-вторых, план подстрекать дворянство, чтобы дать России конституцию с парламентом и палатами. А когда и этот план провалился из-за верности российского дворянства своему коренному императорскому дому, он хотел, в-третьих, поднять в народной массе возмущение и — как он это называл — сделать их свободными.

Когда же он получше узнал дух России в Москве и понял свои грубые заблуждения, он послал одного из своих самых доверенных генералов — кажется, Лористона⁵⁰, если я не ошибаюсь, — к фельдмаршалу Кутузову со следующими предложениями мира: во-первых, он потребовал *контрибуцию*, размер которой полковники, однако, не могли назвать. Во 2-х, ему должен был быть открыт свободный военный проход через Россию в *Персию*, чтобы оттуда дойти до Индии, угрожая англичанам с суши, и в 3-х, «безусловное признание российской стороной короля Польши, которого Наполеон еще только должен был назначить».

Фельдмаршал Кутузов якобы — по сведениям моих информантов — был глубоко, до слез тронут этими мягкими и великодушными условиями мира, так как Наполеон, победитель, мог бы требовать более, если не *всего*, и сказал: «Я считал до сих пор императора Наполеона величайшим полководцем, теперь же преклоняюсь и восхищаюсь перед великодушнейшим и благороднейшим человеком в нем». Поэтому он (Кутузов. — Прим. пер.) ни минуты не сомневался, что император Александр, безусловно, с величайшей готовностью примет мир на *таких* мягких условиях, как только получит свидетельство великодушия Наполеона. С французской стороны никто не сомневался, что это именно так, по пословице: *чего желают, в то охотно верят*. Отсюда и та всеобщая радость, как будто бы мир уже был действительно заключен.

Что на самом деле думали о мире император Александр и фельдмаршал Кутузов, показало вскоре сражение, в котором Мюрат (король

⁵⁰ Жак Александр Ло, маркиз де Лористон (Jacques Alexandre Bernard Law, marquis de Lauriston) (1768–1828), — французский генерал. Друг Наполеона с тех пор, как оба были в военном училище. В 1811 г. французский посланник в Санкт-Петербурге, во время оккупации Москвы в 1812 г. Наполеон послал его для ведения мирных переговоров (как выяснилось, напрасных) с фельдмаршалом Кутузовым.

Неаполитанский) был наголову разбит⁵¹. Могу точно утверждать, что я знал о поражении Мюрата на *три дня раньше*, чем о нем узнал Наполеон. Никто не осмеливался передать ему это ужасное известие, так как он с часу на час ожидал ответ о согласии императора Александра на его предложения. Но так как желаемого ответа не было, а Наполеон в конце концов узнал о поражении Мюрата, он стал думать об оставлении Москвы, ежедневно войска выступали в поход. Но сам Наполеон еще оставался и развлекался каждый вечер комедиями в исполнении бездарностей.

Наконец пришел черед и для выступления в поход молодой гвардии, батальон которой стоял на Мясницкой в доме княгини Голицыной. При своем выступлении маршал Ней⁵² со своим штабом стоял у маленькой калитки, через которую солдаты должны были выходить *по одному* и не могли взять с собой ничего сверх того, что умещалось у каждого в *его ранце*. Ведь все они были обвешаны с ног до головы награбленным добром, которое должны были *побросать* во дворе, — видимо, потому, что им было приказано совершить форсированный марш. Едва солдаты ушли, во двор ворвался собравшийся перед домом во множестве народ, в основном мужики, — они стали хватать валявшееся там и все, что они нашли в доме, увозя это отчасти на своих телегах, отчасти на горбу.

Та же участь после ухода французов постигла большинство домов, которые не сгорели и в которых жили французские офицеры. Дело не обходилось без кровопролития, потому что мужики носили за поясом топоры*, и не всегда могли договориться друг с другом, или накидывались на тех, кто пытался их остановить.

В конце [пребывания французов] в Кремль не пускали никого без билетов. Каравальные стояли вокруг с заряженными ружьями и стреляли немедленно в каждого, кто не понимал их оклик на французском языке. При этом расстались с жизнью многие мужики, которые, как раньше, хотели пройти или проехать в Кремль, чтобы купить медных денег. Наконец мужики все же поняли, что в Кремль им нельзя,

⁵¹ Иоахим-Наполеон Мюрат (Joachim-Napoléon Murat) (1767–1815) — маршал Франции, муж сестры Наполеона Каролины, великий герцог Берга (1806–1808), затем король Неаполитанский (1808–1815). В Русской кампании командовал кавалерией Великой армии. 6 октября 1812 г. его войска были разбиты в битве при Тарутино.

⁵² Мишель Ней (Michel Ney) (1769–1815) — маршал Франции, герцог Эльхингенский, князь Москворецкий. В Русской кампании командовал корпусом Великой армии. Отличился в качестве командующего арьергардом во время катастрофического отступления французской армии из Москвы.

но через внешнюю стену они нашли проход к месту, где лежали медяки. Они сделали в стене пролом, не встречая препятствий со стороны французов. Каждый мог теперь взять сколько хотел или, лучше сказать, сколько мог, потому что они убивали друг друга как мух. Едва один показывался из пролома в стене, другие бросались отбирать у него его добычу, с борьбой до крови, так что деньги оставались лишь у того, кто выжил. На заднем дворе Демидовского дома лежали высокие штабеля мешков с медяками и кулей с солью.

Внутри Кремля готовили взрыв. Издалека был слышен стук топоров, колющих дрова, чтобы наполнить подвалы горючим материалом. Хотя тогда никто не знал настоящую причину, зачем в Кремле занято так много плотников.

Казаки появлялись в городе все чаще и все в большем количестве. Не проходило ни одного дня без нескольких стычек, что скрывали от Наполеона. Пока 13 октября, когда Наполеон сидел за столом, на Тверской не началось сражение: казаки пробились к дому генерал-губернатора, рядом с которым была главная караульня. На вопрос Наполеона, что означает эта стрельба, один из его адъютантов ответил: это казаки, которые перестреливаются на Тверской с нашими егерями. В первом порыве Наполеон сказал: «Да вы пьяны, у вас одни казаки в голове. Откуда казаки тут, в Москве?» Здесь очевидно, как плохо он был информирован. Адъютант возразил: убедитесь сами. Так я и сделал, ответил Наполеон, приказал привести своего белого коня, поскакал на Тверскую и, увидав еще издалека, что все так и есть, поспешил обратно в Кремль, и меньше чем через час он покинул Москву.

Я узнал это от полковников, которые ежедневно обедали за его столом, сразу после их возвращения домой, где они также приказали собираться. На следующее утро ушли и они, хотя считали, что скоро опять вернутся. На случай же, если это не произойдет, они подарили мне, как я уже писал, все оставленное ими и законопослушно переданное мной впоследствии в полицию. Ворованное добро истинно не приносило благоденствия. Я знал некоторых, кто или занимался грабежами вместе с солдатами, или покупал награбленные вещи и сколотил себе этим приличный достаток. Но никому он не пошел во благо, на нем лежало проклятие, и через несколько лет у них было еще *менее* состояния, чем до прихода неприятеля.

Как бы ни были откровенны во многом прочем к нам — г-ну Чермаку и мне — наши квартиранты, о предстоящем подрыве Кремля они не сказали ни слова. Обычно по возвращении домой от стола они рассказывали все, о чем говорилось за столом, а так как их часто

посещали высшие генералы, они разговаривали, даже если присутствовал кто-то из нас, так свободно, как будто от нас у них не было тайн. Особенно камердинер полковника Флао, старый голландец, рассказывал мне все, что узнал. Он страстно ненавидел Наполеона и не поминал его иначе как с руганью. От своего господина он постоянно получал по такому случаю укоры, но не брал это в голову; так как он приютил и прокормил полковника и его мать во время Террора во Франции, после того как отец — он был тогда голландским посланником в Париже⁵³ — был гильотинирован. Голландец любил полковника как сына и вел себя с ним как старый приятель, а не слуга⁵⁴. У старика хватало и мудрости распускать свой язык только в присутствии своего господина. А когда я однажды сказал ему, что был в Голландии, очень уважаю эту нацию и нашел там многих благородных благодетелей, он стал считать меня за любезного земляка и, как имеют обыкновение пожилые люди, с удовольствием болтал со мной, рассказывая мне все, что слышал, и давал в моем присутствии изливаться свободно своей желчи по поводу Наполеона.

Когда он узнал о поражении Мюрата, он пришел ко мне с сияющими от счастья глазами и сказал: «Пойдемте-ка немедленно ко мне в комнату, опустошим бутылку старого доброго рейнвейнского» — у господина его было в избытке, но пить его он не любил. Когда я пришел, он чокнулся со мной и провозгласил: «За падение Наполеона!» Я испугался, потому что в такие времена, по пословице, и стены имеют уши. Но он продолжил: мы в совершенной безопасности. Тогда он поведал о поражении Мюрата и сказал: «Это только начало, дальше будет хуже».

Неосмотрительность заставила однажды и меня высказаться так, что мне это могло дорого обойтись в иной аудитории, — но полковник Флао лишь дружески посоветовал мне в будущем воздержаться от подобных высказываний. Я сказал однажды в обществе наших

⁵³ Неясно, кого Розенштраух здесь имеет в виду: отец, Александр Себастьян де Флао де ля Бийядери (1726—1793), действительно был гильотинирован, но «голландским посланником в Париже» никогда не был.

⁵⁴ Королева Голландии Гортензия, жена брата Наполеона и любовница Флао, подтверждает эту симпатию между Флао и его слугой. При отступлении из Москвы, как рассказывали ей, «личный слуга г-на де Флао, старый и больной, остался внизу горы у Вильны. Казаки следовали по пятам. Гора была трудно преодолима и покрыта льдом. Г-н де Флао уже поднялся по ней вместе со штабом, когда ему сообщили, что его слуга был брошен. Он возвращается, поднимает его себе на плечи и, преодолев невероятные трудности, догоняет штаб и кладет его на сани». *Mémoires de la reine Hortense, publiées par le prince Napoléon.* Paris, 1927. Vol. 2. P. 159.

квартирантов в продолжение общего разговора: «Я видел французскую армию в Голландии при Дюмурье⁵⁵ *детьми*, как они шли тогда — одни пожилые старцы, много наглых бабенок, сражавшихся в общем строю, и безбородые юноши, едва сменившие детскую обувь, совсем босые и в драных штанах. — Затем на Рейне в 1795 г. *юношами*. В Москве же *мужами* — ибо едва ли возможно увидеть красивейшую армию, чем 80 000 человек гвардейцев, которые вошли в Москву, из которых каждый *старый* гвардеец мог бы служить моделью для Юпитера или Геркулеса, а каждый *молодой* гвардеец — для Ганимеда. Теперь мне остается лишь ожидать еще увидеть этих *мужей старцами*», — так, как я и увидал их в действительности позднее в возвращавшихся пленных, а многие *другие* — умирающими старцами на Немане. Наполеон наверняка не простил бы мне этого прорицания, если бы оно дошло до его ушей. Наши же полковники смеялись и превратили все в шутку; лишь Флао по-дружески предостерег меня, чтобы я воздержался от подобных замечаний.

В четверг 13 октября⁵⁶ на рассвете наши полковники ушли, уже попрощавшись с нами накануне вечером. Полковник Кутейль велел еще своему слуге заплатить за 14 бутылей красного вина, которые он у меня взял, по 5 франков за каждую. Я не хотел брать эти деньги, потому что полковник сделал нам много добра, а по ночам повальных грабежей жертвовал и своим сном и много раз лично подвергал себя опасности. Но [слуга], славный малый Леонхард, ужасно обидевшись, спросил, хочу ли я подарить что-то его господину или могу предположить, что он оставит приказ его господина *невыполненным*? Я должен был взять деньги, и после того он очень любезно простился со мной.

Слуга полковника Бонгара был также добрый и тихий человек, он прислуживал нам, как если бы мы были родней его господина. Лишь у Ноайля был дурной малый — увы, немец из Берлина. Его хозяин любил его как своего сына, оставался слепым к его проделкам и злым выходкам и проявлял к нему терпение, превосходившее человеческое. Часами этот человек заставлял своего хозяина ждать стакан воды или его

⁵⁵ Шарль-Франсуа дю Перье Дюмурье (Charles-François du Périer Dumouriez) (1739–1823) — генерал французской революционной армии. В 1792 г. командующий армией в Бельгии, в конце зимы 1793 г. возглавлял вторжение в Голландию. В апреле 1793 г. его армия потерпела поражение при Неервиндене, и, опаясь репрессий якобинцев, Дюмурье перешел к австрийцам.

⁵⁶ Основная часть французской армии покинула Москву в понедельник 7 октября. В пятницу 11 октября ушли последние войска и была взорвана часть Кремля. Розенштраух точен в днях недели, но не в датах, когда событие имело место.

чая, и если бы я не ухаживал за ним во время поразившей его болезни, он должен был бы угаснуть. Когда хозяин посыпал его из комнаты, Фриц тотчас устремлялся к картежному столу и оставлял господина одного и без помощи. Злодей сказал мне однажды: «Мой хозяин готов биться насмерть, что никто не любит его больше, чем я; потому что во всех сражениях я рядом с ним, или так близко, как только возможно. Но делаю я это лишь для того, чтобы немедленно узнать, если он будет убит или попадет в плен, и быстрей мчаться к экипажу, чтобы присвоить его деньги и драгоценности».

Сразу по уходе наших квартирантов ко мне пришел тот жандарм, которому я дал во вторник 3 сентября заплесневевший горошек, и упрашивал меня в сей же день покинуть Москву, не называя, однако, причин своих настоятельных просьб. Я представил ему всю невозможность покинуть г-на Чермака с его детьми, если я захочу уйти из Москвы — тем более, что мне неизвестны резоны для такого бегства. Он покинул меня очень огорченный. Около одиннадцати он пришел во 2-й раз и сказал мне, что поговорил со своим офицером и тот предоставит жене и детям г-на Чермака место на большой фуре. Он очень настаивал, чтобы я принял его сделанное из лучших побуждений предложение и был очень огорчен, почти безутешен, когда я остался при своем отказе. Наконец он пришел в третий раз после 3 часов пополудни снова, возобновил свои просьбы самым настойчивым образом; и когда он не смог или не захотел назвать мне причины, почему я должен покинуть Москву — а я остался поэтому при своем, — он дал мне две бутылки красного вина и просил меня выпить их обе до последней капли пол-одиннадцатого до полуночи. Напрасно я старался дать ему понять, что я буду *пьян* после половины бутылки. «Этого-то я и хочу», — сказал он и самым трогательным образом попрощался со мной.

Я размышлял о необъяснимом поведении этого очевидно желавшего мне *добра* человека, когда живший напротив моего дома продавец модных товаров Арман⁵⁷ в полном отчаянии пришел ко мне и ска-

⁵⁷ Поль Арман (Paul Armand) (род. ок. 1762) иммигрировал в Россию из Франции после революции. Проживал на Кузнецком мосту в доме полковника по фамилии Толбухин, с женой, сыном Жаном-Луи (1786–1855), его женой и детьми. В 1811 г. Поль и Жан-Луи были купцами третьей гильдии. Жан-Луи был в числе французов, депортированных на барке в Нижний Новгород по распоряжению Ростопчина в августе 1812 г.; он вернулся только в 1814 г. Жан-Луи был записан в 1813 г. в мещансское сословие, но в 1816 г. снова перешел в купечество. По ревизиям 1833 и 1850 гг. был записан купцом третьей гильдии. Сын Жан-Луи Луи-Эжен [Евгений Иванович] (1809–1890) стал состоятельным московским фабрикантом и купцом первой гильдии. (Щукин. Бумаги. Т. 2. С. 27, 37;

зал, что в эту ночь в одиннадцать часов вся Москва должна взлететь на воздух. Я полагал, что это *невозможно*, и пытался утешить его, но он приходил в еще большее отчаяние и покинул меня. Теперь я мог, наконец, найти объяснение поведению доброго жандарма, который, вероятно, слышал что-то подобное и поэтому так настаивал, чтобы я *покинул Москву* и желал, по меньшей мере, чтобы я покинул этот мир без сознания, а именно напившимся.

Вечером, как обычно, я собрал всех моих обитателей дома на молитву, и после 10 часов все затихло. Но я не раздевался, потому что из разговоров что-то могло оказаться правдой, и лег в сюртуке и в сапогах сверху на одеяло на кровати, но не мог, конечно, сразу заснуть. Точно в тот момент, когда мои комнатные часы — которые совпадали с часами в Кремле — пробили одиннадцать, произошел первый взрыв⁵⁸. Что-то подобное, хотя и значительно меньших масштабов, я уже слышал в Майнце, когда в 1795 г. тамошняя военная лаборатория взлетела на воздух⁵⁹.

Весь наш дом задрожал, зазвенели стекла, воздух свистел как при очень сильной грозе, а удары походили на мощнейший гром. Я вручил свою душу Богу, каждую секунду ожидая падения дома и своей смерти. Но как только через несколько минут снова стало тихо, я вскочил и побежал в соседнюю комнату, увидев там г-на Чермака, который склонился во весь свой рост над женой и детьми, защищая их распростертыми руками. «Быстро на просторный двор, пока нас не

Найденов. Материалы. Т. 5. С. 230–231; Т. 6. С. 148; Т. 7. С. 155; Т. 8. С. 173; «О ком наш музей: Арманды» на сайте «Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей» <<http://muzeum.me/index.php>>, последнее посещение 17.09. 2013).

⁵⁸ После того как основная часть французской армии покинула Москву в понедельник 7 октября 1812 г., арьергард по приказу Наполеона заложил взрывчатые вещества, которые нанесли существенный ущерб Кремлю, когда были взорваны в пятницу 11 октября. Более серьезных разрушений удалось избежать, так как во многих минах порох и запалы были сырыми из-за обильного дождя в предыдущую ночь (*Безотосный. Отечественная война 1812 года: Энциклопедия*. С. 480).

⁵⁹ Майнц, оккупированный австрийскими войсками, был осажден французами с 8 ноября 1794 г. по 29 октября 1795 г. О событиях 26 или 27 июня 1795 г. австрийский ветеран Франц Берслинг пишет: «Пока мы брали штурмом укрепления у Крейцнаха, и занимавший их неприятель уже дрогнул, со стороны Майнца мы услышали ужасный взрыв, так что буквально дрожала земля. Мы не могли объяснить происходящее, пока не пришло известие, что, отступая, французы взорвали свой большой пороховой склад между Крейцнахом и Майнцем; при этом пострадало многое сторонних людей». Lautzach. Die Festung Mainz. S. 93–94; Rieck. Der böhmische Veteran. S. 41.

раздавит падающий дом!» — закричал я. Мы побежали на двор, найдя там уже собравшихся невредимых наших обитателей. Но так как было по-прежнему тихо, я созвал всех в низкую каменную кухню, где мы опустились на колени и благодарили Бога за наше спасение.

Между тем собственные мужики Демидова взломали амбары*, которые пощадили французы, и когда я снова вышел из кухни на двор, я увидел, как они грабят имущество их собственного господина. Насколько возможно ярко я представил им их беззаконие и ожидающее их наказание. Тогда они решили убить меня, чтобы не иметь свидетеля их деяний. Тотчас меня окружили более 30 мужиков и так сильно сдавили меня, что свои опущенные руки я должен был прижимать крепко к телу, как будто бы они были привязаны. Г-н Чермак хотел пробиться ко мне, но я воскликнул: «Не подвергайте добровольно вашу жизнь опасности, может быть вас и ваше семейство пощадят, если вы понапрасну не будете рисковать — потому что помочь мне вы все равно не можете. Бог меня спасет, если на то Его воля». Кажется невероятным, что разгоряченные мужики в течение нашего разговора вели себя так спокойно, но Бог обездвижил их руку. «Не могу смотреть, как вы умираете», — сказал г-н Чермак и спрятал лицо на груди своей жены. Теперь я ожидал смертельного удара или, скорее, многих ударов, потому что мужики были частью вооружены — и тут последовал *второй взрыв*.

Окружавшие меня крестьяне рассеялись в разные стороны. Я воскликнул: «Скорее, убейте меня, так чтобы я умер прежде третьего и самого сильного удара, который поднимет на воздух всю Москву и не оставит камня на камне. Вы, убийцы, умрете тогда смертью более мучительной, нежели буду убит я вашими руками за честный совет, который я вам дал. Тогда вы навеки попадете в преисподнюю как разбойники и убийцы, а я на небо, потому что я как честный человек противился грабежу имения вашего господина».

Я и до сих пор удивляюсь, как смог сказать все эти слова по-русски так хорошо, что смысл мужикам был совершенно понятен. Мужики снова приблизились ко мне, но уже в униженном просящем виде, а некоторые даже бросались передо мной на колени: вожаки протягивали в мольбе руки и сказали: «Батюшка, Иван Иваныч. Ангел наш, мудрец наш (и много подобных же выражений), скажи нам, что нам делать, чтобы спасти нашу жизнь и избежать такой ужасной смерти?» Я им ответил: «Если бы у меня, как у вас, была телега*, я бы ни единой секунды не оставался в городе, чтобы пули или падающие дома не размозжили меня или не погребли заживо. Потому что еще

через полчаса, пожалуй, будет третий, самый сильный и последний удар». Едва я сказал это, как мужики побежали на второй двор, бросились на свои телеги и погнали за ворота, которые я тотчас за ними закрыл и хорошо забаррикадировал. Я поблагодарил Бога за спасение моей жизни и оставался на дворе, пока не произошло еще три взрыва — но уже много слабее, чем первые удары, потому что они были с другой стороны Кремля.

Согласно намерению Наполеона, *весь Кремль должен был одновременно взлететь на воздух, и тогда ущерб, в том числе для все еще остававшихся невредимыми зданий и людей, был бы нескончанно тяжелее*. Действительно, *весь Кремль был заминирован, а горящие фитили разместили в разных местах*. Но Бог распорядился иначе. С последних дней сентября не упало ни капли дождя, но как раз 13 октября, в день ухода французов⁶⁰, начался сильный проливной дождь на несколько часов. Низвергающаяся вода проникла в кремлевские подвалы и нарушила внутренние коммуникации для подготовки *общего взрыва*, так что каждый заложенный фитиль мог разрушить только часть, но не влиял на все в целом.

Помимо того, более 100 наполненных пороховых ящиков, которые стояли на Кремлевской площади, были снабжены *цельми горящими восковыми светильниками*, которые были ввинчены нижним концом в крышку и должны были прогореть до пороха в тот же самый момент, когда фитили дойдут до пороха в подвалах. Сам я эти светильники, правда, не видел, но мне рассказывали о них несколько человек, которым можно доверять. А пороховые ящики я видел позже и сам. Благодаря дождю, который Бог послал в нужный момент, все эти орудия разрушения сделались безвредны.

Остаток ночи прошел спокойно; но в пятницу утром, 14 октября⁶¹, в городе появилось очень много крестьян из окрестностей Москвы, пешком и на телегах, и подбирали оставшееся от жатвы⁶², чтобы забрать себе все, что еще оставалось в покинутых французами домах, — забыв, похоже, что все из мебели и прочих вещей, что *солдаты не могли взять с собой, принадлежало не французам, а прежним законным российским владельцам*.

Они же считали все, что находят, за *французское добро*, которое они могут взять с чистой совестью. Все это происходило тем менее

⁶⁰ Дата обозначена неправильно. См. выше, сноска 56.

⁶¹ Дата обозначена неправильно. На пятницу приходилось 11 октября.

⁶² Выражение восходит к Ветхому Завету (Лев., 19: 9; Втор., 24: 19–21).

галантным образом, что в городе были еще большие запасы хлебного вина — потому что французы его или не пили совсем, или не выпили до конца. Поэтому головы подбиравших были совсем или довольно сильно отуманены, и они дрались между собой или с оставшимися в домах людьми, если те сопротивлялись захвату наличных вещей, — при этом было очень много тяжелораненых и убитых. Наши дворовые ворота были хорошо забаррикадированы, а изнутри их охраняли двое крепких русских мужчин, каждому из которых я давал по рублю серебром в день. Прочие русские, которые все это время жили у меня, несли эту службу добровольно. Не столько ради сохранения собственности Демидова, сколько чтобы не потерять свое, приобретенное за это время имущество. Если на наш двор приносили на продажу банкноты или что-нибудь еще, я всегда кивал на моих русских жильцов — потому что у меня не было власти запретить им это, даже если бы я захотел.

Особенно много денег заработал шляпник со своей женой. Он *перелицовывал* офицерские шляпы, так что они выглядели как *новые*, по 20 франков за штуку, да еще оставлял себе старые золотые галуны, если нашивал новые. А его жена, очень хорошая прачка, стирала белье высших генералов, получала по франку за сорочку, и все оплачивалось по ценам лучших прачек в *Париже*.

Итак, чужие мужики наш дом не тронули, а *Демидовские*, которых мы *должны* были бы впустить, в пятницу утром не появлялись. Около часа пополудни ко мне пришли в страхе несколько наших русских жильцов и умоляли меня как можно скорее *спрятаться*; так как с Петровки приближается батальон лейб-казаков в поисках французов и немцев, чтобы их убить. Это было, однако, не так, потому что они искали не *гражданских лиц*, а солдат чужих наций, которые еще могли скрываться в Москве. Позже это подтвердилось, когда они не тронули ни одного из жителей Москвы, которые собирались во французской церкви⁶³ из страха перед таким ходом событий, убедившись, что среди нет ни одного военного. Признаться честно, я не совсем доверял и тем, кто меня предостерегал; потому что думал так: если бы был приказ *убивать* всех иностранцев, мои сожители все равно не смогли бы меня спасти, а некоторые из них, наверное, и не захотели бы. Словом, чем больше они наставляли, тем более подозрительным мне это казалось — да покроет и

⁶³ Речь идет об освященном в 1791 г. храме Св. Людовика (ул. Малая Лубянка, 12а).

простит мне милосердие Божие кровью Христовой это, возможно совершиенно *необоснованное*, недоверие, как и многие другие мои прегрешения. — Я решительно отвечал: если на то воля Господня, чтобы я сегодня *умер*, то лучше пусть под открытым небом, чем быть пойманнным и погибнуть как мышь в западне. Я тотчас приказал сторожам отпереть дворовые ворота, вышел на середину улицы и закричал навстречу приближающимся казакам, по-русски, громко как только мог: *Наши, слава Богу, наши!*

Весь многочисленный отряд лейб-казаков, повторявших все время свой вопрос: «Где французы? Где немцы?», проскакал мимо меня и моих домашних, и лишь один из последних казаков остановился и очень скромно спросил: «Батюшка, нет ли у тебя чего поесть? Мне очень голодно». Я ответил: есть щи* и каша*, но без мяса. Он остановился, слез с коня, пошел за нами в дом, тогда как весь остальной отряд казаков поскакал к католической церкви, куда их направили. Во время еды наш гость рассказывал, как хорошо обстоят дела в русской армии и как плохо во французской; как те 3000 унтер-офицеров, которые в начале занятия Москвы были посланы с награбленными ценностями во Францию, были перехвачены казаками, а их трофеи отняты. Короче говоря, наш лейб-казак вел себя так примерно, учтиво и воспитанно, как будто бы он был образован в лучшем пансионе; а когда я предложил ему по своему почину стакан водки, он так любезно попрощался со мной, как будто бы мы были многолетние старые знакомые.

Другим домам на Кузнецком мосту повезло меньше, потому что, когда казаки вернулись из французской церкви и нашли все ворота, кроме наших, наглухо *запертymi*, они подумали, что в этих домах скрывались военные, выбили силой двери, ворвались, обыскали все, и так возникли, конечно, разные беспорядки, которых наш дом избежал лишь благодаря явному заступничеству Божию. Наш казак возвращался еще два раза и просил каждый раз *один* стакан водки для *хорошего* офицера — который я ему охотно давал. Но очень странно, что кроме этого одного никто больше в нашем доме не появлялся — хотя все дворы рядом и напротив нашего жилища были полны казаками. Никто из его товарищей или офицеров не поинтересовался также, *откуда* он достает *хорошую* водку, и не пришел сам, чтобы заполучить те же блага. Да, воистину, Бог может защитить, и защищает чудесным образом, если на то Его святая воля.

Как только казаки под вечер оставили Кузнецкий мост, многие из моих соседей стали жаловаться мне на свои несчастья, которые они

должны были претерпеть за этот краткий визит. Я велел снова крепко запереть ворота — и кроме того, что число мужиков в городе увеличилось, в этот день ничего особенного более не произошло.

Но в ночь с пятницы на субботу была слышна сильная канонада как из ружей, так и из пушек, ясно слышались крики русских и французских дозорных. Когда пришла моя очередь дежурства на деревянной башенке над нашим домом — которое днем и ночью несли все мои жильцы — и я оказался во мраке на своем посту в полном одиночестве, на меня напало такое отчаяние и беспринципный страх, какие я не испытывал никогда в своей жизни в величайших опасностях и самых тяжелых обстоятельствах моего существования, — это было для меня тем мучительнее, что во все это время у меня было совершенно особенное чувство, как Бог укрепляет мои силы. Даже в тот момент, когда демидовские мужики окружили меня, Господь послал мне такое бесстрашие, как будто бы мне не грозило ни малейшей опасности; но стрельба, крики, вой собак, грохот телег, конский топот — короче говоря, все мрачное окружение моего одинокого поста — внушило мне настоящее чувство оставленности Богом. Страх мой с каждым мгновением возрастал, и все, что я говорил себе для собственного успокоения, лишь умножало мое отчаяние.

Таким нашел меня под утро г-н Чермак, искающий меня. Поднимаясь, он случайно коснулся моей руки, которая безвольно висела вдоль туловища и сильно дрожала. На его вопрос, не плохо ли мне, я попытался передать ему мое душевное состояние. Он испугался и сказал: «Бог мой, если теряете мужество вы, благодаря кому мы черпаем силы и равняемся на ваше невозмутимое ровное поведение, что тогда делать нам?» Затем он постарался меня успокоить, приведя мне все чудеса, которые Бог совершил в это время ради нас; он повторил многие из моих собственных высказываний, с помощью которых я призывал его и многих других надеяться на Бога, Всепомощника в годину бедствий; но все напрасно, потому что все это имело обратное воздействие, и тем страшнее становилось у меня на душе. Наконец, он внял моим настойчивым просьбам оставить меня одного.

Я боролся с настоящим смертным страхом, все время пока не забрезжило утро. Вдруг по Кузнецкому мосту стали медленно подниматься закутанные в плащи два всадника. Любопытство пересилило мой страх, потому что все теперь зависело от того, кем были оба эти всадника — русскими или французами. В отношении последних мы опасались, что они полностью разрушат Москву с помощью других средств, так как их план сделать это, подорвав Кремль, провалился.

Я принял такое положение, что мог видеть всадников, но они меня видеть не могли. Было, однако, еще так темно, что я не мог различить их униформы. Но как описать мое удивление или, точнее, мой ужас, когда они остановились прямо напротив нашего дома на противоположной стороне улицы, один из них спешился и дал держать своего коня другому всаднику. Я уже думал, что они меня заметили, так как практически все окна моего убежища были разбиты, и мой страх снова вернулся с удесятеренной силой. Я уже хотел спуститься вниз в дом, когда увидел, что спешившийся всадник лишь хотел справить естественную нужду. Я снова остался на своем месте, потому что мне было очень важно разглядеть униформу, которая была на кавалеристах. Прошло *много времени*, пока спешившийся не сел снова в седло. Движения его товарища — я не мог слышать, что он говорил, — также свидетельствовали о его большом нетерпении, потому что он несколько раз порывался ускакать *один*. Но тем временем стало уже настолько светло, что я мог различить — это были русские *полицейские драгуны*. С этим открытием мой страх исчез, и, полностью успокоенный, я сошел вниз в мою комнату. В мирной гражданской жизни такие события кажутся *мелочными*, и даже *смешиными*; но в положении, как мое тогдашнее в Москве, они несказанно важны. Похоже, что драгуну только потому надо было справить нужду и задержаться возле нашего дома, чтобы я мог понять, что Москвой овладели русские, — от этого так много для меня зависело.

В субботу в городе прибавилось мужиков, которые творили много безобразий, а казаки и полицейские драгуны попадались лишь изредка и не обращали на них внимания. Из демидовских крестьян целый день никто не появлялся; наш дом не пострадал чудесным образом и от других мужиков, хотя они натворили много безобразий напротив нас и по обе стороны от нашего дома, а их ужасный рев мы слышали так, как будто бы они были на нашем дворе.

В воскресенье утром наш двор заполнили демидовские мужики, — я приказал не препятствовать им войти, потому что все равно мы не были достаточно сильны, чтобы воспрепятствовать им ворваться, если бы они захотели это сделать *силой*. Около одиннадцати утра те, которые хотели убить меня в ночь с четверга на пятницу, а вместе с ними еще много других, вошли под предводительством писаря в мою комнату, и писарь сказал: «Мы пришли тебя прикончить — ничто тебя теперь не спасет, даже если будет еще десять взрывов, как тот в четверг, который избавил тебя из наших рук». Мой верный, милостивый Бог, который в продолжение моей необыкновенной жизни столько

раз предоставлял доказательства своего чудесного, не заслуженного мною заступничества, и в этот момент даровал мне снова такое спокойствие духа и рассудительное мужество, что я смог ответить убийцам холодно и совершенно без страха: «Если есть Воля Божия на то, чтобы я был убит *сейчас*, и Вашими руками, и если Он допустит вас совершить это убийство, то я готов».

Писарь подошел ко мне, за ним и некоторые другие; и тут мимо нашего открытого окна проскакал сильный отряд казаков, и я закричал: «Караул! * Караул! *», после чего несколько казаков тотчас подскочили к окну. Я закричал громко и требовательно: «Назад, убийцы! Не смейте трогать меня!» По мере того как казаки приближались к окну, мои убийцы стали убегать, тесня друг друга к дверям и на двор, — они кидались в свои телеги и быстро выезжали со двора. Никто из нас не думал о преследовании и задержании; но через несколько недель, когда порядок уже был совершенно восстановлен, некоторые из этих крестьян появились, бросившись мне под ноги, и просили меня не выдавать их властям. Пришел и писарь с перевязанным глазом, который сильно болел; он попросил у меня прощения и сказал: Бог наказал его, потому что теперь он, наверное, ослепнет — так больно голове и глазам. Боль началась уже в воскресенье, когда он появился у меня. Я дал ему воду для глаз, которую Бог благословил, и он потом еще раз приходил ко мне, чтобы принести свое искреннее раскаяние и непритворную благодарность.

Почти одновременно с этими казаками, которых Бог привел, чтобы спасти мне жизнь, — едва четверть часа после ухода убийц — полицейский драгун привез печатное распоряжение майора полиции Гельмана⁶⁴, чтобы все собственники или управляющие домами, к которым попадет это распоряжение, немедленно явились к г-ну майору в обозначенном им доме на Тверской, чтобы сообщить, в каком состоянии находятся дома, где они проживали до сих пор. Я отправился немедленно, и когда меня попросили сообщить о состоянии Демидовского дома, г-н майор Гельман сказал мне: «Раз вы смотрели за этим домом *до сих пор*, пока французы были в городе, то будете и далее отвечать за него, а если с ним приключится пожар или какое иное несчастье, вас повесят на входной двери». «В таком случае я лучше *сегодня же* покину дом», — ответил я. «Это невозможно, — возразил майор, — если вы за ним смотрели при францах, то уж для русских должны тем более».

⁶⁴ «Гельман И., майор московской драгунской команды, вступил временно в должность полицеимейстера по поручению генерал-майора И.Д. Иловайского». (1812 год в воспоминаниях современников. С. 184).

Я видел необходимость этой строгой меры — ибо это было сказано не мне *одному*, а всем присутствующим, кто имел дом или надзирал за ним; поэтому я попросил по-немецки г-на майора позволить мне запереть ворота дома и поставить охрану. Прежде всего, чтобы воспрепятствовать проникнуть туда демидовским крестьянам, потому что от них я мог ожидать всего, даже поджога дома. Он позволил мне это и обещал свою защиту против любого насильтственного вторжения в мое жилище.

Удивительно, как быстро г-н майор Гельман установил полный порядок в обширной Москве, хотя в его распоряжении по прибытии было лишь немного драгун полиции и казаков. Демидовским крестьянам с тех пор приходилось худо, хотя я и не подавал на них никакой жалобы. Куча награбленного ими была конфискована законными властями, многие попали в тюрьму и получили наказания, потому что несколько раз в деревнях, где они жили, устраивали обыски; а я уже замечал выше — неправедно приобретенное добро не шло никому на пользу. Для меня это тяжелое время испытаний имело бесценные и благие последствия, которые продолжаются до сего дня, и, уповая на милосердие Христово, продлятся в вечности. Аминь.

Alexander M. Martin

Summary:
Johannes Ambrosius Rosenstrauch
and His Memoir of 1812

Johannes Ambrosius Rosenstrauch, whose German-language memoir of Napoleon's occupation of Moscow is here published for the first time, lived a colorful life. He was an emigrant and a religious convert, and at various times he was a barber, an actor, a freemason, a merchant, a pastor, and a Pietist writer. He witnessed the waning years of the Holy Roman Empire and the invasion of Holland and Germany by revolutionary France, and then spent his last 31 years in St. Petersburg, Moscow, and present-day Ukraine.

In 1835, shortly before his death, he wrote down his memories of the events in occupied Moscow in 1812. The memoir served two functions: it was a vivid first-hand account — alternately suspenseful, dramatic, melancholy, and humorous — of a decisive moment in the Napoleonic Wars; and it was an aging man's meditation on the role of Divine Providence in shaping the course of his own life. As an account of the war, the memoir speaks for itself, but its deeper layers of meaning remain opaque unless one knows the author's personal history. The concrete biographical information contained in the memoir is vague and elliptical. Hence the introductory section of the present book provides a study of Rosenstrauch's life, of which the following is an English-language summary.

Rosenstrauch, as far as can be reconstructed from scanty evidence, was born in 1768 in Breslau, the capital of the Prussian province of Silesia. All that is known of his family and childhood is that he was Catholic and, as he wrote later, "of burgher origin." For the early period of his life we know only that in 1788, he was married in the Westphalian town of Brilon. According to the parish register, he was a surgeon, that is, most likely a wandering barber-surgeon.

His life is documented with much greater continuity from 1790 on. By that year, he was an actor performing with troupes that traveled in north-western Germany. He spent the years 1792–94 in the Netherlands, where he became a freemason and witnessed that country's invasion by the armies of the French Revolution. It is also in the Netherlands, in 1792, that his son Wilhelm was born. During the period 1794–1800 he was a member of the court theater of the Landgrave of Hesse-Kassel; he also accompanied that troupe to engagements in other towns, including Mainz, where he witnessed the French siege in 1795. After separating from his wife, he left Kassel in 1800 for the court theater of the Duke of Mecklenburg-Schwerin. In 1804, he accepted a position at the German theater of St. Petersburg, a city that could support a German theater because of the presence of a large German diaspora. During his years in Mecklenburg-Schwerin and St. Petersburg, he was very active as a freemason and embraced a Pietistic form of Protestantism.

It is unclear when, exactly, he decided to give up the acting profession. Actors were outsiders in *ancien régime* society; their profession was widely viewed as shameful and immoral, and they suffered great socioeconomic insecurity. These circumstances are probably the reason why, in 1809, Rosenstrauch left the theater and became a merchant. Later in life, he was at pains to conceal his past as an actor. The memoir never mentions it, but it does contain hints. Several of the acquaintances whom he mentions (Czermack, Haltenhof, Suck) were theater people or musicians. Also, the narrative itself seems constructed with a theatrical sensibility: in many places it is composed of discrete episodes that resemble scenes from a play, complete with descriptions of the physical setting, dialogue, a suspenseful dramatic arc, and at times a humorous resolution.

St. Petersburg was Russia's most cosmopolitan city and the largest port for the importation of European luxury goods, which enjoyed great popularity among the Russian upper class. Rosenstrauch traded in just such goods, first in St. Petersburg and then, starting November 1811, in Moscow, where he established his shop on Kuznetskii Most ("Blacksmiths' Bridge"), the city's most elegant shopping street. This was his position when Moscow was occupied by the army of Napoleon in 1812.

After the French withdrew from Moscow, Rosenstrauch rapidly succeeded in rebuilding his business. In the years that followed, he became not only a wealthy man but also a leading figure in Moscow's German diaspora, particularly through his activity as chairman of several masonic lodges and as member of the vestry of the Lutheran Church of St. Michael. Also during this period, he became acquainted — details, unfortunately, are scarce — with leading figures at the Russian court, including Tsar Alexander I.

In 1820, evidently driven by a deepening religiosity, Rosenstrauch unexpectedly left Moscow. He went to Odessa, underwent a crash course in theology, and was ordained as a Lutheran minister in 1821. This surprising change of careers — he was already past fifty and had no university degree in divinity — was possible because the Russian government urgently needed Protestant pastors to help create order among the German settlers who were pouring into Russia's Black Sea region. In 1821–22 he was adjunct pastor in Odessa; then, from 1822 until his death in 1835, he was pastor in Khar'kov (present-day Kharkiv in Ukraine). It is there, a few weeks or months before his death, that he wrote his memoir about Moscow in 1812. Its purpose and intended audience are unknown.

During his last years, and then in the decades after his death, Rosenstrauch gained renown as an author of Pietistic religious texts. He exchanged letters on religious themes with numerous Germans in Russia, some of which appeared in print, and he wrote a moving account of his pastoral efforts to reconcile dying sinners with Christ. The latter, originally serialized in 1833 in the Dorpat-based journal *Evangelische Blätter*, was published as a book in Dresden in 1845 (under the title *Mittheilungen aus dem Nachlasse von Johannes Ambrosius Rosenstrauch, früherem Consistorialrath und Prediger in Charkow*) and appeared in the following decades in German, Russian, Dutch, and Danish editions. It drew the interest of leading Russian writers of the 1840s–70s, including P. A. Pletnev, N. V. Gogol, V. A. Zhukovskii, and N. S. Leskov.

Readers of the Russian edition of Rosenstrauch's book seem to have had no knowledge either of his biography or of his connection with his son, the merchant Wilhelm Rosenstrauch in Moscow. This is surprising because Wilhelm (1792–1870), who carried on the family business after his father went to Odessa, was an important and well-known figure in Moscow society. He reached the rank of "hereditary honored citizen," the highest social status accessible to a merchant in Russia. For many years he held leading institutional positions in the German diaspora, as consul-general of Prussia (1829–66), chairman of the vestry of the Lutheran Church of

St. Michael (1834–69), and member of various charitable organizations. He was acquainted with important Russian literati, such as M. P. Pogodin and P. A. Viazemskii, and his shop was so famous that it appeared in works of Russian fiction, such as the novel *On the Eve* by Ivan Turgenev.

The Rosenstrauchs, both father and son, seem to have kept their family history deliberately secret. People who met Johannes Ambrosius reported that although he was a gifted raconteur and public speaker, he was tight-lipped about his past. The same appears to have been true of Wilhelm. The reason, most likely, is that Johannes Ambrosius's personal history — as a religious convert, a man separated from his wife, and especially as an actor — was of a nature to inspire distrust and moral disdain and thus might damage the family's claim to respectability. Throughout his adult life, he was dogged by allegations that as a former actor, he could not be an honest person of upright character and sincere religiosity. Johannes Ambrosius wanted to be accepted as a pastor, and Wilhelm needed to inspire confidence as a businessman; neither had an interest in encouraging knowledge of the family's dubious past.

These considerations most likely affected the fate of the memoir of 1812. After Rosenstrauch's death, it passed into Wilhelm's possession. Why Wilhelm never published it is unclear, particularly considering the wide popularity in Russia of memoirs about the 1812 war. Most likely he wanted to avoid drawing attention to his connection with his father; he may also have worried about Russian reactions to the memoir's depiction of class conflict among Russians in 1812, which ran counter to the widely accepted "patriotic" narrative of national unity in the face of the Napoleonic invasion. A Russian historian named M. S. Korelin published a brief article about the memoir in the 1890s, but without identifying the author; otherwise, it appears that the memoir was never described in any printed publication until the 21st century.

At least three copies of the memoir are known to exist today. One is a clean copy in Rosenstrauch's own hand. This is the manuscript that is reproduced, with all its idiosyncrasies of spelling and punctuation, in the present publication. It is in the possession of the Division of Written Sources of the State Historical Museum in Moscow (*fond 402, delo 239*). The second was made, judging by the paper and the handwriting, by a Russian scribe in the late 19th century. It is held by the Russian State Archive of Literature and Art in Moscow (*fond 1337, opis' 2, edinitza khranenia 49*), and may be the version used by Korelin in the 1890s. The third copy, a typescript, belongs to Ms. Elke Briuer of Vicksburg, Mississippi: it comes from Ms. Briuer's grandmother, a descendant of Wilhelm Rosenstrauch,

who fled from her native Russia to Germany in the last days before the outbreak of World War I.

Rosenstrauch's memoir of 1812 is a significant document for the history of civilians in the Napoleonic Wars. The life story of Rosenstrauch and his son Wilhelm exemplifies the often friendly and cooperative bond between Germany and Russia in the 18th and 19th centuries. The manner in which the memoir found its way to Mississippi is illustrative of that relationship's breakdown in the 20th century. Perhaps it is grounds for optimism for the future that the memoir is now at last being published in a shared effort by a major Russian publisher and the German Historical Institute of Moscow.

The illustrations in the present book depict the following:

1. Map of the areas in Germany and the Netherlands where Rosenstrauch is known to have lived or traveled in 1768–1804.
2. Portrait of Rosenstrauch (1834) by Johann Baptist Ferdinand Matthias Lampi (1807–1855), from the State Hermitage Museum in St. Petersburg.
3. Lithograph, based on Lampi's portrait of Rosenstrauch, that was sold after his death to raise funds for his church in Khar'kov.
4. Title page of Rosenstrauch's memoir of 1812, from the State Historical Museum in Moscow.
5. A petition for financial assistance following the devastation of Moscow in 1812, signed by Rosenstrauch, from the Central Historical Archive of Moscow.
6. Portrait of General Comte de Flahaut (a French officer mentioned in Rosenstrauch's memoir of 1812), by François-Pascal-Simon Gérard, c. 1813, from the Bowood Collection, Bowood Estate, Calne, Wiltshire (England).
7. Napoleonic soldiers and Russian civilians in occupied Moscow, after a drawing by Christian Wilhelm Faber du Faur, from the Bavarian Army Museum, Ingolstadt (Photo: Christian Stoye). UID-Nr.: DE 811 33 55 17.
8. Portrait of Wilhelm Rosenstrauch, from the collection of Grafika.ru.

Further information on Rosenstrauch can be found
in these publications:

Alexander M. Martin, "It Was the Lord's Will That I Should Not Leave Moscow": J. A. Rosenstrauch's Memoir of the 1812 War," *Comparativ: Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung* 22, no. 4 (2012): 31–45

Alexander M. Martin, “Johannes Ambrosius Rosenstrauch (1768–1835),” in Stephen M. Norris and Willard Sunderland, eds., *Russia’s People of Empire: Life Stories from Eurasia, 1500-Present* (Bloomington: Indiana University Press, 2012), pp. 105–116.

Alexander M. Martin, “Middle-Class Masculinity in an Immigrant Diaspora: War, Revolution, and Russia’s Ethnic Germans,” in Karen Hagemann et al., eds., *Gender, War, and Politics: Transatlantic Perspectives, 1775–1830* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), pp. 147–166.

Johannes Ambrosius Rosenstrauch

Geschichtliche Ereignisse
in Moskau im Jahre 1812.
Zur Zeit der Anwesenheit des Feindes
in dieser Stadt

Most eyewitness accounts of Moscow during the occupation of 1812 appeared in print before the end of the 19th century. An exception is the memoir of Johannes Ambrosius Rosenstrauch, which is here published for the first time, along with a biography of the author. In the course of a colorful life that took him from his native Prussia to St. Petersburg, Moscow, and finally Odessa and Khar'kov, Rosenstrauch (1768–1835) was an actor, merchant, freemason, and pastor. In 1812 he was a merchant of fashion goods in Moscow and was forced to share his house with a motley group of homeless foreigners, Russian serfs, and French officers. His memoir describes both his own spiritual evolution during the war and the drama (and sometimes humor) of what he observed: the fire, the looting, the class conflicts among Russians, the hostility and occasional cooperation between the Russians and the French, and the general cruelty as well as absurdity of war.

This publication inaugurates a new series, *Archivalia Rossica*, a joint editorial project of NLO and the German Historical Institute in Moscow. The series will publish bilingual or translated editions, with detailed scholarly commentary, of foreign-language sources from archives in Russia and abroad about Russian history from the 18th to the early 20th century.

Список иллюстраций

Илл. 1. Карта странствий И.-А. Розенштрауха в Германии и Голландии.

Илл. 2. Иоганн-Батист Фердинанд Матиас Лампи. «Портрет пастора» (портрет Иоганна-Амвросия Розенштрауха). Масло, 1834 г.

Государственный Эрмитаж.

Илл. 3. «Иоганн-Амвросий Розенштраух, бывший советник консистории и пастор евангелическо-лютеранской общины Харькова.

Вклад в стипендию памяти пастора Розенштрауха при церковной школе Харькова». Литография Тюлева, после 1835 г.

Российская национальная библиотека.

Илл. 4. Титульный лист рукописи Розенштрауха «Исторические происшествия в Москве 1812 года во время присутствия в сем городе неприятеля». 1835 г. ОПИ ГИМ. Ф. 402. Д. 239. Л. 1.

Илл. 5. Прошение Розенштрауха в Комиссию для рассмотрения прощений обывателей Московской Столицы и Губернии потерпевших разорение от неприятеля. 1813 г. .

ЦИАМ. Ф. 20. Оп. 2. Д. 2219. Л. 171–171об .

Илл. 6. Барон Франсуа-Паскаль-Симон Жерар. «Портрет генерала графа де Флао». Масло, ок. 1813 г.

© The Trustees of the Bowood Collection, Bowood Estate, Calne, Wiltshire (Англия).

Илл. 7. «Москва 24 сентября 1812 г.» (наполеоновские солдаты и русские гражданские лица на выгоревшей улице). Цветная литография по рисунку Христиана-Вильгельма Фабер дю Фора.

© Bayerisches Armeemuseum Ingolstadt (фото: Christian Stoye). UID-Nr.: DE 811 33 55 17.

Илл. 8. Вильгельм (Василий Иванович) Розенштраух. Фотография.

В кн.: Найденов Н.А. Материалы для истории московского купечества. М., 1883-89.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Мартин

Жизнь и странствия И.-А. Розенштруха 5

Введение 9

Глава 1. Страдая в безвестности: Германия и Голландия,
1768–1804 15

Глава 2. Новая жизнь в России: Санкт-Петербург
и Москва, 1804–1812. 45

Глава 3. Война 1812 года 71

Глава 4. Мечта сбылась: Москва, 1812–1821. 88

Глава 5. Завершение пути: Одесса и Харьков,
1820–1835 112

Глава 6. «Есть у книжек судьба»: наследники
Розенштруха, 1820–1870. 132

Эпилог 165

J.-A. Rosenstrauch

Geschichtliche Ereignisse in Moskau im Jahre 1812.

Zur Zeit, der Anwesenheit des Feindes in dieser Stadt

(оригинальный текст на немецком языке) 169

И.-А. Розенштрух

Исторические процессы в Москве 1812 года

во время присутствия в сем городе неприятеля

(перевод на русский язык). 221

Alexander M. Martin

Summary 281

Список иллюстраций. 288

Иоганн-Амвросий Розенштраух

**ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ В МОСКВЕ 1812 ГОДА
ВО ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ В СЕМ ГОРОДЕ НЕПРИЯТЕЛЯ**

Редактор *Д. Сдвижков*

Дизайнер обложки *Д. Черногаев*

Корректор *М. Смирнова*

Верстка *В. Фролова*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

**ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»**

Адрес редакции:

123104, Москва,

Тверской бульвар 13, стр. 1

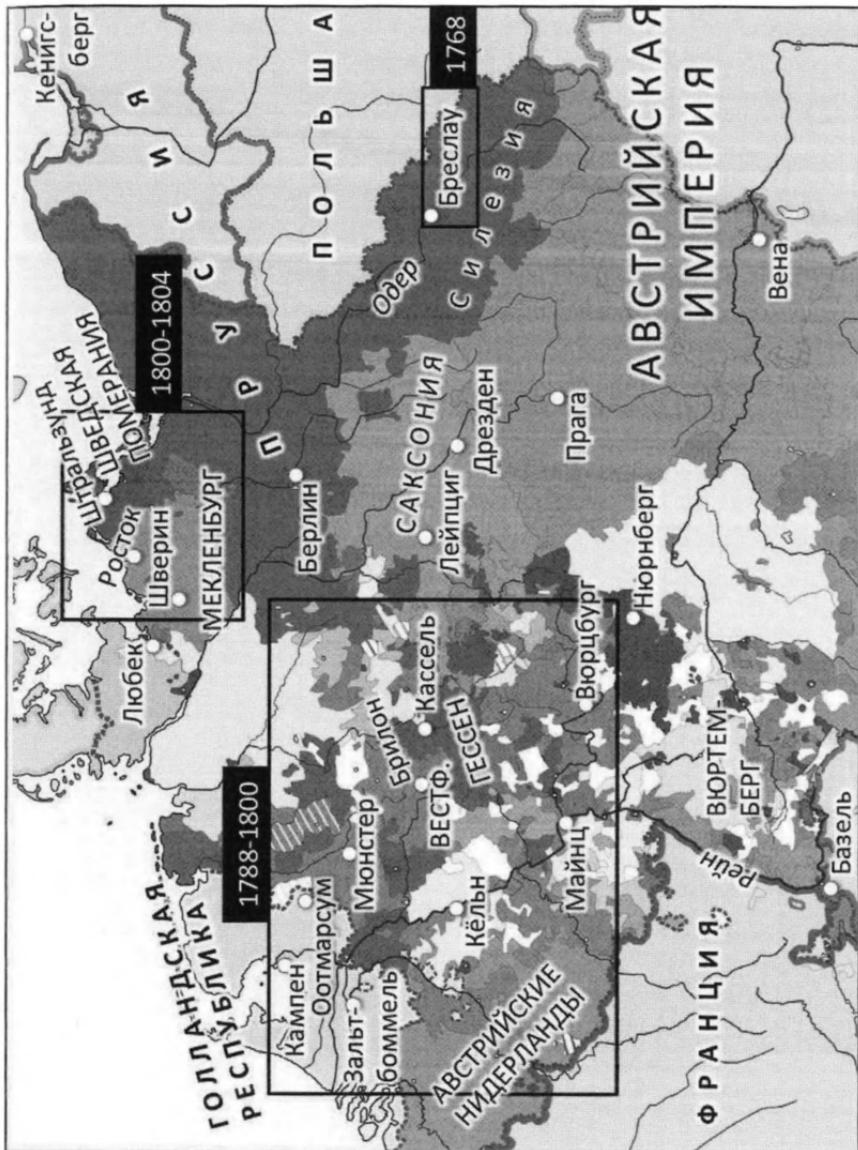
тел./факс: (495) 229-91-03

e-mail: real@nlo.magazine.ru

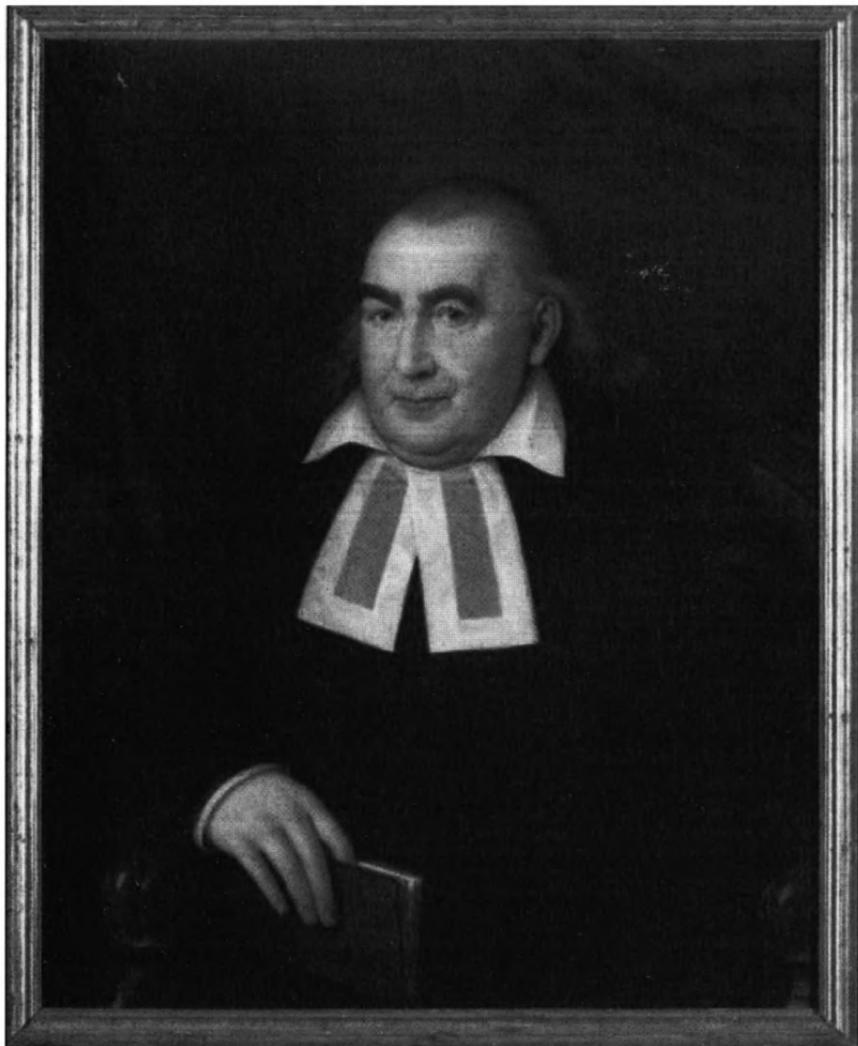
сайт: www.nlobooks.ru

Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Печ. л. 18,5. Тираж 1000 . Заказ № 3303.

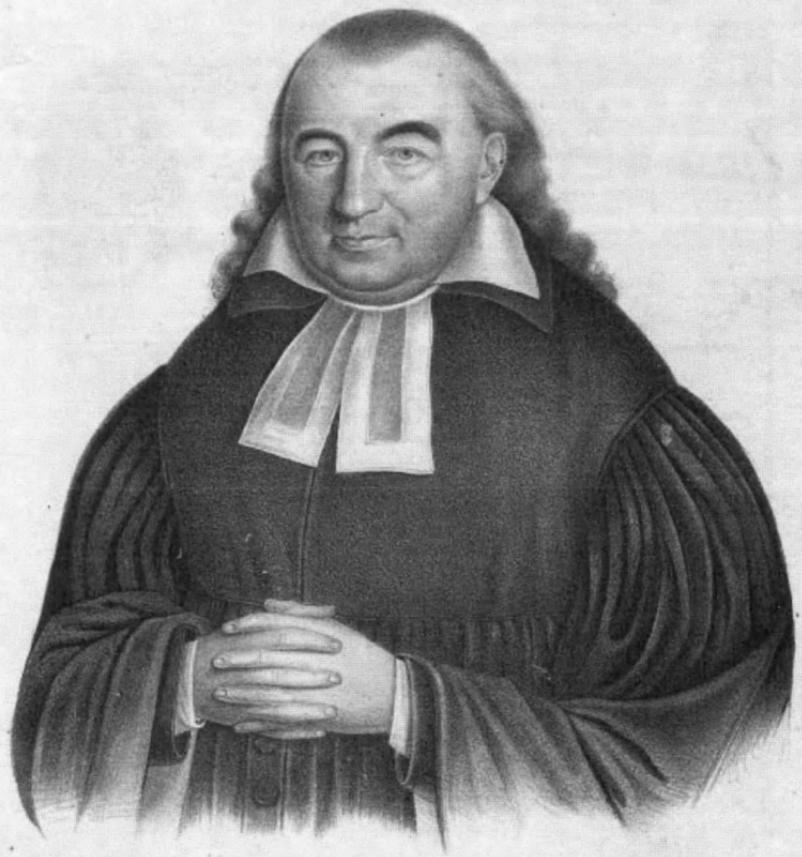
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



Илл. 1. Карта странствий И.-А. Розензтруха
в Германии и Голландии.



Иоганн-Баптист Фердинанд Матиас Лампи.
«Портрет пастора» (портрет Иоганна-Амвросия Розенштруха).



L. v. Rög

Johannes Ambrosius Rosenstrach

weiland Consistorialrath und Pastor der evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Charkow

Иоганн-Амвросий Розенштраух, бывший советник консистории и пастор евангелическо-лютеранской общины Харькова.

Historische Ereignisse

in Moskau.

im Jahre 1812.

zur Zeit des Feuersturms

der Stadt

in

Sieben Tagen.

Титульный лист рукописи Розенштрауха

«Исторические процессы в Москве 1812 года во время присутствия
в сем городе неприятеля». 1835 г.

26^{го} 1810 г. бывшего Декабрия года.

Р. К. Комиссии по Высочайшему повелению
учрежденной для разсмотрения променей обеих
сторон в Амстердаме Олончу и Розенштрух
погуроженного различия о том предписано.

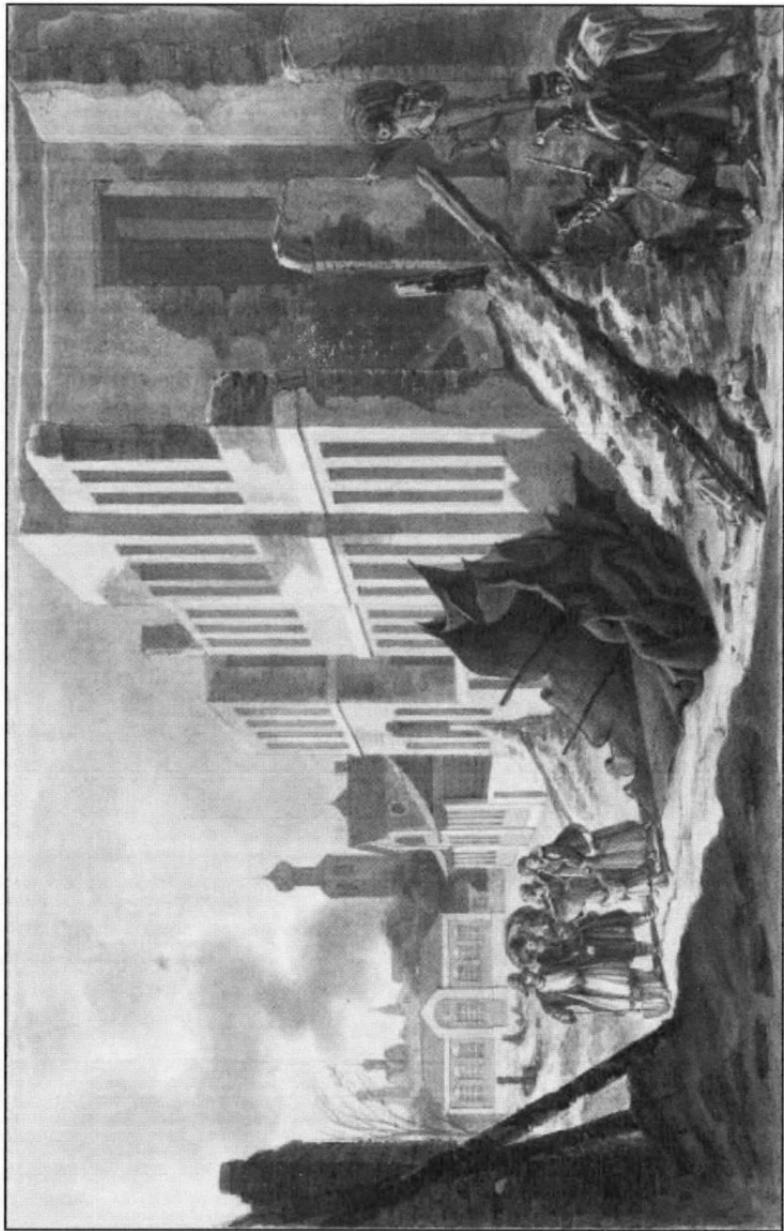
С. погуроженою С. генерал-кварта
мерополитом Г. Гавриилом Гоми
иваном Ивановом сына Розенштрух
уто

Прощение.

Родерик пашинский герцог герцога
тишина и магистрата своего, соф-
ийского и Амстердамского товарища, комо-
рою было поставлено для сорокения в Сар-
гина и Амстердаме, у Купчего Михаила
Пекера, у французского купца, Артура
и Гавриила, свою почтительную присягу
имени издану прошни по Римо-Венециан-



Барон Франсуа-Паскаль-Симон Жерар.
«Портрет генерала графа де Флао».



«Москва 24 сентября 1812 г.»
(наполеоновские солдаты и русские гражданские лица
на выгоревшей улице).

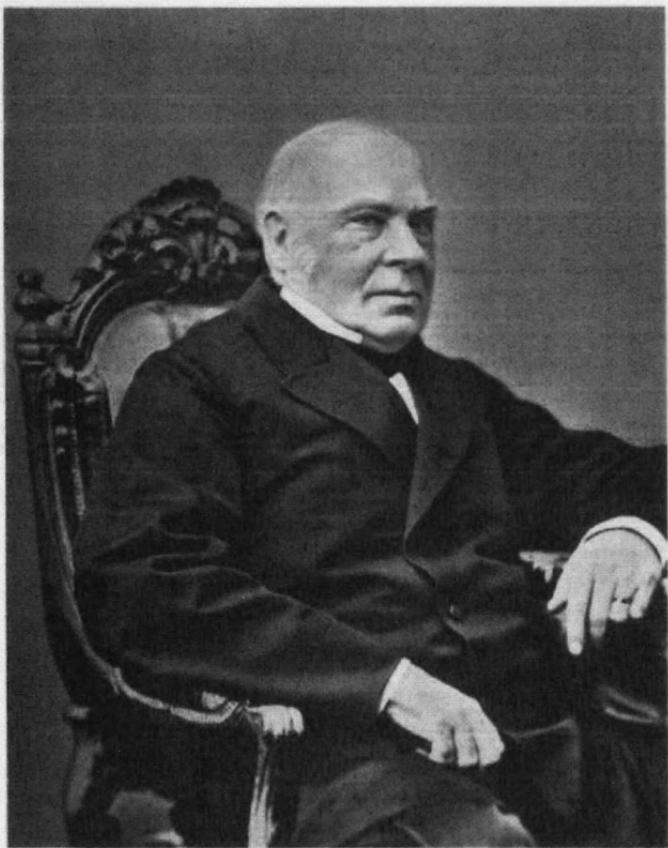


Фото: Григорий Петров / Типография Альбера

Кандидат юридических наук
Василий Иванович
Розенштраухъ.

Вильгельм (Василий Иванович) Розенштраух.

HISTORIA ROSSICA

ARCHIVALIA ROSSICA

Johannes Ambrosius Rosenstrauch

GESCHICHTLICHE EREIGNISSE IN MOSKAU IM JAHRE 1812. ZUR ZEIT DER ANWESENHEIT DES FEINDES IN DIESER STADT

Иоганн-Амвросий Розенштраух (1768–1835) — немецкий иммигрант, владевший модным магазином на Кузнецком мосту, — стал свидетелем оккупации Москвы Наполеоном. Его памятная записка об этих событиях, до сих пор неизвестная историкам, публикуется впервые. Она рассказывает драматическую историю об ужасах войны, жестокостях наполеоновской армии, социальных конфликтах среди русского населения и московском пожаре. Биографический обзор во введении описывает жизненный путь автора в Германии и в России, на протяжении которого он успел побывать актером, купцом, масоном, лютеранским пастором и познакомиться с важными фигурами при Российском императорском дворе. Таким образом, И.-А. Розенштраух интересен как мемуарист эпохи 1812 года, и как колоритная личность, чья жизнь отразила разные грани истории общества и культуры этой эпохи.

Публикация открывает собой серию *Archivalia Rossica* — новый совместный проект Германского исторического института в Москве и издательского дома “Новое литературное обозрение”. Профиль серии — издание неопубликованных источников по истории России XVIII — начала XX веков из российских и зарубежных архивов, с параллельным текстом на языке оригинала и переводом, а также подробным научным комментарием специалистов. Издания сопровождаются редким визуальным материалом.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
В МОСКВЕ 1812 ГОДА

ARCHIVALIA ROSSICA

